
Кассандра Лэйтс
Неизбежность
Книга 3
18+
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Кассандра Лэйтс
Неизбежность. Книга 3. Возрождение

https://litres.ru/74745263
SelfPub; 2026

Аннотация

Меня зовут Сильвана Этвуд. В девятнадцать лет я стала пленницей в подземельях Рокуэлла. Потом — добровольной рабыней с клеймом Валентайнов на животе и ошейником на шее. А теперь я стою на пороге нового мира — Леброна, родины Диаманта, где порок не прячут за стенами, а выставляют напоказ, как драгоценность.

Он стал королём в двадцать один год. Я — той, кого он оставил в своём замке, как оставляют вещь, которую боятся потерять. Но я больше не вещь. Я женщина, которая знает, чего хочет. И я хочу его — не как господина, не как палача. Как человека, который однажды сказал мне: «Мне нужно, чтобы ты была живой. Здесь. Со мной. Такой, какая есть».

Книга содержит откровенные описания BDSM практик, сцены насилия и жестокости. Пожалуйста, читайте с осторожностью.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	39
Глава 3	88
Глава 4	140
Глава 5	175
Глава 6	233
Глава 7	276
Глава 8	304
Глава 9	346
Глава 10	391

Кассандра Лэйтс Неизбежность. Книга 3. Возрождение

Глава 1

Неизбежность. Книга 3. Возрождение.
И на каждой стене виден свет колеи
Мы ложимся как хворост под колёса любви
Наутилус Помпилиус "Колёса Любви"

Глава 1.
Стеклянный Кокон
«Он остался с пустотой. Она — с ошейником на шее и чужими детьми на руках. Оба потеряли. Оба выжили. Пока.»

Диамант
1
Колтрейн. Рокуэлл. Четыре месяца спустя.

Стук в дверь вырвал меня из вязкого транса — густого,

как свернувшаяся на полу кровь. Я замер, так и не додумав мысль. Какой инструмент взять. Какой нерв задеть, чтобы она наконец сломалась и дала хоть что-то. Хоть секунду настоящего.

— Простите, милорд. Срочные вести из Леброна.

Голос за дверью — приглушённый, торопливый. Холод подземелья лизал шею, забирался под расстёгнутый ворот рубашки. Раньше я его не замечал. Он был частью этого места, как и всё остальное: сырой камень, бурые потёки на кандалах, кислый привкус чужого страха.

Я обернулся. Она стояла на коленях — там, где я её оставил. Восемнадцать, может, меньше. Тонкая, как тростинка, которую можно переломить двумя пальцами. В синеватом свете факелов кожа казалась полупрозрачной — я различал вены на висках, на горле, на запястьях, стянутых верёвкой. Тёмные спутанные волосы падали на лицо, но не скрывали глаз. В них плескался тот самый ужас, который я видел сотни раз. И поверх него — жалкий, едва тлеющий огонёк надежды.

— Секунду, дорогая.

Слова вышли гладкие, пустые. «Дорогая» — ни тепла, ни яда. Привычная маска. Я носил её так долго, что уже не помнил собственного лица. Вдохнул. Сырой воздух наполнил лёгкие, как болотная вода.

— Войдите.

Дверь застонала. В пыточную шагнул гонец — молодой,

запыхавшийся, с пылью дальних дорог на плаще. Он поклонился, едва не ткнувшись лбом в щель между каменными плитами, и протянул письмо.

— От главного министра Леброна, ваше высочество.

Что за глупая привычка до сих пор слать гонцов, когда связь прекрасно работает. Традиции, мать их. Ладно, гонец, так гонец.

Печать тёплая от его ладони. Шершавый воск вдавился в пальцы. Гонец отступил и замер, глядя в пол. Очередной дрожащий, готовый рухнуть на колени от одного моего взгляда. Я коллекционировал таких, как другие — монеты. С той же мертвящей скукой.

Печать хрустнула. Я развернул лист. Мир остановился.

«Его Величество король Лагерт скончался на рассвете третьего дня. По завещанию и согласно древнему закону престол переходит к вам, наследнику и правителю двух королевств. Вам надлежит прибыть в Леброн для коронации в ближайшие сроки. Да хранит вас Небо, ваше величество».

Бумага дрожала в пальцах. Едва заметно. Но я чувствовал. Отец мёртв. Король Лагерт больше не дышит. Его холодные оловянные глаза — те самые, что я видел четыре месяца назад, — закрыты навсегда. А я — король. Правитель двух королевств. Власть безраздельная, абсолютная — всё, к чему я шёл через кровь, ложь и чужую боль.

Триумф должен был затопить меня с головой. Я ждал его. Жадно. Голодно. Не пришёл. Внутри — пустота. Знакомая,

как собственное дыхание. Бездонная, как колодец во дворе замка, куда я мальчишкой бросал камни и никогда не слышал всплеска.

Когда-то власть и чужое тело давали иллюзию наполненности. На ночь. На несколько часов. Когда-то одна женщина задержалась в моей постели на недели — и я пил её, как вино. Её стоны, слёзы, дрожь подо мной. Пил — и не мог напиться…

Нет. Я поклялся не произносить её имя даже в мыслях. Теперь хватает пары часов. Дольше — невыносимо. Влажные губы, выгнутые спины, пальцы, цепляющиеся за мои плечи, — всё сливается в один тошнотворный хор. Я кончаю — и они становятся мне отвратительны.

Взгляд вернулся к девушке. Пальцы у неё тонкие, белые — она сжимала подол платья. В глазах — мольба. Не о пощаде. О чуде. Я мог бы сломать её за десять минут. Может, за пять. Сначала боль — точная, на грани выносимого. Потом нежность — внезапная, как удар. Контраст, от которого рвётся рассудок. Потом мои руки на её горле, губы у уха, тёмный шёпот — и она сама подастся навстречу. Сама раздвинет ноги. Сама будет просить. Они всегда просят. Я в этом совершенен.

Но. Как же я устал. Устал от игры. От ролей. От вечной необходимости доказывать — себе, им, пустоте внутри, — что я сильнее. Жёстче. Что я вообще что-то чувствую.

Тишина давила на барабанные перепонки.

Взмахом руки я отпустил гонца и шагнул к девушке. Присел на корточки, так что наши глаза оказались на одном уровне. Вблизи видно: у неё дрожали не только руки — губы, ресницы, даже зрачки метались, как у загнанного зверя. Колдовство. Её обвиняли в колдовстве. До чего же глупы мои подданные. Суеверие Колтрейна — как плесень на этих стенах: сколько ни скобли, прорастает снова.

— Как тебя зовут?

Я спросил тихо, почти шёпотом. Так я обычно говорил перед тем, как причинить боль. Она вздрогнула всем телом.

— Э-Элиана.

Голос треснул, как сухая ветка.

— Элиана, — повторил я.

Красивое имя. Я его не запомню. Слишком много было имён — они давно превратились в белый шум за стеной. Желание играть ушло. Испарилось, как вода с раскалённого железа. В голове — другое: отец в гробу, корона, дорога в Леброн. И ещё — Амаранта. Сегодня я скажу ей о разводе. Но об этом позже.

— Ты не колдунья, — сказал я ровно, глядя ей в глаза. — Ты просто девушка, которая оказалась не в том месте. Не в то время.

Я поднялся. Подошёл к столу — массивному, дубовому, с пятнами, которые не отмывались годами. Схватил ручку. Писал быстро, зло, вдавливая ручку в бумагу, будто хотел проткнуть стол насквозь.

— Ты свободна.

Протянул лист. Она взяла — наши пальцы соприкоснулись. Её кожа ледяная. Моя — не теплее.

— Это гарантирует безопасность. Уходи. И забудь это место.

Элиана смотрела на меня несколько ударов сердца. Потом медленно поднялась. Ноги не держали — пошатнулась, схватилась за стену. Но устояла. Дрожь сменилась другой — не страх, а облегчение, накатывающее волнами и выбивающее воздух из лёгких.

— С-спасибо, ваше высочество.

Она пошла к двери и не оглянулась. Умная девочка.

Я подошёл к узкому окну — каменной бойнице, сквозь которую сочился серый, больной свет. Внизу — крепостной двор, грязь, солдаты. Дальше — поля, леса, туман. А за горизонтом — Леброн. Трон. Корона. Новая жизнь. Я так долго этого ждал. И вот дождался. Радости не было. Была тяжесть. Корона, которую я ещё не надел, уже давила на плечи — свинцовая, вросшая в кости.

Я скомкал письмо и швырнул в угол. Оно упало в лужу и начало темнеть, впитывая воду. Я расправил плечи. Вдохнул. И впервые за годы почувствовал не голод, не азарт, не похоть — усталость. Глубокую, тектоническую. Усталость от маски, приросшей к коже, к мышцам, к черепу.

— Пора, — сказал я вслух.

Голос прозвучал глухо, без убеждённости.

— Пора стать тем, кем я должен быть.

Факел за спиной трещал, плевал искрами.

— Королём.

Но даже произнося это слово, я знал: маска не снимется. Пустота не заполнится. Круг не разомкнётся — потому что я сам и есть этот круг.

2

Дверь покоев Амаранты ударилась о стену — глухо, как крышка гроба, опущенная раньше срока. Я не стучал. Никогда не стучал. Замок давно признал моё право входить без приглашения, и петли не смели скрипеть. Она стояла у окна — тёмный силуэт в раме умирающего света. Последние лучи сочились сквозь витраж, окрашивая каменный пол бурыми пятнами, похожими на старую кровь. Золотое платье облегало её так плотно, что казалось не тканью, а расплавленным металлом, застывшим прямо на коже. Когда-то эти линии манили. Теперь я видел лишь искусную упаковку, в которой нечего разворачивать.

Она обернулась на звук шагов и пошла навстречу, приподняв подол, чтобы не запутаться в тяжёлых складках. Грация. Отточенная, почти звериная. Но — почти. Как у зверя, выросшего в клетке: движения правильные, а инстинкт мёртв.

— Милорд, вы наконец решили почтить меня своим присутствием.

В усмешке пряталась надежда. Тонкая, хрупкая, как ледяная плёнка на луже — наступи, и хрустнет.

Амаранта была красива. Той выхолощенной, породистой красотой, что при дворе ценится на вес золота и стоит примерно столько же: высокие скулы, тонкий нос, губы, созданные для коронационных поцелуев и для лжи, которую можно шептать, не размыкая их до конца. Волосы цвета тёмного мёда убраны в сложную конструкцию из шпилек и перламутровых гребней, но несколько прядей выбились и легли вдоль шеи, обнажая уязвимость, которую она так старательно замуровывала. В каждом жесте — расчёт. В каждом взгляде — партия, разыгранная против меня. Неплохо для воспитанницы монастырских стен. Но недостаточно.

В первые недели брака она оказалась неожиданно яростной в постели. Настолько, что почти заинтриговала. Почти отвлекла. На несколько дней. Я помнил её первый взгляд — голодный, дерзкий, точно она решила приручить меня собственным телом. Помнил ночи, когда она раскрывалась подо мной исступлённо, впивалась ногтями в лопатки, оставляя багровые борозды, стискивала бёдрами мои бёдра, будто хотела вплавиться, срастись, сделать разделение невозможным. Её дыхание срывалось в хрип. Пот блестел в ложбинке между грудей. Она стонала — не для меня, для себя, запрокинув голову, обнажив горло. И на одно тошнотворно честное мгновение мне казалось, что я чувствую что-то большее, чем трение плоти о плоть.

Но я слишком быстро добился покорности. И тут же остыл. Игра закончилась прежде, чем началась. Забавно, как

стремительно гаснет азарт, когда добыча падает к ногам, не заставив тебя даже вспотеть.

Она бросилась ко мне. Распахнула руки, прижалась всем телом, вдавилась лицом в мою грудь. Я почувствовал запах — тяжёлый удар жасмина и сандала, смешанный с теплом её кожи и сладковатой горечью пудры. В первые дни этот аромат поднимал кровь. Теперь давил на горло, как мягкие пальцы удавки. Запах ловушки — приторной, липкой, из которой я давно вырвался.

Я отстранил её. Мягко, но с той неумолимостью, с какой отодвигают заслонку на печной трубе, — без злости, без усилия, просто потому что пора. Её тело замерло на секунду, не веря в отказ, затем обмякло, потеряв хищную упругость.

— Отец умер, — произнёс я, глядя ей в глаза. Ровно. Будто сообщал о перемене ветра.

Она вздрогнула. Отступила на шаг. Маска безупречной леди пошла трещиной — мелкой, но заметной, как на старом фарфоре. В глазах мелькнуло что-то живое, неуместное — сочувствие, пробившееся сквозь камень, как сорная трава сквозь могильную плиту.

— О, Диамант… — Она потянулась к моей щеке. — Прими мои соболезнования. Я знаю, как много он значил…

— Не стоит соболезновать тому, кто не чувствует утраты. Нихрена он не значил.

Я перебил её холодно, с лёгкой издёвкой, как перебивают ребёнка, сказавшего глупость за взрослым столом. Достал

из внутреннего кармана пачку сигарет. Чиркнул зажигалкой. Пламя дрогнуло и на мгновение выхватило из полумрака два лица: её — сведённое болью, моё — неподвижное, как камень.

— Он был королём. Отцом. Тираном. Теперь его нет. — Затяжка. Дым вышел изо рта медленно, лениво. — Для меня ничего не изменилось.

Я наблюдал, как её лицо проходит сквозь стадии — недоумение, боль, отчаяние, — точно проявляющаяся фотография, на которой вместо портрета обнаруживается натюрморт с битой посудой.

— Мы разводимся, — произнёс я, стряхивая пепел в серебряную пепельницу на столике у двери. — Наша совместная жизнь не представляет для меня интереса. Никогда не представляла. Это было очевидно с первого дня, Амаранта. Просто ты предпочитала не замечать.

Её лицо побледнело — стало почти прозрачным, восковым, как у покойницы, которую ещё не успели обрядить. Губы дрожали.

— Что?.. — прошептала она. — Диамант, ты не можешь так… После всего, что было между нами…

— Было? — Я приподнял бровь. — Что именно было? Брак по расчёту. Несколько ночей, которые ты пыталась превратить в нечто значимое. Ты была хорошей женой — послушной, красивой, удобной. Но этого мало, чтобы удержать меня. Ты и сама это понимала. Просто не хотела произнести

вслух.

— Ты не можешь просто отказаться от меня! — Голос дрогнул, сломался. Слёзы блеснули в уголках глаз. — Я твоя жена! Я люблю тебя! Всегда любила! Разве этого недостаточно?

Она шагнула ко мне, схватила за руку — пальцы впились в ткань рукава с силой утопающей, вцепившейся в край лодки. Я не шевелился. Смотрел сверху вниз на эту красивую женщину, вдруг ставшую невыносимо жалкой в своей обнажённой искренности. Её слёзы, её мольбы вызывали во мне лишь скуку — густую, вязкую, как стылый воск.

— Любовь? — Я усмехнулся и выпустил дым ей в лицо. Медленно. Прицельно. Сизое облако окутало её черты, на миг превратив в призрак, потом рассеялось, обнажив мокрое, разбитое лицо. — Ты путаешь любовь с зависимостью, дорогая. Ты привязалась ко мне, потому что я — наследник трона. Потому что я красив. Потому что я сделал тебя женщиной. Раздвинул тебе ноги. Научил кричать. Дал почувствовать собственное тело. И ты приняла благодарность за любовь.

Я наклонился к ней, почти коснувшись губами уха.

— Но ты никогда не знала меня настоящего. И тебе это было не нужно. Как и мне — ты.

Она отдёрнула руку. Отшатнулась, прижала ладони к лицу. Плечи тряслись — мелко, беспомощно. Беззвучный плач. Он громче любого крика и оттого — скучнее.

— Значит, всё, что между нами было… для тебя ничего не значило? — прошептала она сквозь мокрые пальцы. — Ни одна ночь? Ни одно слово?

Я молчал. Смотрел на её дрожащие плечи, на тёмные пятна туши, расползающиеся по тыльной стороне ладоней. Где-то глубоко — не в сердце, а в том месте, где сердце должно было быть, — шевелилась усталость. Тупая, свинцовая. От этой игры, от её слёз, от необходимости произносить очевидное вслух. Когда я женился на ней, то помимо Леброна и Колтрейна хотел корону Тэраса. Больше не хочу. А значит, Амаранта — балласт. Мёртвый груз, который нужно сбросить, пока он не утянул на дно.

— Ничего, — ответил я наконец.

Потушил сигарету о край пепельницы. Пепел осыпался на пальцы — тёплый и мёртвый.

— Прости, если это ранит. Но лучше правда сейчас, чем иллюзии до гроба. Наша связь всегда была формальностью. Печать на бумаге. Обряд без содержания.

Она подняла на меня глаза. Мокрые, воспалённые, с лопнувшими капиллярами у самой радужки — и всё равно в них горело что-то невыносимое. Надежда. Тупая, звериная, цепляющаяся за жизнь. От такой хочется отвернуться, как от раны.

— А если я уеду с тобой? — Голос дрогнул, но не сломался. — Если поеду в Леброн? Я буду рядом. Буду делать всё, что ты скажешь. Всё, что захочешь. Я могу быть…

— Нет.

Слово ударило, как пощёчина. Я отсёк фразу на полувдохе, и она захлебнулась собственным голосом.

— В Леброне мне не нужна жена. Мне не нужен никто. Ничьё тело под боком, ничьё дыхание в темноте. Я не собираюсь волочить за собой чужие чувства, как цепи. Это бессмысленно.

Амаранта замерла. Слёзы текли по щекам, размывая тушь чёрными ручьями — два неровных потёка от глаз до подбородка, как трещины в фарфоровой маске. Она отступила к окну, прижалась лопатками к стене. Ткань платья шуршала по холодному камню.

— Ты чудовище, — выдохнула она. Губы дрожали, но голос становился низким, почти спокойным. Так звучит отчаяние, перешедшее в ненависть. — Холодное. Бесчувственное. Чудовище.

Я не спорил. Я был с ней согласен. Пожал плечами. Окинул взглядом её искажённое болью лицо — припухшие веки, следы слёз на скулах — и направился к двери. Паркет скрипел под каблуками.

— Прощай, Амаранта, — произнёс я, сжимая холодную бронзовую ручку. — Найди того, кто сумеет дать тебе то, чего не дал я. Кого-то, кого трогают слёзы и мольбы. Меня — нет.

Дверь закрылась с глухим, плотным щелчком. В коридоре пахло свечным воском и сыростью. Тишина — густая, мона-

стырская. Лишь где-то за поворотом шелестели юбки придворных дам и слышались торопливые шаги прислуги, мягкие, как шорох крысиных лап.

За окном расстилался сад. Снег почти сошёл, обнажив землю — чёрную, набухшую влагой, пахнущую гнилью и прелой листвой. Голые деревья стояли неподвижно, растопырив ветви, как обугленные кости. Серое небо давило — низкое, без единого просвета, словно кто-то натянул над Рокуэллом грязную холстину. Весна на подходе, но пока это выглядело не как рождение, а как вскрытие могилы.

В голове было пусто и чисто, как в комнате после выноса мебели. Только одна мысль — ясная, острая, как осколок:

Наконец-то свободен.

3

Поздним вечером я стоял на балконе, глядя в никуда. Ветер бил в лицо — мокрый, солёный, пахнущий болотной гнилью и мёрзлым камнем. Он сдирал с кожи всё: тепло, мысли, остатки притворства. Я почти не замечал холода. Как и многого другого в последние четыре месяца. Мысли были далеко — за горизонтом, за морем, там, где ждала корона. Коронация. Отъезд из Колтрейна. Наконец-то я оставлю эту ханжескую страну, пропитанную елеем и ложью. Оставлю всех — с их фальшивыми улыбками, показной преданностью и клятвами, которые воняли гнилью ещё до того, как слетали с губ.

Я сделал шаг вперёд. Руки на перила. Внизу, во дворе, суетились слуги — маленькие тёмные фигурки, похожие на

жуков. Зажигали фонари: крохотные жёлтые точки в сгущающейся синеве, заблудившиеся искры, не знающие, что уже мертвы. Где-то лаяла собака. Скрипели ворота. Обычные звуки, которые скоро станут лишь эхом. Сейчас они только подчёркивали пустоту внутри — ту, в которой гулко, как в склепе, отдавался каждый удар сердца.

Сильвана. Опять. Я пытался выгнать её — из головы, из крови, из-под рёбер. Сотни раз. Четыре месяца она жила во мне, как заноза, загнанная под ноготь, и с каждым днём уходила глубже, туда, где нерв. Ничто не помогало. Ни женщины, чьи имена я не запоминал, — податливые тела, горячие рты, стоны, от которых не оставалось ничего, кроме кислого привкуса пустоты. Я брал их жёстко, молча, с закрытыми глазами и каждый раз искал в чужом дыхании её запах. Не находил. Ни абсент, от которого немел язык, ни прочие развлечения, когда-то казавшиеся смыслом, — ничто не могло вытеснить её.

Я помню её глаза. Спокойные. Почти просветлённые — так смотрят люди, принявшие приговор. Она сказала: «Я люблю тебя» — и это было сказано не для меня. Для себя. Как молитва. Как отпущение грехов. Три слова, от которых у меня подломились колени, хотя я стоял ровно. Три слова, выбившие почву из-под ног и оставившие лишь холод и животный, сосущий страх, что поселяется в костях.

Я отверг это. Растоптал. Убедил себя, что так будет лучше — для неё, для меня, для порядка вещей, выстроенного

по кирпичику. «Это было для её же блага», — повторял я, и фраза звучала фальшиво, как заученная реплика в плохом спектакле. Внутри всё сжималось от осознания, что я убеждаю себя в том, во что не верю.

Плащ не помогал. Я закутался плотнее, но настоящий холод шёл изнутри — из груди, оттуда, где что-то упорно сопротивлялось моей железной логике. Что-то живое, тёплое, непокорное. Оно пульсировало тупой болью, как сломанная кость, которую неправильно срастили.

Снова и снова — то утро. Её фигура у лимузина. Светлое пальто. Тонкие пальцы на ручке двери. Как она не обернулась. Как растворилась в салоне — бесшумно, окончательно, словно её и не было.

Я убеждал себя: правильно. Любовь — слабость. Привязанность делает уязвимым. Я не могу позволить себе быть уязвимым. Но почему тогда её слова до сих пор звучат в голове — не эхом, а высеченные на кости? Почему я вижу не её слёзы, а её спокойствие? Тихое. Непоколебимое. Словно она знала что-то, недоступное мне. Это спокойствие было сильнее всех моих аргументов. Оно не спорило, не умоляло. Просто было — как скала, о которую разбивалась вся моя философия.

Пальцы крепче впились в перила. Металл под ними — ледяной, чужой, мёртвый. Внизу кто-то засмеялся, и звук поднялся вверх, как дым, — чья-то лёгкая, беззаботная жизнь. Когда-то мы с Сильваной тоже смеялись. Сидели на кры-

ше этого самого замка, и я рассказывал ей непристойные истории, разъяснял философию гедонизма и порока, а она слушала, и в её глазах плясали звёзды — или мне так казалось. Мне было весело. Легко. Хорошо. А теперь — тяжесть. Свинцовая, неподъёмная, давящая на плечи, на грудь, на горло. Невидимая цепь, звенья которой впивались в рёбра при каждом вдохе.

Я надеялся, что время сотрёт. Что расстояние размоет контуры. Но образ стал только чётче — как шрам, который не бледнеет, а темнеет, наливается багровым. Каждый раз, закрывая глаза, я видел её улыбку. Слышал голос — низкий, чуть хриплый, с этой её манерой тянуть гласные. Чувствовал тепло её ладони на своей щеке — такое живое, такое настоящее, что становилось физически больно. Тело помнило то, что разум пытался забыть: изгиб её спины под моими руками, вкус кожи на шее, то, как она выдыхала моё имя, запрокинув голову, и всё переставало существовать.

Иногда я ловил себя на мысли: хочу с ней поговорить. Объяснить… что? Что не хотел ранить? Что всё было не так просто? Что я сам не понимал, что делаю? Что я глупый мальчишка, который испугался? Я отталкивал эту мысль, как раскалённый уголь. Всё, что мог, — сказал. Просить прощения не собираюсь. Не за это. Не перед ней. И вообще. Ей без меня хорошо. Некому бить и насиловать.

Ветер усилился, заставляя скрипеть сухие ветви. По двору несло обрывки бумаги, мёртвые листья — жалкие остан-

ки чьих-то забытых планов. Я смотрел на эту суету и думал: может, всё дело в том, что я слишком долго пытался быть камнем? Слишком долго отрицал то, что делает нас людьми? Но в моём положении — нельзя иначе. Этому меня учили с детства. Другого я не знаю. Другого мне не дали.

Корона ждала в Леброне. Власть. Признание. Всё, к чему я стремился, — там, за морем. Я так этого хотел. Так ждал. Но сейчас, стоя здесь, в холоде и сумраке, на балконе, пропахшем сыростью и старым камнем, я вдруг понял: я заплатил слишком много. Цена оказалась не в деньгах, не в союзниках. Она — в потерянной части себя. В той, что умела чувствовать. Надеяться. Любить.

Глаза закрылись сами. Её лицо. Улыбка. Взгляд. Голос, который говорит: «Я люблю тебя». И впервые за четыре месяца я не гнал это воспоминание. Просто стоял и позволял себе помнить. Позволял чувствовать. Хотя бы сейчас, когда никто не видел, когда темнота укрывала, как саван. В этом мгновении я — не наследник престола, не будущий король — просто человек. Уязвимый. Растерянный. С душой, изодранной собственными решениями, как плоть — ржавым железом.

«Скоро Леброн, — сказал я себе, глядя в небо. Звёзды казались холодными, далёкими, равнодушными — такими же, каким я пытался быть. — Скоро корона. И, может быть, я наконец забуду. Власть, ответственность, дела — всё вытеснит. Да. Конечно, забуду».

Но что-то внутри — тёмное, тихое, неистребимое — шептало: ни корона, ни трон, ни вся власть мира не спасут. Не от неё. Не от того, что я потерял. И, возможно, самое страшное — не потеря. А то, что я сам это выбрал. Своими руками. Осознание жгло, и я не знал, смогу ли когда-нибудь с этим жить.

Сильвана

1

Новый день. Но для кого? Бледный свет сочился сквозь тучи — не солнце, а его труп, раздутый и гниющий за пеленой облаков. Ветер знал обо мне больше, чем я сама. «Ты сломалась, — шептал он, забираясь под кожу, — и не знаешь, как собрать осколки».

Я проснулась от скрежета — будто ногти скребли по стеклу, медленно, настойчиво, с наслаждением. Ранняя весна висела за окном мёртвой декорацией: свинцовое небо, чёрные скелеты деревьев, лужи, в которых отражалась только пустота. Я сидела на краю кровати. Долго. Потом поднялась — рывками, как марионетка с перетёртыми нитями. Колени хрустнули. Ступни коснулись ледяного пола, и холод прошил до позвоночника, но не разбудил. Ничто уже не будило.

Тело стало свинцовым мешком, который приходилось волочить на себе: сколько ни спи, усталость не уходила, а прорастала глубже — в кости, в сухожилия, в самую сердцевину. Энергия вытекла давно. Осталась оболочка. Тёплая, мягкая,

бесполезная.

Я подошла к окну. Прижала ладонь к стеклу — холод впитался в кожу, пополз по венам к локтю, к плечу, к груди. За стеклом раскинулся мир, который больше не был моим. Чужой воздух. Чужой свет. Чужие звуки. Всё слишком живое, слишком яркое для того, что от меня осталось. Я застряла в щели между мирами: ни здесь, ни там. Ни живая, ни мёртвая. Тень, скользящая по стенам чужого дома. На стекле остался влажный отпечаток ладони. Он таял, пока я смотрела, — медленно, с краёв, как всё, что я когда-либо держала.

Машинально я поставила чайник. Щёлкнула кнопкой телевизора. На экране — лица. Бодрые голоса рассказывали о надеждах, планах, новых начинаниях. Счастливые люди со счастливыми ртами. Я смотрела сквозь них. Слова доходили глухим гулом, как из-под воды, и раздражали своей лёгкостью, своей наглой уверенностью, своим правом на радость, которого у меня больше не было. Палец вдавил кнопку. Экран погас.

Наступила тишина. Но хотя бы честная. В ней не было лживых обещаний. Только голая правда: я одна. И мне так больно, что дышать приходилось мелко, осторожно, по глоточку, — чтобы не потревожить то, что ворочалось внутри.

Я достала из стола пачку сигарет. Вишнёвых. Да, я начала курить. Его сигареты. Не знала зачем. Может, чтобы заполнить пустоту: затянуться и почувствовать, как горячий дым дерёт горло, обжигает нёбо, напоминая, что нервные окон-

чания ещё живы. А может — чтобы положить в рот то, что он клал в свой. Вдохнуть то, что вдыхал он. Ощутить на языке тот же горьковатый вишнёвый привкус, который я слизывала с его губ, когда он целовал меня — жадно, глубоко, — а я таяла, потому что он смотрел так, будто я единственная во всём мире.

Я закурила. Подошла к зеркалу. И не узнала себя. Под глазами — чернота, тёмная, как синяки после бессонных ночей с ним. Только тогда это была сладкая измотанность, а теперь — гниль. Кожа побелела до прозрачности: голубые вены на висках, на шее, на запястьях — карта рек, текущих в никуда. Щёки ввалились. Скулы выступили остро, болезненно, придавая лицу вид красивого черепа. Ключицы торчали над вырезом майки двумя хрупкими арками.

От прежней Сильваны не осталось ничего. Той, что смеялась. Той, что мечтала. Той, что верила и раздвигала ноги, подставляя горло, — с доверием, от которого теперь тошнило. Она исчезла. Истаяла, как дым от этой сигареты, — вьётся, редеет, растворяется, оставляя на языке только горечь.

Я глубоко затянулась. Выпустила дым. Он повис перед лицом — серая пелена, на секунду скрывшая отражение. Милосердная иллюзия. Но дым рассеялся, и я снова была здесь. Вся. Целиком. С каждой трещиной. С каждым осколком разбитой надежды, впившимся под кожу так глубоко, что не вытащить — только вдавить ещё дальше.

Я коснулась ошейника. Тонкий. Почти невесомый. Но он давил сильнее любой цепи — врастал в кожу, как клеймо, выжженное прямо на горле. Такое не вытравить, даже если содрать кожу до мяса. А снять его я могла. Пальцы не раз находили застёжку, обводили её, ощупывали край. И каждый раз отпускали. Каждый проклятый раз.

Кожа холодила ключицы, гладкая и безразличная, как его руки в последнее утро.

Я хорошо его помнила. Каждую секунду — впечатанную в тело, как пощёчина. Холод. Серое небо, распоротое снегом. Воздух пах железом и мёрзлой землёй, и каждый вдох обжигал ноздри. Будто сам мир знал, что случится, и начал гнить изнутри ещё до того, как он произнёс первое слово. Я была полна надежды — той отчаянной, животной надежды, которая делает человека слепым и глухим ко всему, кроме собственного пульса. Впервые решилась. Впервые открыла рот и выпустила то, что жгло рёбра изнутри.

— Я люблю тебя.

Голос сломался на последнем слоге. Сердце колотилось так, будто хотело проломить грудную клетку, вывалиться наружу и подползти к нему — окровавленное, пульсирующее, жалкое. А он стоял ко мне спиной. Широкие плечи, прямая линия позвоночника, чёрная ткань рубашки, натянутая на лопатках. Он даже не обернулся. Только чуть наклонил голову — так, как наклоняют, услышав что-то забавное от ребёнка.

— Ты такая же, как остальные, — сказал он спокойно, почти весело, будто обсуждал погоду. — Такая же никчёмная. Всё сводишь к чувствам.

Ни паузы. Ни колебания. Голос ровный, как линия скальпеля.

— Во дворе тебя будет ждать машина. Мой водитель отвезёт тебя туда, куда захочешь.

Не приказ. Не злость. Констатация — сухая, хирургическая. Так выносят мебель из комнаты: без сожаления, без второго взгляда. Вещь, которую переставляют с места на место, а потом забывают.

Я шла к двери. Руки дрожали. Челюсть свело. На пороге обернулась. Одно слово. Мне нужно было одно слово. Он смотрел на меня. Ярко-голубые глаза — прекрасные, ледяные, абсолютно пустые. Ни раскаяния. Ни тени боли. Зрачки — два колодца, на дне которых ничего, кроме темноты. Эта пустота хлынула в меня, как чёрная вода, заполнила лёгкие, затопила грудь. Я захлебнулась ею прямо там, стоя в дверном проёме, и вышла — уже мёртвая.

Водитель привёз меня к домику, оставшемуся от поместья отца. К месту, которое когда-то называлось домом. Теперь оно стало нежилым — сыростью, пылью, чужой тоской, въевшейся в стены. Несколько недель ушло на то, чтобы просто подняться с кровати.

Первые дни я лежала навзничь, уставившись в потолок, изучая его трещины, будто пыталась прочесть в них ответы

на вопросы, которые не могла сформулировать. Свет менялся от серого к чёрному и обратно. Мир потерял цвет. Звуки доносились глухо, как сквозь толщу ила. Всё — на расстоянии. Всё — не моё. Я существовала в вакууме, где не было ни времени, ни смысла — только боль, густая, как дёготь, заливающая горло при каждом вдохе.

Потом — шаг. Ещё шаг. Ноги на холодном полу, пальцы, вцепившиеся в дверной косяк. Как ребёнок, заново учащийся ходить. Тело забыло, как быть союзником, — мышцы не слушались, колени подламывались. Иногда я падала, не дойдя до кухни, и лежала на досках, прижавшись щекой к занозистому дереву, слушая, как тишина пожирает мысли — медленно, методично, не оставляя ничего.

Вскоре я поняла: я стала чужой. От прежней Сильваны — дочери лорда Этвуда, женщины, которая дралась с несправедливостью голыми руками, — не осталось даже тени. Идеалы, за которые я готова была умереть, выцвели, как старая кровь на ткани. Они принадлежали кому-то другому. Девочке из чужой сказки, наивной и бесконечно далёкой. Они больше не давали сил — только вызывали горькую судорогу в горле, похожую на сухой смех.

Местные знали, кем я была. Шёпоты липли к спине, как мокрая паутина. Подстилка Инквизитора. Шлюха. Я слышала каждое слово. Видела брезгливые взгляды — торопливые, вороватые, как у людей, подглядывающих за чужим позором. Но они не трогали меня. Ничто не трогало. Я была

чужой среди этих людей, чужой в городе, который когда-то считала своим, чужой в собственном теле — стянутом, тесном, как высохшая на солнце кожа.

Поэтому я воспользовалась картой. Безграничный лимит — один из его прощальных подарков. Она лежала в салоне лимузина, на сиденье из чёрной кожи, точно там, где он сказал. Я продала то немногое, что имело цену. Собрала вещи в одну сумку. Уехала.

Купила маленький дом на юге Колтрейна — подальше от столицы, от его тени, от всего. Тихое место у моря: белёные стены, черепичная крыша, выгоревшая солнцем до цвета старой кости. Ветер здесь пахнет солью и водорослями. По утрам кричат чайки — резко, пронзительно, будто оплакивают кого-то. Здесь никто не знает моего имени. Никто не шепчется. Я — просто новая учительница в местной школе.

Работа — как анестезия. Не лечит, но притупляет. Когда я стою у доски, черчу углы и дуги, читаю детям стихи, голос становится ровнее, руки перестают дрожать. На несколько минут мир обретает подобие формы — чёткой, понятной, управляемой. На несколько минут я забываю, что где-то существует человек, из-за которого моё сердце разучилось биться ровно.

Потом звенит звонок. И всё возвращается. Случайный взгляд в зеркало туалетной комнаты — ошейник, поблёскивающий в тусклом свете. Чьё-то слово, произнесённое с его интонацией. Запах корицы и гвоздики, похожий на его оде-

колон. И я снова там. Серое утро. Снег. Его спина. Его голос, ровный и страшный: всё кончено.

Боль накатывает — тяжёлая, физическая, как удар под дых. Грудь сжимается, воздух кончается. Я хватаюсь за край стола, впиваюсь пальцами в дерево до заноз и жду. Считаю секунды. Одна. Две. Семь. Двенадцать. Тишина становится оглушительной, и я вишу в ней, как в петле, пока приступ не отпускает — медленно, нехотя, оставляя после себя привкус крови на прикушенной губе.

По вечерам я сижу на крыльце. Закат заливает море густым багрянцем — тяжёлым, почти непристойным, как запёкшаяся рана. Солёный ветер треплет волосы, забирается под одежду, холодит кожу. Я смотрю, как солнце тонет, и думаю: а что, если это — всё? Не борьба, не подвиги, не идеалы. Просто дни, складывающиеся в месяцы. Просто уроки, дом, море. Просто попытка научиться дышать, когда часть тебя осталась в прошлом, рядом с ним, — сгорела дотла, и пепел давно разнесло по чужим дорогам.

Рука тянется к горлу. Пальцы находят ошейник, скользят по коже — медленно, как слепая, читающая молитву. Я закрываю глаза. Вдыхаю. Соль обжигает лёгкие — грубо, больно, живо.

Ещё один день. Ещё один вдох. Боль, может, утихнет. А может — врастёт так глубоко, что станет частью скелета. Но я буду идти. Потому что другого пути нет. Шаг за шагом. Вздох за вздохом. Пока бьётся сердце, которое он заставил

трепетать — и раздавил в кулаке.

3

Я внезапно осознала — сегодня выходной. Я ненавидела их. Для остальных выходной — день, когда мир сужается до тёплых объятий и мелких радостей. Для меня он разверзается пустотой. Ни рук, в которые можно упасть. Ни дела, за которое можно спрятаться. Только я — и память, которая не знает пощады. Она приходит, как всегда, без стука: голос Диаманта, ровный, как нож, скользящий по стеклу. Его глаза — яркие, как топаз в серьге. Холодные. Неживые. Пустота хлынула из воспоминаний в вены, загустела, сковала мышцы. Я лежала под тяжестью этой невидимой воды и не могла вдохнуть.

«Я справлюсь». Слова — как камешки, которые бросаешь в колодец. Летят долго. Звука не слышно. «Я должна справиться». Я села. Заставила себя дышать — считая: вдох на четыре счёта, выдох на шесть. Прохладный воздух коснулся нёба, просочился в лёгкие, чуть разжал стальные обручи вокруг рёбер. За окном щебетали птицы. Ветер ворочался в кроне старого дуба, и ветви скрипели, как рассохшиеся половицы. Где-то у соседей ржаво стонала калитка. Мир дышал. Жил. А я висела внутри стеклянного кокона — прозрачного, запечатанного, — и чужие радости скользили по его стенкам, не проникая внутрь. Только блики. Только тени чужого тепла.

А потом стекло лопнуло. Крики. Не детский визг, не днев-

ная перебранка торговок — что-то рваное, звериное, от чего горло перехватило раньше, чем я успела понять. Улица сорвалась с петель и покатилась в темноту. Я замерла. Хлопок — сухой, короткий, как щелчок сломанной кости. За ним второй. Потом — женский крик, разодравший воздух до мяса:

— Бегите! Они стреляют!

Голоса хлынули разом, наслаиваясь, перекрывая друг друга:

— В укрытие! — Закройте двери! — Где дети?!

Топот десятков ног по мостовой — дробный, панический, как стук града по жести. Лязг металла. Чей-то плач, оборванный на вдохе. Рёв мотора, прорезавший какофонию утробным рыком. Ни одного безопасного звука. Ни одной щели, в которую можно было бы вставить слово «нормально».

Прежде чем я добралась до окна, в дверь ударили — три быстрых удара, пауза, ещё два. Стук человека, который помнит условный сигнал, но уже почти забыл, зачем. И голос — тонкий, дрожащий, знакомый:

— Госпожа Сильвана, это Рэйн! Откройте, пожалуйста!

Сердце оступилось. Провалилось на один удар в чёрную яму — и тут же вырвалось обратно, толкнув загустевшую кровь по сосудам так резко, что в глазах мелькнули искры. Я вскочила. Босые ступни обожгло холодом половиц. Рывком открыла дверь.

На пороге стоял восьмилетний Рэйн — один из моих уче-

ников. Лицо белое, как мел. Глаза — два тёмных колодца, до краёв залитых страхом. Пальцы впились в руку младшей сестры. Мия — пять лет, платье в жёлтый горох, залитое пылью — прятала лицо в складках его рубашки. Её плечи дёргались в рваном ритме: короткий всхлип — судорожный вдох — тишина — и снова всхлип, будто лёгкие забыли, как работать.

— Что случилось, Рэйн?

Голос вышел ровным. Я сама удивилась.

— Там… стрельба! — выпалил он, и нижняя губа поехала вниз, задрожала. — Какие-то люди с оружием. Много. Это не Инквизиция, госпожа Сильвана. Чёрная форма. Красные повязки на рукавах. Мама осталась в лавке, папа на работе. Мы гуляли с Мией, и вдруг — все побежали, закричали, и эти люди… Они стреляли в воздух. А потом…

Он запнулся. Сглотнул. Кадык дёрнулся на тонкой шее.

— Потом кто-то закричал по-другому. И мы побежали. К вам.

«По-другому». Я не спрашивала как. Я знала, как кричат люди, когда пуля находит плоть. С улицы — новые хлопки: частые, злые, как удары молота по раскалённому железу. Ближе. Отчётливее. Каждый вгрызался в остатки тишины и выплёвывал ошмётки. Всхлипы Мии переплетались с далёким воем сирены — её включили где-то в центре, и она тянула свою тоскливую ноту, как раненое животное. Рядом лаяла собака — хрипло, надрывно; лай переходил в скулёж, скулёж

обрывался. Чей-то голос выкрикивал команды — слова не долетали, только интонация: жёсткая, лающая, нечеловеческая.

Паника подкатила к горлу, скребла изнутри ногтями. Кровь молотила в висках. В груди разрастался ледяной ком — тяжёлый, колючий, сдавливающий лёгкие. Вдох. Медленный. Сквозь стиснутые зубы. «Не сейчас. Не перед ними».

— Заходите. Быстро.

Рэйн влетел первым, втянув за собой Мию. Она цеплялась за его руку обеими ладонями, и он не отпускал — маленький, насмерть перепуганный, с дрожащими пальцами — но не отпускал, будто понимал: разожми он хватку, и сестру унесёт течением, которое уже утащило с этой улицы всё, что было нормальным. Дверь — на засов. Цепочка — в паз. Иллюзия, тонкая, как яичная скорлупа, но я вцепилась в неё, как в спасательный круг.

Тишина. Относительная. Звуки улицы упирались в толстые доски и обмякали, превратившись в глухие отголоски: далёкие крики, приглушённые хлопки, бормотание голосов — всё доносилось как сквозь толщу мутной воды, из мира, который стремительно переставал быть знакомым.

Я опустилась перед ними на корточки. Колени хрустнули. Холод пола просочился сквозь ткань юбки.

— Всё будет хорошо. Вы в безопасности. Я вас не отдам.

Рэйн кивнул, но его взгляд не останавливался — метался от окна к двери, от двери к окну. Он ждал, что опасность

проломит стену и хлынет внутрь. Мия прижалась к его боку, плечи вздрагивали беззвучно — она боялась плакать в голос, будто крик мог позвать тех в чёрной форме сюда.

— Иди ко мне, Мия.

Девочка оторвалась от брата — медленно, по сантиметру, как отрывают пластырь от раны. Шагнула. Я обняла её, прижала к себе, погладила по спутанным волосам, пахнущим пылью и молоком. Она дрожала — мелко, неудержимо, и эта дрожь перетекала в мои руки, в мою грудь, врастала в меня. Рэйн стоял рядом. Сжимал кулаки.

— На кухню, — сказала я тихо. — Там окна во двор. Тише. Заварю чай. А потом решим, что делать.

Он выдохнул — длинно, рвано — и кивнул. Что-то невидимое соскользнуло с его плеч. Хотя бы на вдох. Мия подняла лицо. Мокрые ресницы. Глаза — огромные, тёмные, полные слёз и доверия настолько безусловного, что у меня сжалось горло. Она верила мне. Они оба верили. И это доверие было тяжелее любого камня, который я когда-либо несла.

Я улыбнулась. Не привычной гримасой, которую натягивала перед зеркалом по утрам, а чем-то настоящим — оно поднималось откуда-то из-под рёбер, из той глубины, где я давно похоронила всё живое. Оказывается — не похоронила. Присыпала землёй, но оно дышало. Ещё дышало. Я всё ещё могла быть опорой. Пусть для двоих перепуганных детей. Пусть ненадолго. Но могла.

Дети пили чай. Понемногу успокаивались — или делали вид. Мия уже не плакала. Она сидела, обхватив чашку обеими ладонями, словно та — последний тёплый предмет в остывающем мире. Глаза — огромные, влажные, с расширенными зрачками — смотрели на меня не мигая. Страх не ушёл. Он отступил вглубь, затаился, свернувшись в чёрной сердцевине радужки, как змея, готовая к броску. Рэйн старался держаться по-взрослому. Маленькие размеренные глотки. Короткие кивки — всё в порядке, я справляюсь. Но костяшки пальцев на чашке побелели, а мелкая дрожь бежала по запястьям, поднимаясь к локтям. Восемь лет — и уже учится лгать телом.

Их сбивчивое дыхание мешалось с мерным тиканьем настенных часов. Привычный звук — латунный маятник, медный циферблат с потрескавшейся эмалью — вдруг стал чужим, зловещим, словно часы отсчитывали не минуты, а то, что им оставалось. Я пыталась думать.

Не Инквизиция. Повторяла это, как заклинание. Впрочем, и без того было ясно. При всей своей изощрённой жестокости инквизиторы не обрушивались на целые поселения — они работали скальпелем, не топором. Тихо. Точечно. Забирали тех, кто, по их расчётам, представлял угрозу, — и растворялись в ночи, оставляя после себя лишь пустую постель и запах железа. Диамант при всём его садизме — при всей его чудовищной, почти интимной склонности к боли — не признавал бессмысленной резни. Он держал ищеек на ко-

ротком поводке. Предпочитал тонкие игры: шёпот, яд, нежное давление пальцев на горло, от которого жертва сама переставала дышать. Манипуляция, а не сила.

Крики за окном ударили снова — ближе. Гораздо ближе. Чей-то хриплый голос рвал воздух короткими командами, потом грянул взрыв — тяжёлый, утробный, — и дом вздрогнул. Стёкла дребезжали в рамах. С каминной полки сорвалась фарфоровая пастушка и разлетелась об пол: острые белые осколки брызнули по половицам, как выбитые зубы. Мия дёрнулась всем телом, чашка звякнула о блюдце — тонкий, жалкий звук. Рэйн мгновенно положил ладонь ей на плечо. Не сказал ни слова. Не нужно.

А потом — стук. Резкий. Властный. Три удара — тяжёлых, как удары кулаком в грудную клетку. Пауза. И снова — сильнее, злее, будто кто-то пробовал дерево и петли на излом, проверяя, сколько осталось между ним и нами. Это не просьба. Это предупреждение перед вторжением. Я прижала палец к губам. Указала на коридор — туда, где за поворотом начинался спуск в подвал. Рэйн понял без слов. Кивнул, перехватил сестру за руку, и они поднялись из-за стола. Стул под Мией скрипнул — негромко, едва слышно, — но оба замерли, переглянулись с таким ужасом, словно этот жалкий звук разнёсся на весь дом.

Стук нарастал. Теперь били ногой — ритмично, методично, как метроном казни. Дерево стонало. В створе появилась трещина — тонкая, рваная, похожая на старый шрам, рас-

ползающийся под напором. Ещё два-три удара — и двери не станет.

— Идите, — шепнула я. — Быстро. Тихо. В подвал, за стеллаж — там ниша. Забейтесь в неё и не выходите. Ни звука. Ждите меня.

Секунда. Нет — стой. Я метнулась к столу, рванула ящик. Пальцы нашли его сразу — тяжёлый перстень с чёрным ониксом в серебряной оправе. Компенсация за утраченную невинность — так Диамант это назвал, вкладывая перстень мне в ладонь с улыбкой, от которой кровь стыла в жилах. Камень обжёг кожу — ледяной, словно пролежал не в ящике, а в могиле.

— Если что-то пойдёт не так — сохраните. Покажите любому патрулю Инквизиции. Они узнают печать. Они вас защитят.

Рэйн хотел спросить. Я видела, как вопрос собирается у него на губах, напрягает скулы, — но он проглотил его. Кивнул. Серьёзно, по-взрослому, так, будто на худые мальчишеские плечи разом легло что-то непомерное — и он решил нести. Мия закусила нижнюю губу, но тоже кивнула, стараясь быть не слабее брата. Они скользнули к двери — бесшумно, как тени, — и растворились в тёмном зеве коридора.

Я выдохнула. Считала секунды. Шаги — всё тише, тише. Потом — приглушённый скрип подвального люка. Глухой стук крышки. Они внизу. В безопасности. Пока. Дверь содрогнулась от очередного удара — с потолка посыпалась

штукатурная крошка, белая, как пепел. Я сглотнула. Ком в горле стоял — сухой, шершавый, — царапал изнутри при каждом вдохе. Тянуть больше нельзя. Если они вынесут дверь сами — войдут, обыщут дом, найдут детей. Лучше я. Пусть всё, что ждёт снаружи, обрушится на меня.

Я подошла. Повернула ключ — один щелчок. Сняла цепочку — звенья тихо лязгнули друг о друга. Пальцы подрагивали, но я заставляла каждое движение быть точным, словно репетировала это годами. Глубокий вдох. Запах дыма, пороха и чего-то сладковато-тошнотного, пробивающийся сквозь щели. Я открыла дверь.

На пороге стоял человек — и мир качнулся. Русые волосы, растрёпанные, потемневшие от пота, прилипшие ко лбу. Серые глаза — знакомые до боли, до спазма под рёбрами. Когда-то в них жила нежность. Та самая — тёплая, бездумная, пахнущая сеном и яблоневым цветом. Тед. Мой жених. Точнее — жених той Сильваны, что существовала до Диаманта. Наивной девочки, не знавшей ни настоящей боли, ни тёмной, удушающей страсти, ни предательства, после которого тело ещё помнит чужие руки, а душа — уже нет.

Прошлое и настоящее столкнулись на этом пороге, ударились друг о друга — и я на мгновение оглохла от этого беззвучного удара. И не знала, чего боюсь больше: того, что грохотало за его спиной, — или того, что стояло передо мной, глядя на меня глазами из другой жизни.

Глава 2

Глава 2
Территория

«Она грела, как последний уголёк в этой промозглой тьме.»

Сильвана
1

Перед мысленным взором встали воспоминания — яркие, болезненные, словно кто-то вскрыл едва затянувшуюся рану и присыпал её солью. Я снова в Рокуэлле. Гуляю по осеннему саду — одна. Листья шуршат под ногами, и в их сухом шёпоте мне слышится приговор: они знали о моём выборе раньше, чем я сама решилась его произнести. Воздух пахнет прелой землёй, дымом далёких каминов и чем-то сладковато-гнилостным — так пахнет конец всего привычного. Отец и Тед — в подземельях Инквизиции, в сырой темноте, среди крысиного писка и ржавого железа. Диамант поставил условие — простое, как удавка: я становлюсь его добровольной рабыней, и мои близкие будут жить. Но правда страшнее любого условия. Я уже была пленницей. И не желала свободы.

Он появился без предупреждения — как появляется гроза. Высокий. Прямой. Чёрный плащ с серебряной вышив-

кой облегал широкие плечи, и складки ткани двигались за ним, будто живые тени. Воздух вокруг него густел, становился вязким — хотелось вдохнуть глубже и одновременно не дышать вовсе. Осеннее солнце скользнуло по скулам, по жёсткой линии челюсти, вспыхнуло в глазах — ярко-голубых, холодных, как лёд над бездонным озером.

— Я их отпускаю, — сказал он. Голос ровный, лишённый интонаций, и оттого каждое слово падало тяжело, как камень на дно колодца. — Они уедут на другой континент. Там не смогут плести заговоры. Ты никогда их больше не увидишь.

Пауза.

— Ты можешь поехать с ними. Или остаться. Со мной.

Я молчала. Сердце билось так, что пульс отдавался в горле, в запястьях, везде. В голове — вихрь. Лицо отца: строгое, любящее, постаревшее за эти недели на десять лет. Тед — верный, преданный, обещавший защищать меня до последнего вздоха. И Диамант. Опасный. Жестокий. Тот, кто пробудил во мне страсть через боль, через насилие, через унижение — разбудил нечто тёмное и неутолимое, пламя, пожирающее собственный свет, и я горела в нём добровольно, с наслаждением, с жадностью.

Я осталась. Потому что уже тогда моё тело знало то, что разум отказывался принять: без него я — пепел. Без его рук на моём горле, без его голоса в темноте, без его жестокости, которая была единственной формой нежности, на какую он был способен, — я не существовала. И даже сейчас, после

того как он растоптал всё, чем я жила, я поступила бы так же. Без колебаний. Без раскаяния.

Я помню боль в глазах отца. Помню, как он побледнел, когда я произнесла это вслух — что люблю человека, который держал его в клетке. Что не могу уехать. Что не хочу. Он взывал к разуму, но разум и влюблённая женщина — два континента без единого моста между ними. Он ушёл, опустив голову, и в этом была вся его горечь — горечь отца, потерявшего дочь не из-за смерти, а из-за чего-то худшего.

А Тед смотрел на меня так, будто я вырвала сердце из его груди голыми руками и показала ему — ещё бьющееся. В его глазах мешались недоумение, обида, отчаяние. Он наговорил обидных слов. Часть из них попала в цель. Но он не знал главного: с ним меня связывала лишь привычка, тёплая и безопасная, — а Диамант был пожаром, и я выбрала огонь. Я не жалела. Ни тогда. Ни спустя месяцы. Ни после всего, что случилось. Выбор стоил мне кожи, крови, рассудка — но я не жалела.

Треск ветки за спиной оборвал воспоминание, как нож обрывает нить. Я развернулась. Рука метнулась к кинжалу раньше, чем мозг успел отдать команду, — пальцы сомкнулись на рукояти с привычной, почти нежной твёрдостью.

— Это правда ты… — выдохнул Тед.

Три шага. Он стоял в трёх шагах — запыхавшийся, с каплями пота на висках, с грязью на сапогах и засохшей кровью на манжетах. Он пробирался сюда сквозь хаос, не замечая

ни ран, ни усталости, — как зверь, идущий по следу.

Но глаза. Боги, его глаза.

В них не осталось ничего от прежнего Теда. Только лихорадочный блеск — горячечный, голодный — от которого по позвоночнику прополз холод, царапая каждый позвонок изнутри.

— Наконец-то я нашёл тебя, — повторил он и шагнул вперёд.

Я отступила. Инстинктивно закрыла собой вход в коридор, ведущий к подвалу, — будто могла заслонить детей собственной тенью. Его лицо мне не нравилось. Слишком восторженное. Слишком голодное. Он смотрел на меня не как на человека — как на добычу, как на трофей, и от этой жадной, пьяной победы в его чертах меня замутило.

— Что происходит, Тед? — Я заставила голос звучать ровно, хотя внутренности скручивало от дурного предчувствия. — Вы с отцом должны быть на другом континенте. Зачем ты вернулся? Это твои люди устроили резню?

Он мотнул головой. Провёл рукой по спутанным волосам — жест нервный, дёрганый, будто пытался стряхнуть с себя невидимую паутину. Его взгляд упал на мою шею. На ошейник. Тонкая полоска кожи с металлическими шипами. Символ принадлежности. Клеймо. Моя самая уродливая драгоценность.

Лицо Теда исказилось. Ненависть проступила на нём, как кровь сквозь бинт, — мгновенно, неостановимо. Передо

мной стоял не мальчик, которого я знала. Его тень. Существо, сшитое из обиды и чужой злобы.

«Спокойнее. Это всего лишь Тед». Но лихорадочный блеск в его зрачках говорил обратное — и от него по коже ползли ледяные мурашки, как от прикосновения мертвеца.

— Это не резня, Сильвана. — Его голос стал ниже, глуше, словно шёл не из горла, а из грудной клетки. — Это способ устранить тех, кто стоял между мной и тобой. И заявить о возвращении в Колтрейн.

Он рассмеялся. Хриплый, надтреснутый звук — так смеётся человек, давно переступивший черту. Воздух вокруг него будто ломался от этого смеха, шёл трещинами.

— Ты ведь любишь тех, кто ведёт себя пожёстче, не так ли? — Его губы растянулись в улыбке, от которой захотелось отшатнуться. — Разве ты не впечатлена? Надеюсь, что да. Потому что я вернулся за тобой. И за тем, чтобы сдержать клятву.

Он смотрел мне в глаза — прямо, не мигая. И в этом взгляде не было ничего человеческого, только фанатичная, выжженная решимость, не оставлявшая места ни для сомнений, ни для жалости, ни для пощады. Ужас залил меня с головой — липкий, тяжёлый, парализующий. Я не узнавала его. Тот мальчик — добрый, честный, немного наивный — сгорел где-то по дороге сюда. Передо мной стоял мужчина с очерствевшим лицом, с жёсткими складками у рта, с хищной энергией, пульсировавшей в каждом жесте, в каждом вдохе.

— Я убью Диаманта, — произнёс он тихо.

Тише шёпота. Тише ветра. Но эти три слова прозвучали громче любого крика — они заполнили собой всё пространство между нами, вытеснив воздух, свет, надежду.

— За всё, что он сделал с нашей страной. За то, что он сделал с тобой.

2

Из-за плеча Теда я видела то, от чего кровь свернулась в венах. Один из его людей — длинный, костистый, в чёрной форме с алыми повязками на предплечьях — целился из ружья в старика. Тот стоял, раскинув руки, прикрывая собой жену. Женщина тряслась за его спиной мелко, беззвучно, как загнанное животное.

— Пожалуйста… — хрипел старик. Голос срывался на свист, точно кто-то продавил воздух сквозь сломанную флейту. — У нас ничего нет. Мы простые люди…

Солдат засмеялся. И нажал на курок. Выстрел ударил по барабанным перепонкам — тугой, мокрый хлопок, от которого мир на мгновение стал ватным. Старик осел, и на его рубахе расплылось тёмное пятно — быстрее, чем должно быть, словно тело торопилось отдать всё разом. Жена кинулась к нему с воем. Наёмник шагнул вперёд и вогнал штык ей под рёбра. Коротко, деловито. Старуха выдохнула — единственный прерывистый звук, похожий на всхлип задутой свечи, — и сползла рядом с мужем. Их руки почти соприкоснулись в пыли.

Ужас сковал меня целиком — мышцы, связки, лёгкие. Воздух загустел, как вода в болоте, и каждый вдох приходилось продавливать сквозь горло силой. К языку прилип кислый привкус желчи. Ладони стали мокрыми, скользкими. Но я не дала страху пожрать себя. Десять. Девять. Восемь. Вдох — порох, гарь, горькая едкость, осевшая на нёбе. Выдох — семь, шесть. Ещё вдох — и вместе с воздухом в грудь вошла ненависть. Раскалённая, белая, ослепительная. Она поднялась от солнечного сплетения к горлу и выжгла ужас дотла.

Я бросилась к Теду. Вцепилась в его рукав так, что ткань затрещала под пальцами.

— Прекрати это. Сейчас. — Голос дрожал, но уже не от страха — от ярости, густой и горячей, стоящей в горле комом. — Останови своих ублюдков! Это не борьба за свободу — это бойня! Ты убиваешь собственных соотечественников! Если Диамант узнает, что ты устроил здесь, он сотрёт тебя в порошок. Сотрёт, и пепла не останется.

Он перехватил мой локоть — легко, почти играючи. Но хватка была стальная, пальцы вдавились в мышцу до кости. Он стал сильнее. Жёстче. Я смотрела на его руку на своей коже и чувствовала, как внутри что-то сжимается от брезгливости, будто к телу прижали дохлую крысу — мокрую, холодную, и след от неё не смоешь, сколько ни три.

— О, я очень надеюсь, что твой прекрасный милорд узнает. — Тед улыбнулся. Широко, влажно. Безумие плескалось в его зрачках, расширенных, как у отравленного белладон-

ной. — Жду этого. С нетерпением. А ещё он узнает, что ты у меня. И придёт за тобой. Тогда я убью его. Медленно. Пока ты будешь смотреть.

По позвоночнику прокатился холод — от затылка до копчика, как капля ледяной воды по обнажённой коже. Я вырвала руку. Отшатнулась так резко, что каблук поехал по мокрой от крови земле, и я едва удержалась на ногах.

— Ты безумен. — Шёпот, но в нём всё: презрение, горечь, отвращение к тому, во что превратился человек, которого я когда-то считала другом. — Диаманту нет до меня дела. Он сам велел мне убираться из его жизни.

— Увидим, — бросил Тед. В его глазах танцевало что-то тёмное, голодное — не огонь, а его извращённая тень, пожирающая свет изнутри.

К нам подошёл один из наёмников. В руке — мешок, тяжёлый и мокрый от крови. Ткань потемнела, пропиталась насквозь. Меня передёрнуло — резко, до судороги в лопатках.

— С жителями покончено. Никто не ушёл. Дома обыскиваем, забираем всё.

— Прекрасно. — Тед кивнул, как хозяин, довольный работой псов. — Отправьте весть герцогу Валентайну. И главное — пусть знает: его шлюха у меня. Хочет увидеть её — пусть придёт сам. Сюда. На эти развалины.

Я застыла. Вокруг кипел ад, и я не могла от него отвернуться. Люди Теда обшаривали трупы — стаскивали кольца с негнущихся пальцев, выворачивали карманы, лезли в рты

за золотыми зубами. Из домов тащили узлы с бельём, котлы, детские башмаки. Кто-то пнул мальчишку лет шести, который плакал, прижимая к груди деревянную лошадку. «Заткнись», — рявкнул наёмник. В его руке блеснул кинжал, и ребёнок замолчал навсегда.

Полыхал амбар. Пламя рвалось вверх, жадное, оранжево-чёрное, и выбрасывало в небо столб искр. Огненный свет ложился на лица мародёров — и лица становились масками. Плоские. Нечеловеческие. Запах дыма сплетался с железным привкусом крови и приторной сладостью горелой плоти. Эта смесь оседала в горле, как жидкая смола, и я поняла, что не забуду этот вкус, пока жива. Где-то вдали кричал ребёнок. Крик тонул в солдатском хохоте — пустом, механическом, как лай бешеных собак.

«И это Диаманта я считала тираном?» Мысль прожгла насквозь. Меня бросило в жар, потом в озноб, потом снова в жар — тело не знало, как реагировать на предательство собственных убеждений.

— Ты не понимаешь, с кем связался. — Я оторвала взгляд от горящего амбара и посмотрела Теду в глаза. Голос не дрожал — я не позволила ему дрожать, хотя внутри всё ходило ходуном. — Он не придёт. Ему плевать на меня. Но если придёт — ты пожалеешь, что родился. И я не стану его за это осуждать. А если ты рассчитываешь использовать меня — знай: я сдохну раньше, чем сделаю что-либо против него.

Теда перекосило.

— Не смей! — Он заорал, и слюна полетела мне в лицо, тёплая, отвратительная. — Не смей так говорить о нём! Ты до сих пор его защищаешь? После ошейника? После клейма, которое он поставил тебе как животному? После унижений? После того, как он переломал тебя по кускам?

Он шагнул ближе, и я почувствовала его дыхание — кислое, горячее, звериное.

— Он использовал тебя, Сильвана. Теперь я использую тебя против него. Убью его — и ты поймёшь, кто был прав. Ты будешь моей. Ты всегда должна была быть моей.

Он схватил меня за плечи и тряхнул — сильно, жёстко, как тряпичную куклу. Зубы клацнули, перед глазами рассыпались белые искры, а в черепе загудело.

— Ты пойдёшь со мной. Сейчас. Будешь делать то, что скажу. Попытаешься бежать — я сожгу ещё одну деревню. До последнего дома. До последнего ребёнка. Ты поняла?

Я закрыла глаза. За веками всплыли лица — Рэйн, сжимающий тонкую руку Мии. Их глаза, огромные, испуганные, когда я уходила. Перстень, оставленный в маленькой ладони. Один выбор. Одна жизнь — против многих. Воздух заклинило в лёгких. Мир замер, будто сама реальность задержала дыхание, ожидая, что я скажу.

Я открыла рот, чтобы послать его к дьяволу. Слова собрались на языке — горькие, точные, ядовитые. И сгорели, не родившись.

— Я пойду с тобой.

Голос — почти беззвучный. Но в этой тишине было лезвие.

— Но запомни: это не покорность. Это отсрочка. И ты заплатишь за каждую её секунду.

Тед разжал пальцы. На плечах остались вмятины от его хватки — я чувствовала, как там наливались синяки, горячие, пульсирующие. Двое наёмников взяли меня под локти — не грубо, но намертво, как тиски. Тед двинулся вперёд. Его шаг пружинистый, победный — он уже праздновал.

Я обернулась на мой дом, в подвале которого прятались дети. Перстень. Если они передадут его кому-то из инквизиторов — те узнают кольцо главы Ордена.

Мы шли через пепелище. Под подошвами хрустели угли, острые осколки глиняной посуды впивались даже сквозь кожу сапог. Посреди дороги лежала кукла. Фарфоровое лицо раскололось надвое. Один стеклянный глаз выпал и смотрел в небо — пустой, незрячий, и в этом расколотом взгляде была вся деревня, весь этот день, весь этот мёртвый мир. К запаху дыма примешивался сладковатый смрад горелого мяса, въедаясь в ноздри, заставляя желудок сжиматься в спазме. Где-то стонала женщина, но её голос тонул в хохоте солдат, жестоком и бесчеловечном. Я подняла голову. Над деревней висело багровое небо, будто сама природа окрасилась в цвет крови, оплакивая всё, что было потеряно.

Диамант

1

Я сидел в своих покоях в Рокуэлле — в тяжёлом резном кресле у камина, вцепившись пальцами в бархатную обивку. Будто эта потёртая ткань могла удержать меня от падения в бездну, что разрасталась внутри — медленно, неотвратимо, как чума. В бокале кружился абсент. Изумрудный. Горький, как всё, что я помню. Рядом, в таком же кресле, расположился Роланд. Мы отмечали отъезд Амаранты и мою свободу — или то жалкое подобие свободы, что остаётся после четырёх месяцев брака, в котором верность была не более чем декорацией. Она выжгла во мне что-то необходимое. Что-то тёплое и живое. Оставила только пепел, только холод — и глухой, ноющий голод по чему-то, чему я не могу дать имени.

Огонь потрескивал, выплёвывая искры, словно пытался вырваться из каменной пасти. Пляшущие тени скользили по стенам, искажая гобелены со стёршимися гербами старых правителей Колтрейна. Теперь они казались не символами власти, а призраками — цепляющимися за стены, за память, за прошлое, которого уже не вернуть. История. Просто история. Как их правление. Как мой брак.

— Через два дня мы покидаем Колтрейн, — произнёс я, не отрывая взгляда от зелёной мути в бокале. — Коронация в Леброне назначена на следующее полнолуние. Всё готово?

Роланд сделал глоток, поставил бокал на столик.

— Практически. Самолёт будет ждать в аэропорту, самое необходимое собрано. Даже погода благоволит: обещают солнце и безветрие. Вылетим без осложнений.

— Отлично.

Я сделал глоток и закурил. Дым потянулся к потолку, закручиваясь причудливыми спиралями, и на мгновение мне почудились в этих завихрениях лица — тех, кого я предал; кого использовал; кого сломал.

— Осталось решить вопрос с наместником.

Роланд приподнял бровь. В его взгляде мелькнуло предостережение — быстрое, как блик ножа.

— И кого ты планируешь оставить? Только не говори, что возьмёшь с собой Вестана. Он и дня не продержится без твоих указаний.

Я усмехнулся. Усмешка вышла холодной. Жёсткой. С привкусом железа.

— Вестан как раз останется. Предан, опытен, знает все тонкости управления. Но его власть будет чисто номинальной — он станет править под моим полным контролем. Я оставлю здесь своих людей. Они будут следить за каждым его вздохом и докладывать мне.

Роланд задумчиво крутил бокал, и свет огня отражался в стекле — крошечный пульсирующий глаз, немигающий, всевидящий.

— А если не Вестан? Есть и другие кандидаты…

— Есть. Но они либо слишком амбициозны, либо слишком глупы. Вестан — золотая середина. Предан, но не фанатичен. Понимает, что без моей руки его власть — пустой титул. И он достаточно стар, чтобы не строить долгосрочных

планов.

В моих словах звучала сталь. Я слышал её сам — и не смягчал. Роланд прищурился. В этом прищуре таилось сомнение — то самое, которое я методично давил в себе уже не первую неделю.

— А если он решит сыграть на твоей удалённости? Подружится с соседями, начнёт чеканить свою монету…

— Тогда мои люди напомнят ему, кто платит его страже. — Я стряхнул пепел в камин. Крошечные искры взметнулись вверх, отчаянные, обречённые. — И кто может перекрыть поставки соли из Леброна.

Роланд громко захохотал. Эхо прокатилось по залу, заставив задребезжать хрустальные подвески люстры. Мёртвый зал на мгновение ожил.

— Он бледнеет, стоит тебе только посмотреть на него строго.

Я слегка улыбнулся и повернулся к другу. На мгновение тяжесть сползла с плеч — не исчезла, нет, просто отступила на шаг, как зверь, выжидающий момент.

— А что насчёт тебя? Хочешь эту должность? Будешь наместником в Колтрейне, пока я правлю в Леброне.

Он засмеялся так, что тени на стенах дрогнули и отпрянули.

— О, нет, Валентайн, иди ты нахер! Придворные церемонии — это не моё. И, честно говоря, я не меньше тебя хочу вернуться в Леброн. Там свобода. Там старые друзья.

Там… — он подмигнул, и в этом жесте мелькнуло что-то почти мальчишеское, неуместное, живое, — та таверна у порта. Лучший эль во всём королевстве.

Я улыбнулся. По-настоящему. Тепло — тем редким, забытым теплом, что почти не появляется на моём лице.

— Та таверна… — Я откинулся в кресле, и память хлынула — солёная, хмельная, пропахшая дымом и морем. — Помнишь, как мы устроили драку с моряками из Саргона?

Роланд хлопнул себя по колену — простой, грубый, живой жест.

— Ещё бы! Они по пьяни перепутали тебя с девчонкой! Ты швырнул стол в окно, а я опрокинул бочку с элем прямо на этих здоровяков. Кир потом месяц с нами не разговаривал. А потом всё равно налил по кружке — в знак примирения.

Я фыркнул, и в этом звуке проскользнула тень прежней, давно похороненной беззаботности.

— Перепутать меня с девушкой… Это насколько надо оголодать по женскому обществу, чтобы спутать длинноволосого парня ростом под два метра с представительницей другого пола? Впрочем, они быстро осознали ошибку. Очень быстро.

Мы оба засмеялись. И на мгновение мир стал проще — таким, каким был в те дни, когда драка в портовой таверне казалась самой большой бедой. Но смех оборвался. Резко. Словно его срезали лезвием.

Я почувствовал это затылком раньше, чем услышал. Холод. Будто кто-то провёл ледяным остриём вдоль позвоночника. Потом — скрип двери. Слишком громкий. Слишком резкий. Он разорвал хрупкую иллюзию покоя, как нож — натянутый шёлк.

На пороге стоял слуга. Бледный. Глаза — испуганные, бегающие. Он кланялся так низко, что едва не касался лбом каменного пола, и голос его дрожал, как пламя на сквозняке:

— Простите за беспокойство, ваше высочество… Но к воротам замка подбросили это… — Он протянул лист бумаги, запачканный бурой, уже подсохшей кровью. — И… отрубленную голову. Неопознанного человека.

Я нахмурился. Бросил взгляд на Роланда — тот мгновенно посерьёзнел, и в его глазах отразилась та же тревога, которую я запирал за маской нарочитого безразличия.

— Того, кто это сделал, надеюсь, схватили? — Мой голос прозвучал небрежно, почти скучающе, будто речь шла о мелкой досадной неприятности.

— Да, ваше высочество. Он пытался уйти, сопротивлялся, но стража захватила его. Он сейчас внизу. В пыточной.

— Замечательно. — Я растянул это слово, как вязкую патоку, пропитанную ядом. — Обязательно лично поговорю с тем, в чью безумную голову пришло подбрасывать к моим воротам подобные подарки. Видимо, человек решил покончить с собой, но избрал уж слишком мучительный способ. Надо будет объяснить ему: проще было повеситься. Сэконо-

мил бы всем время и нервы.

Я взял письмо за уголок — брезгливо, двумя пальцами. Бумага липкая от засохшей крови. Текстура — грубая, неровная, как содранная кожа. Буквы — корявые, пляшущие, будто руки писавшего тряслись от страха. Или от безумия. Судя по отрубленной голове у ворот — скорее второе.

Я вздохнул и начал читать. И вздрогнул. В комнате было тепло. Огонь в камине пылал, выбрасывая жаркие волны, но внутри меня разлился холод — густой, тяжёлый, парализующий.

Я читал. Медленно — потом всё быстрее. Кровь отступала от лица. Пальцы сжимали бумагу так, что она трещала, грозя разорваться. Как и мой контроль над ситуацией.

2

Я держал грязный клочок бумаги, перепачканный засохшей кровью — бурой, уже ломкой, как старая ржавчина. Пальцы дрожали. Я сжал кулак, вминая ногти в ладонь. Не сейчас. Не здесь.

«Твоя клеймёная шлюха у меня. Вот доказательство».

К бумаге прилип локон светлых волос, перевязанный красной нитью — тугой, как удавка. Этот оттенок я узнал бы в кромешной тьме: тёплый, почти платиновый, будто впитавший последние лучи умирающего заката. Я поднёс его к лицу. Пахло полынью. И чем-то ещё — кисловатым, железистым. Страхом.

«Если хочешь увидеть её целой — явись один на развали-

ны старой мельницы у реки Вейн, что недалеко от деревни Лардила. Придёшь со своими людьми — она лишится пальца. Придёшь не один — лишится глаза. Придёшь поздно — лишится жизни. Время идёт. Я жду».

Мир сузился до этих строк.

Сильвана. Я сжал бумагу так, что она впилась в ладонь, — боль вспыхнула, резкая, необходимая, как пощёчина. Вдох. Выдох. Ещё раз.

— Это о ней, — голос прозвучал ровно. Но в груди что-то надломилось — тихо, необратимо, как лёд, который треснул, но ещё держит.

Роланд поднял голову. Он почуял перемену мгновенно — как зверь чует грозу. Секунду назад мы смеялись, вспоминая старые дни, а теперь воздух сгустился, отяжелел, и сама тишина между нами зазвенела, натянувшись до предела.

— Что? — спросил он. Коротко. В его взгляде мелькнул страх — не за себя. За меня. За то, что сейчас обрушится.

Я молча протянул ему письмо. Движения размеренные, нарочито неторопливые — каждый жест стоил усилия, которого никто не должен заметить. Ни один мускул на лице не дрогнул. Абсолютный контроль. Фальшивый, как позолота на медной монете.

Роланд взял лист. Пробежал глазами строки. Побледнел — кровь схлынула с лица разом, будто кто-то дёрнул невидимую пробку.

— Это… о Сильване?

— Кроме неё я никому клейма не ставил, — ответил я. Голос ровный. Внутренности горели, будто кто-то плеснул кислотой в живот.

Роланд поднял на меня взгляд — решимость и боль, сплавленные воедино, как два металла в тигле:

— Что будешь делать?

Я отвернулся к окну. Огни двора Рокуэлла мерцали в вечерних сумерках, равнодушные, как глаза мертвеца. Мозг уже работал, просчитывая, перебирая, отсекая лишнее с хирургической точностью. Кто? Врагов в этой стране — каждый второй, если не первый. Но Сильвана никому не причиняла вреда. Держалась в моей тени, когда жила со мной. Потом ушла — учила детей, жила тихо.

Да, я знал, где она. Знал каждый её шаг, её маршруты, даже её ежедневное расписание, хотя и не давал о себе знать. Это была моя маленькая слабость — единственная, которую я себе позволял. Нет. Тут что-то личное. Пропитанное горечью и злобой, как яд, который долго выдерживали в темноте, пока он не стал густым и смертельным.

— Прежде всего побеседую с тем, кто сейчас в пыточной, — сказал я, поворачиваясь к Роланду. Тон будничный, словно обсуждал завтрашний завтрак, а не судьбу единственной женщины, о которой я беспокоился. — Письмо подбросили вместе с отрубленной головой. Метод топорный. Тот, кто подкинул, — посланник. Пешка. Но пешки знают имя руки, которая их двигает. И он назовёт это имя. Все они в конце

концов называют — когда боль становится достаточно красноречивой.

Роланд кивнул.

— Я с тобой. Ты знаешь, я дружил с ней, пока она была здесь. Не позволю, чтобы с ней что-то случилось.

Я посмотрел на него. Привычная насмешливость стёрлась с его лица, как мел с доски, — осталась голая решимость, холодная, беспощадная. Хорошо. Сейчас мне нужны верные, а не остроумные.

— Пойдём. Но помни: никаких порывов. Мы должны вытянуть из него всё до последней капли. Потом будем действовать.

Мы вышли из покоев. Коридоры замка сжались — узкие, тёмные, пропахшие сыростью и старым камнем. Факелы чадили вдоль стен, бросая на потолочные своды рваные оранжевые пятна, и тени дёргались, как повешенные на ветру. Стража отдавала честь — я их не замечал. Мысли уже были там, у старой мельницы. Сильвана. В темноте. Одна. Или не одна — что хуже.

Я представлял её: связанные руки, сбитые костяшки, прядь, прилипшая к разбитой скуле. И глаза — те самые, цвета абсента — горящие не страхом, а яростью. Она не станет плакать. Не станет умолять. Она будет швырять похитителям в лицо такие слова, что те пожалеют, что не отрезали ей язык первым. Мне самому приходилось выдерживать этот её ядовитый дар — и в этом была своя извращённая, болез-

ненная прелесть. Как от ожога, к которому хочется прикоснуться снова.

Едва заметная улыбка. Горькая. Настоящая.

Роланд шёл рядом молча. Его напряжение ощущалось кожей — электрический гул перед разрядом. Но он держался, стиснув зубы так, что на скулах перекатывались желваки. В памяти всплыло — ярко, резко, как вспышка: таверна, мне шестнадцать, ему двадцать. Я пьян вдрызг, хвастаюсь силой, размахиваю руками. Роланд, трезвый, держит меня за шиворот на краю лестницы — единственное, что отделяет меня от полёта вниз по каменным ступеням.

— Ты мне как брат, — сказал я тогда, вцепившись в его рукав.

Роланд фыркнул:

— Лучше. Братья предают.

Сейчас он шёл рядом, сжимая рукоять кинжала. Не из-за награды. Не из-за долга. А потому, что помнил тот вечер. И все вечера после.

— Есть идеи, кто? — спросил он, когда мы начали спуск.

Ступени скрипели под нашим весом — старое дерево стонало, будто жаловалось на собственное существование. С каждым пролётом воздух густел, холодел, набирая сырость и тяжёлый, сладковатый запах — так пахнут места, где слишком долго и слишком часто проливали кровь. Камень стен блестел от влаги, и капли срывались откуда-то сверху, ударяясь о пол с мерным, настойчивым стуком.

Я пожал плечами. Не безразличие — признание.

— Слишком много вариантов. Старый враг, решивший ударить по тому, что считает моим уязвимым местом. Фанатик, убеждённый, что я оскверняю землю своим дыханием. Или кто-то, кто когда-то был близок к Сильване и теперь мстит за что-то, о чём я не знаю. Нам нужна правда. Быстро. От неё зависит всё.

Мы остановились у двери пыточной. Из-за неё сочились стоны — слабые, жалобные, похожие на скулёж раненого зверя. Тот, кто внутри, ещё считал, что знает, что такое боль. Он ошибался.

Рука замерла в дюйме от ручки. Мгновение растянулось — тягучее, густое, как смола.

— Готов? — спросил я. Не обернулся. Слушал его дыхание за спиной: ровное, глубокое, без единого сбоя.

Три секунды тишины. Капля ударила о камень где-то в глубине коридора. Твёрдый шаг вперёд.

— Всегда, — голос Роланда. Ни единой трещины.

Я повернулся. Мои глаза были ясными — два куска отполированного кремня. Никаких сомнений. Ни тени колебания. Я кивнул. И толкнул дверь.

3

Мы с Роландом вошли в пыточную — и воздух сомкнулся вокруг нас, как сырая могильная земля. Густой, вязкий, железистый — кровь, пот, и под ними сладковатая, почти интимная нота страха, тот особый запах, который источает

тело, когда надежда покидает его окончательно. Он облепил кожу, проник в лёгкие, и я вдохнул его полной грудью — медленно, с наслаждением, как знаток вдыхает букет старого вина, в котором сплелись и мёд, и полынь, и обещание агонии.

Факелы метались в ржавых кольцах на стенах. Свет — рваный, нервный — выхватывал из темноты глубокие трещины в камне, влажные подтёки, похожие на засохшие слёзы, выбоины, в которых чернела застарелая кровь. Тени ползли по потолку, скручиваясь в силуэты, лишённые имён. В центре комнаты, на полу, залитом бурой жижей — кровь, моча, нечистоты, — лежал человек. Вернее, то, что от него осталось. Дыхание — хриплое, рваное, влажное — вырывалось из горла, как из раздавленных мехов. Загнанный зверь. Зверь, который уже знал.

Я осмотрел его. На теле болтались обрывки чёрной формы, на рукаве — красная повязка, потемневшая от засохшей крови. Братство «Шэквуд». Мясники без кодекса, без границ, без дна. Я и сам пользовался их услугами — когда требовалась работа, о которой не говорят при свете дня. Но сейчас это не имело значения. Сейчас значение имела только Сильвана.

Я подошёл ближе. Наёмник поднял глаза. В них плескался животный ужас — чистый, незамутнённый, тот самый, что превращает человека обратно в скулящее существо. Губы тряслись. По виску ползла струйка крови — густая, чёрная в

неверном свете факелов, похожая на ленивого червя. Как же я люблю этот момент — миг, когда человек осознаёт свою абсолютную наготу перед чужой волей. Когда кожа ещё цела, но внутри уже всё разрушено. А при мысли, что это существо причастно к страданиям Сильваны, холод в моей груди сплавился с чем-то горячим, тёмным, почти сладострастным — удовольствием, от которого свело челюсть.

— Я хочу знать, кто тебя нанял, — произнёс я тоном, каким заказывают вино в трактире. — Тебя и твоих товарищей, которые, без сомнения, имеются. Хочу знать его планы, его местонахождение и вашу численность. Чем быстрее ответишь — тем меньше боли. И тем легче будет смерть. Ты ведь понимаешь, что смерть — это лучшее, на что ты можешь рассчитывать?

Молчание. Только частое, рваное дыхание — грудь вздымалась судорожно, рёбра проступали сквозь разорванную ткань, острые, как у дохлой лошади. Я склонился к нему. Приблизил лицо настолько, что почувствовал его дыхание — кислое, с привкусом крови. Увидел расширенные зрачки, капли пота в бровях, мельчайшую дрожь ресниц — крохотные, беспомощные движения, в которых билась агония рассудка.

— Если ты ещё не осознал, с кем разговариваешь: я — герцог Валентайн. Правитель этих земель и глава Инквизиции. Повелитель боли и удовольствий — так меня назвала однажды женщина, которую сейчас держит в плену тот, кто

тебя послал. — Я чуть наклонил голову, разглядывая его, как насекомое в янтаре. — Но ты не женщина. Тебе достанется только первое. Вопрос в количестве. И поверь — я очень, очень точно умею его дозировать.

Он трясся. Зубы выбивали бессмысленную дробь — мелкую, костяную, как стук игральных костей в стакане мертвеца. Тело пыталось отползти, но мышцы уже не слушались — плоть предавала своего хозяина раньше, чем разум.

Я выпрямился. Пожал плечами — с той небрежностью, с какой выбирают перчатки.

— Привяжите его к колесу.

Двое солдат подняли наёмника и поволокли к моему любимому инструменту — тяжёлому кованому колесу, усеянному изогнутыми шипами, похожими на когти грифона. Руки и ноги зафиксировали цепями, растягивая тело в ломаной, неестественной позе — так распинают шкуры для просушки. Он стонал, пытаясь что-то произнести, но слова тонули в хрипе и слюне.

Роланд стоял у стены, скрестив руки. Наблюдал с тем холодным, сосредоточенным интересом, который я в нём ценил. Иногда он вёл записи во время допросов — но не таких. Я поймал его взгляд и коротко кивнул. Слова не нужны. Он понял: жалость — роскошь, а мы обнищали.

Я подошёл к жаровне. Угли дышали багровым жаром, и над ними дрожал воздух — горячий, маслянистый, искажающий очертания предметов. Я взял железный прут и опустил

его в пламя. Огонь обвил металл — сначала робко, потом жадно, меняя его цвет от тёмно-вишнёвого к раскалённому оранжевому. Я следил за процессом с отстранённым любопытством. Как учёный за реакцией в тигле, где реагент — не человек, а лишь сосуд с нужной информацией. Да, метод грубый, первобытный. Но времени на изящество нет. Оно появится позже — когда в моих руках окажется тот, кто посмел причинить мне столько неудобств.

Прут сиял зловещим апельсиновым светом. Я снял его с подставки и двинулся к наёмнику — шаг за шагом, давая ему время. Время увидеть. Почувствовать жар, наползающий на лицо. Впитать ужас ожидания каждой порой, каждым нервом, чтобы он стал частью крови, частью костей. Его глаза закатились. С губ текла пена — тонкая, липкая, жёлтая, как у бешеной собаки. Тело дёргалось в цепях — бесполезно. Шипы входили глубже, и по спине расползались тёмные пятна.

Внутри меня вспыхнул азарт — знакомый, острый, как первый глоток после долгой жажды. Но под ним, глубже, пульсировала другая мысль: Сильвана. Я сжал прут. Раскалённый металл прожёг перчатку, впился в ладонь — боль яркая, точечная, реальная. Напоминание. Каждая секунда промедления — это она. Где-то в темноте. Ждёт. Или не ждёт, потому что слишком горда, чтобы ждать. Улыбка осталась на моём лице — но превратилась в нечто другое. В маску. Холодную. Безупречную.

— Погодите, милорд! — взвизгнул наёмник — пронзи-

тельно, режуще, как гвоздём по стеклу. — Подождите! Я расскажу!

— Он из Саргона! — выдохнул он, захлёбываясь словами. — Богатый купец… имени не знаю…

Я усмехнулся — коротко, беззвучно.

— Ложь. У купцов нет причин трогать Сильвану. Попробуй ещё раз.

Его глаза метались — по углам, по стенам, по тёмным нишам, где висели инструменты, которым он не знал названий. Искал спасение там, где его не существовало.

— Ладно, ладно! Это лорд Вестан! Он хочет захватить власть…

Я покачал головой.

— Вестан — трус. Он мочится при звуке моего имени. Ты либо говоришь правду, либо я начинаю проверять, сколько шипов на этом колесе войдут в твоё тело, прежде чем ты перестанешь врать. Я терпеливый человек. Колесо — тоже.

— Погодите! — снова крик, но в нём уже не было ничего человеческого — ни достоинства, ни воли, только голая, мокрая, животная потребность жить. — Я расскажу! Всё расскажу, что знаю!

Я остановился в шаге от него. Держал прут так, чтобы он видел оранжевое свечение, чувствовал жар, опаляющий кожу даже через воздух. Улыбнулся. Свободной рукой откинул прядь волос со лба, ощущая, как по шее сползает капля пота — тёплая, щекочущая, живая.

— Конечно расскажешь. Ты ведь не настолько глуп, чтобы испытывать моё терпение. Правда?

Он обмяк в цепях. Тело лишилось воли, стало тряпичным, бескостным — мешком мяса на крюке.

— Хорошо… я скажу правду…

Я кивнул. Улыбнулся шире. И прижал прут к его груди. Крик расколол тишину пыточной — животный, запредельный, такой, от которого сжимается что-то в основании черепа. Плоть зашипела. По комнате поплыл тяжёлый, сладковато-жирный запах горящей кожи — он осел на языке, забился в ноздри, и в нём была та страшная, первобытная честность, которой лишены все слова на свете. Я отступил на шаг. Разглядывал обугленный, пузырящийся след на коже — идеальный круг, чёткий, как печать. Достал сигарету. Чиркнул зажигалкой. Затянулся. Дым поплыл вверх, вплетаясь в чад горелого мяса и факельную копоть.

— Не смог удержаться, хотелось посмотреть твою реакцию, — спокойно произнёс я, выпуская дымное кольцо. — Ну, чисто научное любопытство, знаешь ли. Видишь, как интересно устроено человеческое тело? Оно так красноречиво отвечает на… стимулы. Ладно, рассказывай, если прокричался. Или, может, ещё раз? Мне прямо нравится, как ты кричишь. Такой музыкальный, почти мелодичный звук.

4

Захлёбываясь кровью и слезами, наёмник говорил. Слова выходили из него, как осколки — рваными, мокрыми, каж-

дое царапало горло. Голос дрожал, захлёбывался, но страх делал своё: выжимал из разрушенного тела то, что ещё можно было выжать.

— Он заплатил золотом, — хрипел наёмник. Кадык дёргался. По подбородку тянулась нить слюны, розовая от крови. — За деревню. Лардила. Велел вырезать всех, но запретил трогать девушку с золотыми волосами, если найдём. Я сам видел — он говорил с ней. Сам нашёл… Больше ничего не знаю. Клянусь. Только… — Он запнулся. Язык прошёл по разбитым губам. — Он обмолвился, что у него счёт к вам. Личный. За то, что вы… Чёрт. Я просто передаю. За то, что сделали его невесту своей шлюхой.

Тишина. Я стоял неподвижно, позволяя словам осесть — тяжело, как ртуть на дно склянки. В голове складывалась картина: холодная, геометрически точная, пугающе завершённая. Деревня у мельницы на реке Вейн. Требование явиться одному. Слово «шлюха». Ну да. Мысль пришла с горьким привкусом, будто я раскусил ореховую скорлупу и добрался до гнили внутри. Я ведь действительно назвал её так — при нём. При этом… Тэд? Тод? Имя стёрлось, как и лицо. Остался только силуэт: бледный, с дрожащими кулаками, застывший посреди зала, словно мальчишка, которому показали, как выглядит настоящая власть. Тупоголовый идиот, не удосужившийся даже лишить её невинности. Всё приходится делать самому — и удовольствие получать, и последствия расхлёбывать.

— Опиши его.

Я произнёс это медленно. Каждый слог — как лезвие, которым проводишь по коже, ещё не надавливая.

— Как выглядит твой наниматель? Не торопись. Я хочу каждую деталь. Каждую черту.

Наёмник сглотнул — звук раздался в тишине пыточной, как щелчок взводимого курка. Глаза его метались, не в силах зацепиться за моё лицо. По виску ползла кровь — густая, тёмная, почти чёрная в рыжем неверном свете факелов. Она стекала в складку у уха и капала на каменный пол.

— Он… старше вас, милорд. Лет двадцать пять, может. Русые волосы. Серые глаза. Лицо… обычное. Ничего такого. Но взгляд — сумасшедший. Будто он уже всех приговорил и просто ждёт, пока они об этом узнают.

Я кивнул. Имя по-прежнему ускользало, но перед глазами встал тот наивный щенок, который когда-то смотрел на Сильвану, как на божество. Серые глаза — да, точно. Серые, влажные от обожания. Он глядел на неё так, будто готов был вырвать себе сердце и положить к её ногам, даже не спросив, нужно ли ей это. Меня это забавляло тогда. Сейчас — забавляло ещё больше. Я не стал его казнить. Проявил милосердие. Отправил на другой континент — подальше от Колтрейна, от заговоров. От Сильваны. Какой же я добрый. Какой великодушный. Святой почти. Но — не делай добра, не получишь зла. Мысль вонзилась, как шип. Вот чем обернулась моя милость: человек разозлился, обзавёлся деньгами,

напитался местью, как губка — ядом. Но дурак так и остался дураком. Умные люди не переходят мне дорогу. А этот решил, что расстояние и время сделали его сильнее. Что ж. Пусть насладится последствиями.

— Роланд. — Я повернулся к другу. — Пора. Время — роскошь, которую я не стану тратить на… — Взгляд скользнул по наёмнику, и тот сжался, будто от удара. — …расходный материал.

Роланд кивнул. Лицо — каменное, собранное. Он понимал: время работает против нас. Но в его глазах мелькнула тень — не сомнение, нет. Боль. Тихая, как старый перелом, ноющий перед дождём. Он не одобрял моих методов. Его право. Пусть бережёт свою совесть, если сможет. Мне такая роскошь давно не по карману.

— Стража.

Я обернулся к солдатам.

— На костёр.

Наёмник дёрнулся. Всем телом. Глаза распахнулись — огромные, белые, как у лошади, почуявшей пожар.

— Но… вы обещали! Вы обещали лёгкую смерть! Я рассказал всё! Всё, что знал! Пощадите!

Я остановился в дверном проёме. Медленно обернулся. Улыбка пришла сама — неторопливая, почти нежная. Так улыбаются, прежде чем сомкнуть пальцы на крыльях бабочки.

— Я обещал лёгкую смерть. И она будет лёгкой — если

задохнёшься от дыма раньше, чем огонь доберётся до кожи. Иногда это происходит быстро. Почти безболезненно. — Пауза. — А если нет — промучаешься минут пять. Не больше. В любом случае это будет милосерднее того, что ждёт твоего нанимателя.

Я сделал шаг к двери. Остановился.

— У нас с ним будет разговор.

Каждое слово — камень, брошенный в чёрный колодец. Гулко. Тяжело. Без эха.

— Я хочу, чтобы он был в сознании. Полностью. Чтобы понимал, что с ним происходит. Чтобы чувствовал каждую секунду. Каждый нерв.

Роланд нахмурился. В его взгляде — не просто несогласие. Боль, почти физическая, как от раны, которую бередят снова и снова.

— Ты планируешь…

— Я планирую, — оборвал я, — чтобы он прожил каждую секунду своей ошибки. Осознал, что переступил черту, за которой ничего нет. Но сначала — мельница. Сильвана ждёт.

Я шагнул за порог.

— Идём. Время — не роскошь. Время — её жизнь.

За спиной наёмник кричал. Захлёбывался. Голос срывался на визг — тонкий, нечеловеческий, как звук ногтя по мокрому стеклу. Он молил, клялся — что ничего не знал, что был лишь пешкой, расходной фигурой в чужой партии. Его крики бились о каменные стены, мешались с запахом сы-

рой крови и чадящего факельного масла. Я не оборачивался. Не потому что не слышал. Слышал — каждый звук, каждый хрип, каждую оборванную мольбу. Просто они ничего во мне не затрагивали. Вообще ничего. Там, где у других людей отзывается жалость, у меня давно — выжженная земля. Гладкая, ровная, тихая. И мне с ней удобно.

5

Коридор ударил в лицо ледяным сквозняком — сырость, старая кровь, тление. Каменная утроба замка помнила каждый пролитый здесь глоток жизни. Я провёл ладонью по шершавому камню. Холод пробирался под кожу, впивался в вены, сковывал их ледяной коркой. Я не отдёрнул руку. Пусть. Пусть холод станет частью меня. Зверь проснулся. Но сейчас он будет послушным — ровно до того мгновения, когда я позволю ему вырваться.

Роланд шёл рядом. Его шаги звучали тяжелее — уверенные, мерные, но с привкусом настороженности, которую он не умел прятать. Я чувствовал его взгляд на своём затылке: напряжённый, изучающий, набухший немым вопросом.

— Что ты будешь делать? — спросил он, когда мы отошли достаточно далеко от пыточной и крики наёмника утонули за толщей стен, как тонет вопль в глубокой воде.

Я поправил тяжёлый плащ на плече — ткань скользнула по коже с шорохом, похожим на шёпот предвкушения. Повернулся к нему. Усмехнулся. В груди разгоралось забытое — охотничий азарт, густой и горячий, как расплавленный

свинец, заливающий горло. Впервые за четыре месяца мне было почти весело. Боль наёмника не утолила жажду — она её распалила, разожгла что-то первобытное, голодное, жадное до мяса и крика. Зверь внутри поднял голову. Он почуял кровь и хотел больше. Хотел купаться в ней. Захлёбываться. Как и я сам.

— Теперь всё проще, чем я думал, — ответил я. Голос прозвучал почти игриво. — Поеду на заброшенную мельницу. Один. А дальше — импровизация. Это будет… весело.

Роланд нахмурился. Покачал головой — медленно, тяжело, будто каждый градус этого движения причинял ему боль.

— Там целый отряд наёмников. Это опасно. И ни хрена не весело.

Я засмеялся — коротко, хрипло, без единой крупицы страха. Эхо ударилось о стены и вернулось искажённым, будто коридор сам подхватил мой смех и сделал его чужим.

— Опасно? — Я наклонил голову, глядя на Роланда чуть исподлобья. — Они не столь опасны, как я. К тому же этот… как его… Род настолько глуп, что даже не указал времени. Значит, я сам выберу момент. Правила.

— Это ловушка, — настойчиво повторил Роланд, глядя мне прямо в глаза. В его зрачках плескалось что-то густое, почти осязаемое — не тревога, нет. Боль. Словно он уже видел, как эти стены смыкаются вокруг меня, давят, перемалывают кости.

— Столь же жалкая, как и тот, кто её устроил. — Я растя-

нул губы в оскале, и воздух между нами сделался колючим, как наэлектризованная шерсть. — Представь: он думает, что может поймать меня. Диктовать мне условия. Мне. Он помешался настолько, что решил предъявить счёт за Сильвану. — Я покачал головой с притворным изумлением. — Да если бы каждый, чью жену или невесту я уложил в свою постель, решил разбираться…

Я захохотал — и в этом смехе было что-то звериное, сладострастное, непристойно откровенное, как стон в пустой церкви.

— Всё моё время уходило бы на разборки. Утомительно — но никогда не скучно. В этом есть своя извращённая прелесть, Роланд. Ощущать, как власть обжигает пальцы. Как она требует крови в обмен на каждый миг наслаждения. Как чужое тело под тобой — покорное, дрожащее — становится доказательством того, что ты можешь. Всё можешь. И никто — слышишь? — никто не смеет предъявлять счёт за то, что я беру по праву сильного.

Роланд вздохнул. Провёл рукой по лицу — пальцы скользнули по грубой щетине, не сумев стереть того, что засело глубже кожи, глубже костей.

— Я поеду с тобой.

Я вскинул бровь. В глазах уже плясали искры жестокого веселья — острые, стеклянные, способные вспороть кожу одним взглядом.

— Хочешь лишить меня половины удовольствия? Как

нехорошо. — Я понизил голос до интимного полушёпота, будто делился постельной тайной. — Я планировал насладиться каждым мгновением. Каждым криком. Каждой каплей крови, стекающей по коже — тёплой, медленной, — пока она не станет липкой и не остынет под пальцами. Хотел почувствовать, как дрожит тело того, кто посмел бросить мне вызов. Это ведь почти интимно, знаешь? Держать чужую жизнь в ладони. Сжимать. Ощущать, как она бьётся, трепещет, — а потом одним движением оборвать. Как шёлковую ленту на чужом корсете.

Я облизнул губы. Медленно. И не стал делать вид, что мне это не нравится.

— Свои извращенские замашки оставь при себе. Но я не могу оставить тебя, — тихо сказал Роланд, — когда ты делаешь что-то… для другого человека. Пусть даже из охотничьего азарта.

Я замер. Посмотрел на него внимательнее. В его глазах было не просто беспокойство — понимание, и, может быть, уважение, горькое и тяжёлое, как свинцовый привкус на языке. Но я не собирался давать слабину. Ни ему. Ни себе.

— Для другого человека? — Я растянул слова, пробуя каждый слог на вкус, и каждый следующий звучал холоднее предыдущего — ледяные иглы, входящие под ногти. — Не романтизируй, Роланд. Я делаю это не ради Сильваны. Я делаю это потому, что кто-то посмел тронуть то, что принадлежит мне. — Голос упал до шёпота, и шёпот этот резал точ-

нее крика. — И теперь он заплатит. Дорого. Так дорого, что золота не хватит. Он узнает, что бывает с теми, кто забывает, кому принадлежит власть. Узнает на собственной шкуре — буквально. Почувствует каждый удар.

Тишина. Капля воды сорвалась где-то в глубине коридора и разбилась о камень — звонко, как щелчок пальцев палача.

— Всё равно, — сказал Роланд. Упрямо. Негромко. Несокрушимо. — Я с тобой. Повеселимся вместе.

Я помолчал, разглядывая его.

— Хорошо. Но учти: если вмешаешься в мою игру — пожалеешь о своём благородстве. Оно станет для тебя тяжелее доспехов, пропитанных чужой кровью. А я умею делать так, чтобы тяжесть давила долго.

— Постараюсь сдерживаться. — Он криво улыбнулся, и в этой усмешке мелькнуло что-то мальчишеское, почти забытое — тень тех дней, когда мы ещё верили, что мир меняют словом, а не клинком. Тень давно мёртвого мира.

— Вот и славно.

Я хлопнул его по плечу — резко, жёстче, чем следовало.

— Распорядись снарядить лошадей. Выезжаем тихо — ни одна живая душа не должна знать, что мы покидаем Рокуэлл. Мне не нужны свидетели того, что произойдёт у мельницы. Меня и без того обвиняют в жестокости. — Я понизил голос, и слова упали, как капли горячего воска на кожу. — Пусть это будет моя собственная история. Без чужих домыслов. Без чужих ртов.

Мы двинулись по коридору. Каменные стены смыкались, сужались — челюсти древнего зверя, медленно сжимающего пасть. Факелы чадили, и их рыжий свет лизал мокрый камень, выхватывая из темноты трещины, похожие на старые шрамы. Внутри нарастало предвкушение — острое, почти непристойное. Привкус железа на языке. Горячая пульсация в висках, в горле, ниже — в самом нутре, где голод и похоть давно стали одним и тем же зверем. Четыре месяца тишины. Рутины. Тупой, выхолащивающей скуки, от которой хотелось скрести ногтями по стенам. И вот — наконец. Пусть от глупца. Лучше глупец, чем пустота.

А ещё — Сильвана. Мысль о ней прошила меня, как раскалённая игла: быстро, точно, до самого хребта. Её имя на языке — как первый глоток вина после жажды. Нет. Позже. Сейчас — охота. Потом — всё остальное.

— Знаешь, — бросил я через плечо, и собственный голос показался мне чужим — мечтательным, бархатным, с нотой, от которой у разумных людей холодеет затылок, — иногда мне кажется, что весь мир — арена. Люди — фигуры. Кто-то играет. Кто-то наблюдает. А я меняю правила посреди партии. И стираю с доски тех, кто осмеливается перечить.

Я обернулся. Посмотрел ему в глаза — прямо, не мигая.

— Их крики — музыка. Их кровь — краска, которой я пишу. В моей истории нет места милосердию. Только власть — такая же первобытная, как желание вскрыть, вывернуть, обладать.

Роланд не ответил. Покачал головой — медленно, тяжело, как человек, давно смирившийся с тем, что стоит рядом с чем-то, чему не следует существовать. Но уголки его губ дрогнули. Не улыбка — скорее судорога. Горькое, твёрдое понимание.

— Идём, шахматист.

Шаги зазвучали иначе — твёрже, чётче. Эхо множило их, отбрасывало от стен, и казалось, сам замок вторил мне, подчинялся ритму моей крови.

— Пора напомнить, кто здесь хищник. Те, кто забывает своё место, становятся кормом. Или развлечением. Зависит от настроения.

Я вдохнул глубоко — сырой воздух, дым факелов, собственный жар.

— А сегодня настроение у меня превосходное. Оно пахнет кровью и победой. И я намерен распробовать каждый глоток.

Сильвана

1

Пол был усыпан трухой сгнивших досок. Она хрустела под ногами, мешалась с осколками стекла — остатками окна, выбитого так давно, что рама успела почернеть и обрасти лишайником. Пыль висела в воздухе плотной пеленой, оседала на губах при каждом вдохе — сухая, мертвенная, со вкусом пепла и забвения. Я прижималась спиной к стене. Холодный камень не просто обжигал — он вытягивал тепло из тела по

капле, добираясь до рёбер, до позвоночника, до самой сердцевины. Каждый нерв под кожей ныл, обнажённый, как оголённая жила. Где-то над головой скрипели остатки мельничного механизма — тяжёлый, прерывистый стон, будто само здание оплакивало то, что впитали его стены.

Я опустилась на пол, обхватив колени, вжавшись в собственное тело в бессмысленной попытке согреться. Дрожь пробивала насквозь — от ледяных сквозняков, свистящих в щелях, от воспоминаний, которые не отпускали, а рвались наружу раскалёнными углями, приложенными к живой плоти. Перед глазами вставали лица жителей деревни. Испуганные глаза, застывшие в последнем мгновении. Старики. Женщины. Дети. Все — по его приказу. От этой мысли к горлу подкатывала тошнота — горькая, едкая, как дым от сырых дров, — а следом накрывала волна ненависти, такой густой, что перехватывало дыхание. «И рядом с этим человеком я хотела бороться за свободу… против жестокости Диаманта? Глупая, наивная Сильвана. Ты идеализировала слабость, приняв её за доброту. А настоящую тьму увидела слишком поздно».

Я снова поднялась, скользнула к полуразбитому окну. Сквозь треснутое стекло — пьяные возгласы, хохот, треск костра. Наёмники пировали. Рвали мясо зубами, заливали глотки вином и ржали, запрокидывая головы, будто не они несколько часов назад вырезали целую деревню. Их смех резал слух — ржавое железо по стеклу, скрежет, от которого

сводило челюсть. Я отшатнулась от окна. В груди закипала ярость: как можно веселиться, когда за спиной остывают тела?

Скрипнула дверь. Я резко обернулась. Сердце замерло — и рванулось, тяжёлыми гулкими ударами отдавшись в висках, в запястьях, в горле. В проёме стоял Тед. Покачивался. Глаза мутные, как стоячая вода в канаве. От него несло спиртным — густой, тяжёлый запах, пропитанный гнилью и отчаянием.

Он ввалился внутрь и уставился на меня с жалкой, кривой ухмылкой. От его вида всё внутри сжалось: он одновременно жалок и опасен — загнанный зверь, которому нечего терять.

— Ну, как тебе здешние условия? — хрипло спросил он, обводя рукой обветшалые стены. — Конечно, не покои Рокуэлла. Но это временно.

Презрительный смех вырвался сам — резкий, горький, как глоток прокисшего вина.

— Даже в покоях Рокуэлла ты останешься никем, Тед. — Я смотрела ему прямо в глаза. — Ты всегда был пустым местом. Просто раньше я этого не видела. Я искала в тебе доброту, благородство… а нашла труса и убийцу. Смешно, правда? Я бежала от чудовища к чудовищу, только второе оказалось мельче. Гораздо мельче. И воняет дешёвым вином.

Его лицо перекосило. Он шагнул ко мне. Внутри поднялась волна холодной решимости. Страха не было. Только отвращение — острое и чистое, как лезвие.

— Этот «никто», — зашипел он, — вырезал целую дерев-

ню. Разве не впечатляет? Ты ведь любишь жестокость, Сильвана. Разве нет?

Я засмеялась — громче, холоднее. Смех отразился от стен мельницы и вернулся незнакомым, будто вырвавшимся из чьего-то чужого горла.

— Ты намекаешь на Диаманта? Пытаешься сравниться с ним? — В моём голосе было столько презрения, что он дёрнулся, будто от удара. — Ты не безумец, Тед. Ты идиот. Ты не достоин стряхивать пыль с его сапог. Ты — ничто рядом с ним. И убедишься в этом, когда он сотрёт тебя в порошок. Хотя нет. Ты и на пыль не потянешь. Он просто раздавит тебя — как клопа. С отвращением, но без особого труда.

Я сделала шаг вперёд. Внутри поднималась волна жестокости — не чужой, не навязанной, а моей собственной, давно дремавшей на дне и наконец разбуженной. Она была тёплая. Почти приятная.

— Дело не во мне. Обо мне он, может, даже не вспомнит. Но ты осмелился хозяйничать на его земле. Ты убил людей, которые принадлежали ему. Тебе конец. — Я помолчала, наслаждаясь тем, как дрогнули его зрачки. — И знаешь что? Мне тебя не жаль. Ни капли. Я с удовольствием посмотрю, как он будет вырывать из тебя позвонок за позвонком. И, может быть, даже попрошу оставить мне один — на память.

Я сама удивилась собственному голосу. Раньше я так не говорила — так холодно, так беспощадно, так спокойно. Но какая-то часть меня ликовала. Я почти видела, как Диамант

явится сюда — спокойный, смертоносный, неумолимый, как сама судьба. И тогда всё закончится. Хотя нет. Для Теда — если ему не повезёт умереть сразу — всё только начнётся.

Тед багровел. Глаза наливались кровью. Жилы на шее вздувались, будто готовые лопнуть. В его взгляде мешались ярость и отчаяние — он понимал, что я права. Не мог с этим смириться. И эта беспомощность разъедала его изнутри, превращая в нечто уродливое.

— Помнишь, ты приходила ко мне в камеру? — Голос его стал тихим, хриплым, почти интимным — и от этого ещё более мерзким. — Когда я гнил в подземелье Рокуэлла? Уже тогда я понял — что-то не так. Ты шарахалась от меня. А потом явился он, и ты убежала. Знаешь, что он сказал мне, когда мы остались одни?

Тед шагнул ближе. Его дыхание — горячее, кислое — коснулось моего лица. Я не отшатнулась. Мне хотелось, чтобы он видел: мне не страшно. Мне противно.

— Он сказал, что ты стонала под ним. Добровольно. Что отсосала ему перед тем, как прийти ко мне. Что он дал тебе то, чего я никогда бы не смог дать. — Его голос дрожал, срывался. — Я не верил. Не мог поверить, что женщина, на которую я боялся даже поднять глаза, — просто шлюха садиста. Но потом ты сама сказала, что любишь его. И я понял: он не врал. Ты — конченая тварь, Сильвана. Это из-за тебя я пошёл на всё это.

Я смотрела на него. В груди — ни капли страха. Только

ледяное презрение, такое плотное, что оно могло бы застыть смолой, запечатав этот момент навечно. Его слова не задевали. Они лишь подтверждали то, что я уже поняла: он слаб и жалок, а вся его ярость — предсмертная судорога.

— Поплачь, — сказала я тихо. — Это всё, что тебе осталось. Плакать над своей участью, пока Диамант не доберётся до тебя. И, знаешь, я даже не стану просить его о быстрой смерти тебе. Ты этого не заслужил. Ты заслужил долго. Очень долго. Чтобы каждый крик был как та деревня — чтобы ты чувствовал всё. До последнего.

Тед издал звук — не крик, а что-то животное, утробное, рвущееся из самого нутра. Бросился ко мне. Лицо исказилось, глаза горели безумием — в них не оставалось ничего человеческого. Только слепая, звериная потребность доказать, что он ещё существует.

— Но перед этим я поимею тебя, — прошипел он, хватая меня за руку. Пальцы впились в запястье до кости. — В конце концов, я получу хоть что-то.

Я отпрянула, но он уже вцепился в плечо. Пальцы вдавились в кожу — глубоко, больно, оставляя следы, которые будут синеть ещё несколько дней. Его дыхание обжигало — тяжёлое, влажное, провонявшее алкоголем и кислым потом. Запах въедался в ноздри, в слизистую, вызывая рвотный позыв. Но я не отвела взгляд. Смотрела ему в глаза — и видела всё: его ничтожество, его обречённость, его конец. Он уже был мертвецом. А Диамант — Диамант был силой, стихией,

неотвратимой карой, которая приближалась где-то за горизонтом, неслышная и неумолимая.

— Ты уже мёртв, Тед, — прошептала я ему в лицо. — Просто ещё не упал. И когда упадёшь — я буду смотреть. С удовольствием. И, может быть, даже улыбнусь.

Он замер. Пальцы на моём плече дрогнули. В его глазах мелькнуло что-то — проблеск осознания, такого горького, что его невозможно проглотить. А внизу всё так же хохотали наёмники, не подозревая, что их время истекает с каждым ударом сердца.

Я закрыла глаза. Вдохнула глубоко — пыль, холод, гниль, далёкий запах дыма. В груди разливалась странная, тёмная уверенность: скоро всё изменится. И я больше не буду той наивной девушкой, что искала доброту там, где её никогда не было.

2

Рука взметнулась раньше мысли — тело знало. Кинжал выскользнул из-за корсета, лёг в ладонь привычной тяжестью, холодной и верной, как клятва. Остриё прижалось к горлу — туда, где под тонкой кожей бился пульс. Металл вошёл в плоть на волос. Выступила кровь — одна капля, алая, яркая, — скатилась по шее и замерла в ямке между ключицами, как рубин в оправе.

— Тронешь меня — и я вскрою себе горло. — Голос вышел ровным. Чужим. Будто не мой. Я смотрела Теду в глаза, не мигая, и видела, как в мутной глубине его зрачков рожда-

лось что-то новое — не похоть, не злоба, а голый, скулящий страх. — Ты знаешь, что сделаю. И ты потеряешь единственное, ради чего всё это затеял.

Понимание пришло не вспышкой — тихим щелчком, как замок, вставший на место. Да. Я сделаю это. Перережу себе глотку здесь, на грязном полу этой мельницы, и моя кровь зальёт доски, и Тед останется ни с чем — с трупом, с провалом, с яростью, которую некуда будет излить. Лучше так. Лучше холод лезвия, чем его руки на моём теле. К моей коже имел право прикасаться только один человек, и этот человек сейчас был далеко. Мысль о Диаманте обожгла — не нежностью, нет. Чем-то более тёмным, более честным. Принадлежностью. Я принадлежала ему. Моё тело, мои стоны, мой страх, моя дрожь — всё это было его территорией, и никто, тем более Тед, не смел на неё ступить.

Пустота разлилась в груди — ледяная, прозрачная, почти красивая. Мир сжался до двух точек: лезвие у горла и взгляд напротив.

Тед отшатнулся. Споткнулся о доску — гулкий, нелепый звук, от которого захотелось рассмеяться.

— Что ты делаешь?! — Голос сорвался на хрип, ломкий, жалкий, как у мальчишки, пойманного за воровством. — Убери! Убери сейчас же!

Он махал руками — загнанный, побитый, ничтожный. Я смотрела на него и думала: что сделал бы Диамант на его месте? Выбил бы нож? Нет. Он подошёл бы ближе. Наклонил-

ся бы к моему уху. Сказал бы что-нибудь тихое, страшное, от чего всё тело покрылось бы мурашками — и пальцы сами разжались бы. Или просто рассмеялся бы — этим своим смехом, негромким, шелестящим, от которого кровь густеет в венах. Он не отступил бы. Ни на шаг. Никогда.

Тед не был Диамантом. Тед был ничем.

— Я не трону тебя, — выдавил он, и голос дрожал так, что слова расползались на слоги. — Клянусь. Опусти нож. Прошу.

«Прошу». Он просил. Меня. Женщину в ошейнике, запертую на заброшенной мельнице, — он просил. Что-то тёмное, злое, удовлетворённое шевельнулось в груди — и мне не стало стыдно. Мне стало хорошо.

Я не двинулась. Кинжал прижимался к горлу — тонкий стальной барьер между мной и его жадностью. Кровь стучала в висках, дыхание становилось мелким, рваным, но ни один мускул не дрогнул. Я ждала. Каждой клеткой тела ждала — прыжка, удара, крика.

Тед повернулся к двери.

— Сука. Ты пожалеешь.

Шёпот. Хуже крика. В нём скрежетала ненависть побеждённого — бессильная, ядовитая, вонючая, как гниющая рана. Дверь хлопнула. Звук расколол тишину пополам. Он ушёл.

Несколько секунд я стояла, вросшая в пол. Пальцы вцепились в рукоять — казалось, кинжал стал частью руки, частью

скелета. Потом — медленно, как во сне — отвела лезвие от горла. Мир качнулся. В ушах звенело. Перед глазами плыли чёрные кляксы — тяжёлые, маслянистые, — и я схватилась за стену, впиваясь ногтями в сырой камень. Кинжал едва не выскользнул из мокрой ладони. Я сжала его крепче. Вдох. Ещё один. Воздух шёл в горло как битое стекло, резал лёгкие, — но с каждым глотком мир возвращался. Холодный. Чёткий. Настоящий.

Я сползла по стене. Камень тянул тепло из тела — жадно, равнодушно, — и я позволила ему. Дыхание выравнивалось. Я закрыла глаза. По щекам текли слёзы — не от страха. От облегчения. От того, что я сделала это: встала, выдержала, показала зубы. Не ему даже — себе. Себе показала.

Кинжал скользнул обратно за корсет — на место, будто и не покидал его. Я провела пальцами по царапине на горле. Кровь уже запеклась, но кожа горела — как клеймо, выжженное не железом, а решением. Пальцы нашли ошейник. Холодный. Гладкий. Безжалостный в своей простоте. Он не душил — он напоминал. Я — чья-то. И этот кто-то придёт. Не из любви. Из ярости. Из оскорблённой гордыни. Из-за того, что кто-то посмел взять то, что принадлежит ему. Но это всё равно была сила, на которую можно было опереться, как на стену за спиной.

Я подтянула колени к груди, обхватила руками. Дрожь уходила — её место занимала тяжёлая, горькая уверенность. В голове кружились обрывки: горящая деревня, гогот наём-

ников за стеной, лицо Теда в момент, когда он попятился, — перекошенное, мокрое от пота, жалкое. И на самом краю — Диамант. Спокойный. Смертоносный. Мой. Несмотря на всё, что он сделал. Несмотря на то, что для него я была вещью, знаком его власти, меткой на карте его территории. Была — пока не открыла то, что чувствую. Пока не стала чем-то, для чего у него нет названия.

Он придёт. Не ради моих слёз. Ради того, чтобы сломать каждую кость тому, кто посмел тронуть его собственность. Ради принципа, ради крови, ради утоления той чёрной, ненасытной гордыни, которая жила в нём, как второе сердце.

Он придёт.

Мысль встала в голове — как кинжал в ножнах. Плотно. Точно. Без зазора. В ней не было страха. Не было сомнений. Только уверенность — холодная, отточенная, режущая. Она грела, как последний уголёк в этой промозглой тьме.

Я вытерплю. Выдержу. Дождусь. Потому что теперь знала: я сильнее, чем думала. Сильнее Теда. Сильнее страха. Сильнее этой мельницы с её сыростью, мраком и крысиным шорохом в стенах.

Глава 3

Глава 3.
Среди Пепла

«Их крики — музыка. Их кровь — краска, которой я пишу».

Диамант
1

Я натянул поводья, и Элендил встал как вкопанный. Роланд поравнялся со мной. Его кобыла всхрапнула, мотнула головой, попятилась — лошади чуют смерть раньше людей. Он молчал. Я молчал.

Перед нами лежала Лардила — то, что от неё осталось.

Мы спешились у околицы. Я привязал Элендила к покосившемуся столбу, и тот прижал уши, косясь на деревню безумными глазами. Вечерние сумерки сгущались, наползали на руины.

Смрад ударил первым. Не запах — удар. Гарь, железистая свежесть крови и та тошнотворная сладость, что появляется, когда человеческая плоть начинает разлагаться. Она забилась в ноздри, осела на нёбе жирной плёнкой, и сколько ни сглатывай — привкус не уходит. Он впитывается в одежду, в кожу, в память.

Дома зияли развороченными дверями и пустыми глазницами окон. Некоторые ещё тлели — раскалённые остовы бросали на изуродованную улицу неровные багровые отсветы. Свет этот не был живым. Мертвенный, утробный, он шёл словно из самого нутра земли — отблеск преисподней, проступивший сквозь трещины мира. На дороге лежала детская сандалия. Маленькая. С вышитым цветком на пряжке — кто-то старательно выводил лепестки синей нитью, стежок за стежком. Нелепый, невыносимый осколок мирной жизни, брошенный в грязь. Рядом — опрокинутая телега. Яблоки раскатились по колее, и некоторые лежали в лужах крови, побуревшей и загустевшей, — красная кожура в красной жиже, и не сразу разберёшь, где плод, а где чья-то прежняя жизнь.

У колодца — женщина. Она обнимала ребёнка. Смерть не разжала её рук: пальцы так и остались впаянными в детское тельце, белые, восковые, со вздувшимися суставами. В этом окоченевшем объятии застыла боль такой густоты, что воздух вокруг них казался тяжелее, плотнее — будто горе имеет массу и давит на грудную клетку каждому, кто подходит ближе. Где-то трещали тлеющие балки — сухой, костяной звук. Вдалеке каркали вороны: рвано, хрипло, нетерпеливо. Они ждали, когда мы уйдём.

— Здесь было побоище, — тихо произнёс Роланд.

Голос его звучал глухо. Потерянно. Так говорят не о чужой трагедии — так говорят о собственной ране, которую

вскрыли без предупреждения. Я скользил взглядом по трупам. Равнодушно, как по мебели. Старики. Женщины. Дети. Все — в неестественных позах, вывернутые, изломанные, будто тряпичные куклы, которые кто-то в припадке бешенства швырял о стены. Кровь пропитала землю — тёмные лужицы уже начали загустевать, покрываясь бурой коркой. Разбитые телеги. Вырванный из земли колодезный ворот. Следы копыт и подкованных сапог, впечатанные в грязь. Здесь не просто была резня — здесь устроили представление. Показательную расправу, нарочитую, жестокую, рассчитанную на единственного зрителя: того, кто придёт после.

«Не понимаю таких методов. Никакого изящества. Никакого стиля. Топорно. Грязно. Тошнотворно. Убивать нужно с фантазией — с чувством формы, с пониманием драматургии. Тогда это искусство. А это — мясницкая работа. Скотобойня».

Но под коркой равнодушия уже шевелилось другое. Не жалость — её во мне не было никогда. Жажда. Тёмная, вязкая, поднимающаяся из живота к горлу. Жажда уничтожить того, кто посмел ступить на мою землю. Кто осмелился пролить чужую кровь там, где кровь имею право проливать только я. В груди закипала ярость — не горячая, нет: ледяная, кристальная, от которой мысли становились острее, а мир — чётче. А вместе с яростью — азарт. Охотничий. Тот, что сжимает рёбра и заставляет раздувать ноздри, вбирая запах добычи.

Я усмехнулся — мысленно, одними глазами. Перед внутренним взором уже разворачивались картины возмездия. Медленного. Изобретательного. Такого, чтобы каждый, кто услышит о нём, просыпался по ночам в холодном поту и трижды, четырежды, до конца своих дней думал, прежде чем поднять руку на то, что принадлежит мне. Я покажу им, что значит — переступить черту. Их смерть станет уроком. Наглядным пособием. Шедевром, который будут пересказывать шёпотом.

Роланд остановился. Опустил глаза. У его ног лежала девочка. Лет пяти — не больше. Льняные волосы слиплись от крови в бурые сосульки. Платье задралось, открывая тонкие, уже посиневшие ноги в шерстяных чулках. Он наклонился медленно, будто каждый дюйм давался ему с болью, поднял с земли плюшевого медведя — обугленного, с оторванной лапой, с единственным стеклянным глазом, уставившимся в никуда, — и положил рядом. Вернул ей то единственное, что ещё мог.

— Они даже не дали им шанса, — прошептал он.

В его голосе звенела горечь — тонко, на грани слышимости, как лопнувшая струна. «Слишком много человечности, — подумал я, и в этой мысли не было злости. Только лёгкая досада — как от мозоли, которая натирает на марше. Человечность мешает. Мешает видеть ясно. Мешает резать без колебаний. Мешает быть тем, кем нужно быть, когда мир вокруг уже решил, что колебания — это смерть. Слабость.

Красивая, благородная слабость. Но слабость».

— Идём, — бросил я ровным голосом. Даже не пытался замаскировать скуку. — Здесь больше нечего делать. Трупы не расскажут мне ничего, чего я не вижу сам. А скорбь… — Я помедлил, подбирая слова, как подбирают инструмент для вскрытия. — Скорбь — роскошь. Мне она не по карману. Да и не по вкусу.

Мы двинулись к лошадям. Шорох. Едва уловимый — скрежет подошвы по щебню, шелест ткани о камень. В мёртвой тишине разорённой деревни он прозвучал оглушительно, как треск кости в пустом склепе. Я замер. Рука взлетела вверх — сама, быстрее мысли. Роланд остановился в тот же миг, проследив за моим взглядом. Ни усталости, ни скуки в моих глазах уже не было. Только ледяная сосредоточенность — взгляд зверя, услышавшего хруст ветки в подлеске.

— Там кто-то есть, — выдохнул Роланд. Голос дрожал не от страха — от напряжения. Каждый мускул в его теле подобрался, как перед прыжком.

— Знаю, — ответил я тихо. — И прячутся давно. Достаточно долго, чтобы мне стало любопытно.

Я повернулся к полуразрушенному дому и вытянул меч из ножен. Клинок шёл с тихим шёлковым звуком, и сталь блеснула в угасающем свете — на миг поймав багровый отсвет догорающих крыш. Кроваво-алая полоса скользнула по лезвию, словно первая проба будущей крови.

— Кто здесь? Выходите. Не заставляйте меня искать —

поверьте, вам не понравится процесс. Я не люблю повторять. И я очень, очень не люблю, когда тратят моё время.

2

— Подождите!

Голосок — тоненький, надтреснутый, как стебель под сапогом — прорезал тишину пепелища.

— Мы выходим… Пожалуйста, не убивайте нас…

Я замер. Пальцы на рукояти меча не разжались. Из-за полуразрушенной стены, откуда тянуло сырой известью и горелым деревом, показались две фигурки. Маленькие. Дрожащие. Они шли по обломкам и пеплу так, будто ступали по битому стеклу — босыми ногами, вслепую, сцепившись друг с другом, как утопающие.

— Это дети, — тихо произнёс Роланд за моей спиной.

В его голосе звучала мягкость. Почти нежность. Та самая человечность, которую я давно вырезал из себя, как гнилое мясо из раны. Когда они подошли ближе, я разглядел их. Мальчик — лет восьми-девяти. Худой настолько, что ключицы торчали, как обломки костей из-под земли. Запавшие глаза, лицо, перепачканное сажей, с засохшей ссадиной на скуле. Он держал за руку девочку лет пяти. Она вцепилась в его рукав и беззвучно плакала — слёзы прокладывали светлые дорожки по грязным щекам. От них обоих пахло дымом, мочой и тем кислым, животным запахом, который издаёт только настоящий, вросший в кости страх. Каждый миг этого страха был впечатан в них — в подрагивание острых плеч,

в судороги пальцев, в стеклянные, остановившиеся взгляды.

— Пожалуйста, не убивайте нас, — повторил мальчик.

Он смотрел на меня снизу вверх, широко раскрытыми глазами, в которых читался не детский страх, а ужас, который ребёнку видеть не положено. Ужас, выжигающий душу дотла, как пожар — эту деревню.

— Меня зовут Рэйн. А это моя сестра Мия. Не убивайте нас, пожалуйста, милорд…

Я смотрел на них молча. Что-то внутри дрогнуло — едва заметно, на самом дне, там, где я давно перестал копать. Не жалость. У меня её нет, я уже говорил. Но это были невинные. Те, кто не выбирал эту судьбу, не тянул жребий, не бросал вызов. А я никогда не убивал невинных. Один из немногих принципов, которые я позволил себе сохранить. Слабость? Возможно. Я предпочитаю слово «избирательность».

— Не будем, — произнёс я ровно. — Вы в безопасности. Расскажите, что здесь произошло.

Я не представился. Имя моё пугает взрослых мужчин — детям оно ни к чему. Рэйн сглотнул, бросил быстрый взгляд на сестру, убеждаясь, что она рядом, и заговорил. Голос дрожал, но мальчик старался — цеплялся за каждое слово, будто от точности зависела их жизнь:

— Всё было спокойно… Потом пришли люди в чёрной форме. С автоматами. Начали стрелять. Убивать всех. Мы с Мией побежали к нашей учительнице, госпоже Сильване…

Сильвана. Имя прошло сквозь меня, как лезвие — быст-

ро, точно, до кости. Кровь побежала быстрее. Холодная. Злая. Голодная. Я вслушивался, и в голове уже складывались схемы — быстрые, жестокие, неотвратимые, как часовой механизм бомбы. Я представлял, как буду ломать кости тем, кто посмел тронуть то, что принадлежит мне. Как буду слушать их крики. Как они будут молить о пощаде — и не получат её. Картина не пугала. Она была правильной. Единственно верной.

— Она спрятала нас в подвале, — продолжил Рэйн. — Велела не выходить. Но потом пришёл главный над теми людьми… и увёл госпожу Сильвану. Когда они ушли, мы выбрались. Прячемся здесь с тех пор.

— Куда её увели? — Голос прозвучал резче, чем рассчитывал.

Чёрт. Ярость — холодная, расчётливая, смертоносная — поднималась из груди. Я уже знал, что сделаю с тем, кто забрал её. Медленно. Очень медленно. Так, чтобы он успел пожалеть о каждом вздохе, который сделал с момента рождения.

— На старую мельницу, — ответил мальчик. — Пожалуйста, помогите нам!

Мельница. Значит, они действительно там. И Сильвана — тоже. В руках глупца, решившего, что может играть по своим правилам на моей земле.

— Хорошо, — сказал я твёрдо. — Я помогу.

Рэйн выдохнул. В его глазах впервые мелькнуло что-то —

хрупкое, тонкое, как трещина в стекле, сквозь которую пробивается свет. Надежда. Такая ценная в мире, перемолотом в пепел.

— И ещё… — Мальчик полез в карман. — Госпожа Сильвана сказала передать это Инквизиторам, если мы встретим патруль. Сказала — они поймут. Вы не из Инквизиции. — Он посмотрел на наши плащи. Мой плащ — обычный, без знаков, без герба. Я не собирался светиться. — Но, может быть, сумеете передать?

Я протянул руку. В ладонь упало что-то маленькое, холодное и до боли знакомое. Мой перстень. Тот самый, что я отдал ей при расставании — вместо слов, которые не умею говорить. Металл хранил чужое тепло. В груди что-то сжалось — резко, больно, как спазм. Я отбросил это ощущение, как отбрасывают ненужный хлам.

— В этом нет нужды, — тихо сказал я, сжав кольцо в кулаке. — Оно дошло по назначению.

Рэйн смотрел на меня — удивлённо, испуганно. Промолчал. Умный мальчик. Мия, до этого молча вжимавшаяся в брата, вдруг подняла на меня мокрые глаза. Перестала плакать. И произнесла — тихо, восторженно, с той бесстыдной прямотой, на которую способны только дети:

— Ты красивый…

Я мысленно усмехнулся. В который раз ловил эту реакцию — даже у маленьких девочек. Что ж. Я не виноват, что совершенен. В этом осознании — своей силы, своей власти, своей

неотвратимости — было что-то звериное. Хищное. Правдивое.

— Ты тоже, — ответил я с лёгкой улыбкой. — Лет через двенадцать, возможно, обсудим это подробнее.

Роланд за спиной едва слышно хмыкнул. Я не обратил внимания. Надел перстень. Снял плащ и накинул на плечи Мии — тяжёлая ткань, ещё хранившая моё тепло, окутала её хрупкое тело, как кокон. Девочка утонула в ней.

— Ждите здесь. — Я указал на остатки сарая. — Внутри сено. Там теплее. Не выходите, пока не услышите мой голос. Я вернусь. Обещаю.

Рэйн кивнул. Прижал сестру к себе.

— Спасибо, милорд, — прошептал он.

Потом взял Мию за руку и повёл к сараю — осторожно, как ведут слепого, — туда, где ещё можно было спрятаться от холода. От тьмы. От мира, который уже сожрал их детство.

Я кивнул Роланду. Мы запрыгнули на коней. Элендил нетерпеливо переступал подо мной, вскидывал голову — он чувствовал моё настроение. Напряжение. Предвкушение. Жажду, гудящую в крови.

— Старая мельница, — бросил я, разворачивая коня. — Поехали.

— Думаешь, она всё ещё там? — спросил Роланд, поравнявшись со мной.

— Уверен, — отозвался я. — И тот, кто её увёл, сейчас жалеет, что родился на свет. Он просто ещё не понял почему.

3

Мы подъехали к мельнице, держась в тени деревьев — так близко к стволам, что ветви царапали плечи, роняя на нас капли ночной росы, холодные, как пот мертвеца. Лошади ступали мягко, будто и они чуяли кровь впереди. Мельница. Гнилой зуб в челюсти леса — перекошенная, вросшая в землю, источающая сладковатую вонь сырого дерева и плесени. Лопасти замерли, одна обломана, торчит в небо костяным пальцем. В окне верхнего этажа мерцал огонёк — слабый, неровный, дрожащий на сквозняке, как последний вздох. Скрипнула дверь. Изнутри — пьяный смех, потом грубый голос, сливающийся с хриплым хохотом.

— Сильвана там, — шепнул я. — Жива.

Язык не повернулся произнести «пока».

Я оглядел лагерь. Не больше двадцати человек. Большинство — в стельку пьяны, раскиданы у костров, как тряпичные куклы. Ни часового. Ни даже собаки. Пустые бурдюки валялись в грязи, рядом — объедки, блевотина, опрокинутое оружие. Они чувствовали себя здесь хозяевами — и оттого обмякли, размягчились, превратились в мясо.

— Привыкли, что им не дают отпора, — тихо произнёс Роланд. Его ноздри дрогнули — брезгливо, как у человека, вынужденного дышать над выгребной ямой. — Даже часовых не выставили. Это не наёмники, это сброд.

Я усмехнулся без тени веселья. Только расчёт, сухой и точный, как щелчок взводимого арбалета.

— Они пьяны и уверены в собственной безопасности, — произнёс я ровно, не отрывая взгляда от мельницы. — Вдвоём справимся. Внезапность на нашей стороне.

Пауза. Ночной воздух ложился на кожу мокрой тряпкой.

Роланд повернулся ко мне.

— Убивай всех, — сказал я. Каждое слово — отдельный удар. — Того, кто их нанял, оставь живым. Достаточно целым, чтобы разговаривать. Достаточно сломленным, чтобы не лгать. Главное — прорваться к мельнице. Сильвана там.

Роланд сжал челюсть. Кивнул. Потом — не удержался. Он всегда не удерживался — это была его единственная слабость и его единственное достоинство.

— Ты думаешь о ней, — сказал он тихо.

Не вопрос. Утверждение.

Я не ответил.

— Ты можешь сколько угодно убеждать себя, что это собственничество, — продолжил он, и голос его звучал ровно, без осуждения, без жалости — только констатация. — Но я видел твоё лицо, когда мальчишка протянул тебе перстень. Ты побледнел. На секунду. Может, меньше. Но я видел.

Я повернулся к нему.

— Если ты не заметил, у меня в принципе бледная кожа. А ты слишком много смотришь, Роланд. Это вредно для здоровья. Может стать смертельным.

Он не отвёл взгляда. Не отступил.

— Я твой друг, Диамант. Единственный, кто может тебя

выносить. И потому скажу то, что должен. — Он шагнул ближе, и в темноте его глаза блеснули — синие, яркие, упрямые. — Если она что-то значит для тебя — не потеряй её снова. Ты можешь её потерять. Навсегда. И тогда никакая корона не поможет. Ты уже проходил через это. Четыре месяца. Ты думаешь, я не видел, что с тобой происходило?

Я молчал. Ночная тьма обступала нас плотным кольцом — тёплая, влажная, пахнущая гнилью и мокрой землёй.

— Я не собираюсь её терять, — сказал я наконец. Голос прозвучал глухо — не от эмоций. Просто ночь была сырой, и воздух давил на горло. — И не собираюсь обсуждать это с тобой. Мы здесь не для разговоров.

— Я знаю. — Роланд вздохнул. Отступил на шаг. — Просто… она хорошая, Диамант. Правда хорошая. Не как остальные. Не как Амаранта. Не как эта рыжая сука Ванесса. И уж точно не как эта шлюха Эрджебет. Она не заслуживает того, чтобы ты снова её оттолкнул. Вот и всё, что я хотел сказать.

Он замолчал. Потом добавил — тише, почти неслышно:

— А если ты её снова оттолкнёшь — я тебя не прощу. На этот раз — серьёзно.

Я усмехнулся. Волчья улыбка — узкая, без веселья.

— Не простишь? — повторил я, глядя на него в упор. — Ты мне угрожаешь, Роланд?

— Нет. — Он покачал головой. — Я тебя предупреждаю. Это разные вещи. Ты знаешь разницу.

Я знал. И именно поэтому не стал продолжать. Он был прав — и я это ненавидел. Ненавидел ту часть себя, которая понимала каждое его слово. Ту часть, которая четыре месяца не могла заснуть без абсента. Ту часть, которая, услышав имя Сильваны из уст ребёнка, почувствовала удар под рёбра. Он видел это. И не боялся сказать. За это я его и держал рядом. За это — и за многое другое.

— Хватит, — сказал я. — Сейчас не время для философии. Сейчас время для крови.

Роланд кивнул. Молча вытянул клинок из ножен — металл звякнул коротко, как последнее слово приговора. Я провёл ладонью по рукояти меча. Кожаная обмотка, влажная от росы. Под ней — холод стали, знакомый, как собственный пульс. В груди разливалась тяжесть — не ярость, нет. Что-то древнее. Предвкушение. Жажда, которой не утолить водой. Я не испытывал ненависти к этим людям. Ненависть — слишком щедрый дар для мух, залетевших в мой дом. Но они посмели коснуться того, что принадлежит мне. А за это платят. Всегда.

— Помни, — я посмотрел Роланду в глаза, и тот выдержал, хотя зрачки его дрогнули. — Никаких поединков чести. Бей в спину. Режь глотки спящим. Они не заслуживают честного боя — только крысиной смерти. Пусть последнее, что они почувствуют, — ужас.

Роланд сжал челюсть. Кивнул. Он знал эти правила. Милосердие — роскошь. Жалость — слабость. Слабость —

грех.

— Я не буду их жалеть, — сказал он. Голос — ровный, каменный. — Может, я и не такой, как ты. Может, во мне ещё осталось что-то человеческое. Но я видел эту деревню. Я видел девочку с медвежонком. И теперь я хочу крови не меньше твоего.

Я кивнул. Хорошо. Злость — топливо. Даже праведная. Даже его. Я вытащил меч. Сталь выскользнула из ножен бесшумно — длинная, тусклая полоса, поймавшая отблеск далёкого костра.

— Начнём.

Мы спешились. Оставили лошадей в подлеске, привязав к осине — её белый ствол светился в темноте, как надгробие. Замерли. Слились с тенью. Ветер принёс запах — дым, перегар, прогорклый жир, и под всем этим, едва уловимо, медный привкус крови. Где-то ухнула сова. Звук упал в тишину, как камень в колодец. Я поднял руку. Роланд кивнул.

Мы двинулись вперёд — бесшумно, низко, растворяясь в ночи. Роланд — слева. Я — впереди, ведомый не зрением, а чем-то старше зрения: инстинктом, который не ошибается, потому что не думает. В висках стучала кровь. Разум оставался ясным — холодным, отточенным. Я слышал всё: храп спящих, бульканье недопитого вина, треск догорающих поленьев, чьё-то бормотание во сне. Нелепая, самодовольная симфония их последней ночи.

Их обречённости.

Сильвана

1

Я сидела в углу мельницы, вжавшись спиной в склизкую от сырости стену, обхватив себя руками — будто могла удержать в рёбрах остатки тепла. Холод здесь был не стужей. Он был существом. Он вгрызался в кости, протискивался между сухожилиями, высасывал жизнь — медленно, жадно, как паразит, присосавшийся к позвоночнику. Дрожь била крупной судорогой, челюсть ходила ходуном, зубы выстукивали неровный, почти безумный ритм. В голове крутилось одно — заклинание против отчаяния: «Он придёт. Диамант придёт». Я шептала это беззвучно, прокушенными губами, цепляясь за каждый слог, как утопающий за скользкую корягу.

Скрип двери вспорол тишину — резкий, ржавый, металлический. Я вздрогнула всем телом. Сердце подскочило к горлу, забилось там мокрым комком, перекрывая дыхание. В проёме стоял Тед. Ветер за его спиной швырнул внутрь горсть пыли — серые искры на миг окутали его фигуру, и он показался призраком, обугленным контуром того, кого я когда-то знала. Худее. Жёстче. Скулы выступили, под глазами — тени цвета старого синяка. Кинжал в моей руке дрогнул, лезвие холодно блеснуло — единственный проблеск жизни в этом царстве гнили и изморози.

— Не подходи.

Голос прозвучал твёрже, чем я ожидала. Будто принадлежал кому-то другому — сильной, безжалостной версии ме-

ня, которую я ещё не знала. Внутренности скручивались от страха, ладони взмокали, липкая влага ползла по рукояти, но я не могла показать слабость.

Тед замер. Поднял руки — примирительный жест, почти театральный. Сейчас он выглядел иначе: не фанатик с горящими глазами, а измотанный человек, в котором проступало что-то знакомое, далёкое — из тех времён, когда мы делили хлеб и секреты. Но я не позволила себе обмануться. За этой маской прятался убийца. Я чуяла его, как чуют запах гари под свежей побелкой.

— Я просто хочу поговорить, — произнёс он ровно. — Убери кинжал, Сильвана. Нам нужно выяснить всё. Раз и навсегда.

Я не опустила оружие. Пальцы крепко сжимали рукоять. В подушечках уже не было чувствительности — только тупое, упрямое давление.

— Ты даже не спросила о своём отце, — заметил Тед, и в его голосе прозвучала странная смесь упрёка и боли, будто он сам не верил, что произносит это. — Ты вообще помнишь, что он существует? Или у тебя в голове теперь только он — твой драгоценный Инквизитор?

— Обстоятельства не располагали, — отрезала я. — И, знаешь, если бы ты действительно заботился об отце — ты бы не устроил резню. А ты… ты просто нашёл повод убивать. Только признайся — тебе понравилось. Тебе понравилось чувствовать власть. Хоть над кем-то.

Он дёрнулся, будто от пощёчины. Отступил на полшага, но тут же выпрямился. В его глазах промелькнула боль — настоящая, почти детская. И тут же погасла, затянулась ледяной коркой, как вода в луже на морозе.

— Джейкоб пытался отговорить меня, — продолжил он, и голос дрогнул — обнажив ту человеческую слабость, которую он так отчаянно прятал. — Но… я до сих пор люблю тебя, Сильвана. Всё это — ради нас. Чтобы показать, на что я готов.

Смех поднялся из груди — горький, почти истеричный — и застрял в горле, превратившись в комок из слёз и ярости, в привкус пепла на языке.

— Ради нас? — повторила я. — Ты сжёг деревню. Ты убил детей. Ты держишь меня в гнилой мельнице, как собаку на цепи. И ты называешь это любовью? Знаешь, что я думаю, Тед? Я думаю, что ты просто не вынес того, что я выбрала не тебя. Что я легла под другого. Что я стонала под другим. Что я любила другого. И теперь ты хочешь доказать — себе, мне, всему миру, — что ты тоже можешь быть страшным. Что ты тоже можешь брать. Что ты не мальчик, которого я оставила.

Он побледнел. Черты заострились, словно кто-то провёл по ним резцом — лишнее отсекли, осталась только голая, выскобленная правда.

— А чем мои методы отличаются от методов твоего любимого Инквизитора? — Слова он не произнёс — выплюнул, как осколки стекла. — Он тоже убивает. Он пытает. Он

держит людей в подземельях. Только у него это называется «порядок». А у меня — «безумие». Двойные стандарты, не находишь?

Металл рукояти впился в ладонь, оставив тонкие царапины. Ярость вспыхнула в груди — горячая, обжигающая, выжигающая страх дотла.

— Диамант при всей своей жестокости не стал бы вырезать детей и стариков. — Я смотрела ему прямо в глаза. Голос был ровным. Внутри кипела смола. — Он не трогает невинных. У него есть правила. Границы. Он убивает только тех, кто бросил ему вызов. Тех, кто встал на пути. А ты… ты убил тех, кто просто жил. Тех, кто ничего тебе не сделал. Ты даже не смотрел им в лицо, когда отдавал приказ. Ты просто хотел крови. И ты её получил. Насладился?

Тед шагнул вперёд. Замер, увидев вскинутый кинжал. Лезвие повисло между нами — тонкое, смертоносное, как последнее предупреждение.

— А знаешь, что самое смешное? — продолжила я, и голос сочился ядом — ровным, как ручеёк ртути. — Диаманту, скорее всего, плевать на меня. Он, может, даже не вспомнит. Ему принадлежит весь мир — а я была лишь одной из многих. Но даже он — при всей своей жестокости, при всём своём безразличии — никогда не опустился бы до того, чтобы убивать детей. Никогда. Потому что он не трус. А ты — трус, Тед. Жалкий, мелкий трус. И я смеюсь над тобой. Внутри. Прямо сейчас. Смеюсь.

Он задрожал. Всем телом. В его взгляде мелькнуло отчаяние, непонимание — будто он до сих пор не мог осознать, как мы оказались по разные стороны клинка.

— Я задавал тебе этот вопрос в тюрьме, когда мы прощались, — произнёс он глухо. — Тогда не получил ответа. Сейчас хочу услышать. За что ты его любишь? За то, что он бил тебя и насиловал? За то, что поставил клеймо на твоём теле, как на скотине? Надел ошейник? А потом, когда ты ему наскучила, — выкинул подальше? Объясни мне, Сильвана. — Он сглотнул, кадык дёрнулся. — А заодно — себе.

В груди всё сжалось. Каждое его слово било в цель, вскрывало раны, которые я так старательно зашивала грубыми стежками. Я закрыла глаза на мгновение — и память хлынула, как ледяная вода сквозь прорванную плотину.

Жёсткие руки Диаманта, сжимающие мои запястья до хруста — до тёмных, цветущих синяков, которые я потом рассматривала в зеркале с непонятным трепетом. Его взгляд — ледяной, проникающий под кожу, под рёбра, добирающийся до чего-то, что я и сама в себе не знала. Боль. Унижение. Солёный привкус собственной крови на прикушенной губе. Запах его кожи, от которого поджимался живот и подгибались колени.

И тут же — другое. Его голос в темноте во время ночных бесед, когда весь мир сужался до двух тел и одного пространства между ними. Никогда — ни с кем — я не чувствовала себя так свободно. Маски падали, и оставались только мы:

два изломанных существа, понимающих друг друга без слов, на каком-то животном, дословесном уровне. Странная забота, которую он проявлял после жестокости. Те редкие случаи, когда он смеялся — искренне, по-мальчишески, и в эти секунды становился тем, кем мог бы быть, если бы мир не перемолол его раньше.

И — удовольствие. То самое, которое никто и никогда больше мне не даст. Удовольствие от боли и подчинения, от того, как сплетались страх и наслаждение, как каждый удар отзывался не только болью, но и пульсацией в самой сердцевине тела, как каждое его слово — грубое, властное, — пробуждало во мне что-то древнее, тёмное, жаждущее, ненасытное. Что-то, чего я стыдилась и чего жаждала с одинаковой силой.

Дыхание сбилось. Внутри боролись два чувства — ненависть к тому, что он со мной сделал, и тёмная, необъяснимая привязка к тому, кем он был в те минуты, когда стены между нами исчезали. Боль мешалась с нежностью, страх — с голодом, и этот ядовитый коктейль пульсировал в венах, гнал кровь рваными толчками.

Несколько минут я молчала. Тед ждал, не шевелясь. Его дыхание стало чаще, в груди слышался лёгкий хрип. Взгляд — неотрывный, жадный — ловил каждое моё движение, каждую тень на лице.

Наконец я подняла глаза.

— Это тот случай, когда любят не за что-то. А вопреки.

Каждое слово падало в тишину, как камень в воду.

— Вопреки рассудку. Вопреки боли. Вопреки страху и унижению. У меня нет ответа, Тед. Я просто люблю его. И буду любить — всегда. Что бы он ни сделал. Что бы ни сделал со мной. Даже если он меня не любит. Даже если он меня забыл. Даже если он сейчас на другом конце мира — трахает другую. Мне плевать. Потому что это — моё. Единственное, что принадлежит мне, а не ему. Моя любовь. Я сама выбрала её. И я не отдам её никому. Даже тебе. Даже ему. Особенно — тебе.

Тед смотрел на меня так, будто видел впервые — не ту Сильвану, которую помнил, а эту: изломанную, обожжённую, исполосованную шрамами и чужими руками, но не сломленную. В его глазах читалось отчаяние — отчаяние человека, который понял, что проиграл ещё до начала битвы. Что его любовь всегда была лишь бледной, выцветшей тенью того, что живёт во мне.

— Ты упрекаешь меня в безумии? — прошептал он. — Да ты сама безумна.

— Возможно. — Я не отвела взгляда. — Но это моя правда. Единственное, что у меня осталось нетронутым. Она не изменится — ни ради того, чтобы казаться нормальной, ни ради собственной шкуры. Это часть меня. Я скорее вырву её из себя с мясом, чем отрекусь. И знаешь, что ещё? Мне не нужна твоя жалость. Мне не нужно твоё понимание. Мне не нужно ничего от тебя. Ты — ничто. Пустое место. Человек,

который был и сплыл. Ты можешь убить меня здесь — и ничего не изменится. Потому что я всё равно буду его. Мёртвая — буду его. И это единственное, что имеет значение.

Тишина легла между нами — плотная, влажная, как земля над свежей могилой. Воздух пах сырым деревом, медью крови и чем-то кислым, звериным — страхом, моим или его, я уже не различала. Пот полз по позвоночнику ледяными пальцами, забираясь под платье, прилипая к пояснице. Сердце колотилось в висках — глухо, упрямо, как кулак в запертую дверь. Пальцы на рукояти кинжала подрагивали. Не от страха. От готовности. Мышцы предплечья горели тупой ноющей болью — я сжимала оружие так долго, что кожа ладони онемела, и я уже не чувствовала, где заканчивается рука и начинается рукоять.

Но в груди — вопреки крови, вопреки поту, вопреки этому человеку, стоящему в трёх шагах от меня, — было тихо. Холодно и тихо. Спокойствие, твёрдое, как навершие клинка под большим пальцем. Я сказала правду. Голую. Содранную до кости. И правда дала силы. Не тёплые, не утешительные — острые. Такие, от которых режет нёбо, если попытаться проглотить.

Диамант

1

Мы подкрались к лагерю наёмников почти бесшумно — шаги глотала трава, перемешанная с пеплом и мелкими обломками, шершавыми, как осколки костей. Ночь безлунная,

но костры давали достаточно света: пламя трещало, лизало темноту, отбрасывая рваные блики на лица пьяных ублюдков. В пляшущих сполохах их физиономии казались масками — нелепыми, уродливыми, будто кто-то вылепил из сырого мяса карикатуры на людей. Один храпел, уткнувшись лицом в землю. Другой горланил песню — фальшиво, хрипло, выдирая из глотки последние остатки голоса, будто блевал звуком.

Перегар, дым, моча, прогорклый жир. Вонь била в ноздри, оседала на нёбе, пропитывала одежду. Лагерь смердил, как выгребная яма после дождя. Я замер за стволом старого дуба. Кора впивалась в ладонь — грубая, растрескавшаяся, покрытая влажным лишайником. Пальцы ощущали каждую борозду, пока глаза считали тела. Около двадцати. Большинство спали, раскинувшись в собственной блевотине. Остальные пили, не подозревая, что веселье вот-вот оборвётся. Ни часовых. Ни дозоров. Ни единого шанса.

У меня аллергия на слабых. На дураков. На тех, кто осмелился топтать мою землю и при этом даже не удосужился выставить караул. Каждый из них заслуживал смерти — просто за то, что существовал. Роланд бросил на меня взгляд. Короткий. В нём читалась готовность — холодная, отточенная, как кромка лезвия. Я кивнул.

— Начинаем, — шепнул я.

Губы растянулись сами — не в улыбке, нет. В оскале. Предвкушение схватки разлилось по венам.

Мы двинулись одновременно. По разным сторонам лагеря. Я выбрал тех, кто сидел ближе к лесу: чуть более трезвые, чем остальные, но всё равно медлительные. Хмель сковывал их, делал неуклюжими, превращал мышцы в мокрую ветошь. В этом была их ошибка.

Первый удар — в горло. Клинок вошёл точно, рассекая плоть с влажным, интимным звуком, похожим на вздох. Сталь скользнула сквозь хрящ, задела позвонок. Тело осело мягко, как мешок с мукой. Ни звука. На мгновение я задержал взгляд на его лице — оно застыло в выражении тупого веселья, рот приоткрыт, будто он собирался рассказать анекдот. До последнего мгновения не верил, что смерть может быть такой тихой. Смешно.

Второй потянулся к мечу. Пальцы едва коснулись рукояти — я уже был рядом. Навершие клинка с силой вошло ему в висок. Хруст. Глухой, сочный, как треск спелого арбуза. Он рухнул, даже не поняв, что произошло. Жизнь покинула тело мгновенно — как пламя свечи, задутое резким выдохом.

Крик. Слишком поздно. Паника вспыхнула мгновенно, охватила лагерь, как огонь — сухой хворост. Кто-то вскочил, хватаясь за оружие трясущимися руками. Кто-то бросился бежать. Но Роланд уже перекрыл отступление. Его меч работал быстро, безжалостно, экономно — ни одного лишнего движения. До меня доносились хруст костей, глухие удары, предсмертные хрипы, слившиеся с треском костров в единую симфонию.

Я двигался между кострами. Тень среди теней. Жар пламени лизал щёку слева, холод ночи кусал справа. Третий наёмник бросился на меня с топором — замах размашистый, пьяный, читаемый за версту. Я ушёл в сторону, развернулся и всадил клинок ему под рёбра. Лезвие вошло глубоко, почти до рукояти. Я почувствовал сопротивление — сначала мягкое, потом твёрдое, когда сталь упёрлась в кость. Наёмник захрипел. Глаза расширились. В них мелькнуло осознание — короткое, как вспышка молнии.

— Пожалуйста… — начал он.

— Замолкни.

Я провернул клинок. Сталь скрежетнула по рёбрам. Наёмник дёрнулся, изо рта выплеснулась кровь — тёмная, пенящаяся. Я выдернул лезвие. Тело упало.

Четвёртый — сзади. Шаг, тяжёлый и резкий. Я обернулся, перехватил его руку. Запястье хрустнуло в моих пальцах — сухо, звонко, как сломанная ветка. Тот завизжал. Животный, пронзительный визг. Музыка. Чистый, безупречный звук победы.

— Ты же не думал, что сможешь меня достать? — прошипел я ему на ухо.

Кожа пахла потом и страхом — кислым, звериным. Я провёл лезвием по горлу. Медленнее, чем нужно. Кровь брызнула на плащ — горячая, липкая, с тяжёлым железным привкусом, который я ощутил даже на губах. Приятно.

Бой превратился в бойню. Зверь внутри ликовал, захлё-

бываясь чужой кровью, чужим страхом, чужой агонией. Свобода. Власть. Я чувствовал себя богом, вершащим суд над ничтожествами, — карающим не за грехи, а за саму дерзость существования.

Они двигались как во сне. Каждый шаг — ошибка. Каждый вдох — последний. Кто-то упал, получив удар в грудь, — лезвие прошло между рёбер, и я почувствовал короткий, едва уловимый толчок чужого сердца, бьющегося о сталь. Один удар. Два. Тишина. Другой схватился за горло — кровь хлестала сквозь пальцы, он булькал, захлёбывался, глаза вылезали из орбит, белки налились красным. Третий бросился бежать — Роланд настиг его одним прыжком, вогнал меч в спину и провернул. Наёмник упал лицом в грязь. Ноги дёргались конвульсивно, бессмысленно, как у раздавленного жука.

Тишина пришла внезапно. На поляне остались лишь стонущие, те, кто ещё цеплялся за жизнь. Их хрипы мешались с треском углей. Костры оседали, огонь терял силу, тени на земле становились длиннее, гуще — наползали на изуродованные тела, придавая им жуткую иллюзию движения. Воздух густел от запаха железа и внутренностей — тяжёлый, сладковатый, пьянящий. Он оседал на языке, забивался в ноздри, пропитывал кожу. Вкус победы. Горький и тёплый.

Я подошёл к одному из ещё дышащих. Он лежал на спине. Грудь вздымалась судорожно, рывками, рубаха потемнела от крови, прилипла к телу, обрисовывая рану — рваную, пуль-

сирующую. Глаза полуоткрыты. В них тлела искра — слабая, но упрямая. Я остановился над ним. Смотрел сверху вниз. Пропасть между нами была абсолютной.

— Где тот, кто вас нанял? — Голос ровный. Безэмоциональный. Ни гнева, ни жалости. Только холодная необходимость.

Наёмник с трудом сфокусировал взгляд. Губы дрогнули. Из раны на груди вырвался кровавый пузырь и лопнул с тихим, мокрым щелчком.

— Он… — Хрип. Сглотнул, собирая остатки сил. — Внутри… мельницы…

Кашель выкрутил его тело. Кровь потекла изо рта — тёмная, густая, как вишнёвая смола.

— С… девчонкой… светловолосой… — Глаза закрылись. Открылись снова. Взгляд на мгновение стал осмысленным, почти человеческим. — Она… живая ещё… кажется…

Я кивнул.

— Спасибо за информацию.

Голос прозвучал отстранённо. Как приговор, зачитанный клерком. Я опустил ногу ему на череп. Медленно. Давя. Кость треснула под подошвой — сначала тихо, потом громче, — и лопнула. Мозги выплеснулись наружу, вязкие, тёплые, розовато-серые. Брызги попали на голенище сапога. Я задержал ногу, вдавливая глубже, ощущая, как подошва проминает мягкое, податливое. Удовольствие прошло по позвоночнику — не как от женского тела, нет, — другое. Более

глубокое. Более чистое. Острое, пронзающее до нутра. Наёмник обмяк. Кусок мяса. Ничего больше.

Роланд выпрямился над последним. Вытер клинок о плащ убитого, не поднимая глаз.

— Слишком много крови, — пробормотал он. — Даже для войны.

Я посмотрел на него. Вгляделся. Тень сомнения скользнула по его лицу — быстро, но я успел поймать.

— Война — это кровь. Или ты забыл?

Он молча кивнул. Но взгляд задержался на лице мёртвого наёмника — совсем молодого, почти мальчишки. Скулы ещё мягкие, безбородые. Лицо хранило остатки невинности — нелепо, оскорбительно контрастируя с лужей крови, в которой оно лежало.

— Внутрь, Роланд, — приказал я, проводя клинком по плащу убитого. Ткань присосалась к стали — мокрая, тёплая, будто ещё живая. — Зайдём с разных сторон. Сильвану вытащить любой ценой. А Тед — кажется, так его зовут — мне нужен целым. Я хочу с ним побеседовать. Долго. Обстоятельно. С такими подробностями, от которых его будет тошнить собственными зубами.

Я обвёл взглядом поляну. Тишина — густая, влажная, как нутро раны. Тела валялись в нелепых позах: один с раскрытым ртом, в котором запеклась чёрная слюна; другой — на коленях, уткнувшись лицом в землю, словно молился чему-то, что не ответило. Мухи ещё не слетелись, но воздух

уже отдавал той приторной медью, от которой першило в горле. Мрачный шедевр — кровь, грязь, свет костров. Жаль, не прихватил придворного живописца. Такой сюжет пропадал.

Костры оседали, превращаясь в раскалённые угольные дыры. Их свет полз по мёртвым лицам, и от этого казалось, что веки подрагивали, а губы шевелились — беззвучно, упрямо, точно покойники пытались о чём-то предупредить. Роланд обтёр лезвие о бедро, не глядя, и поднял голову. Мельница стояла на холме чёрным горбатым силуэтом. Ни одного огонька. Крылья застыли — растопыренные, как пальцы мертвеца. Пахло гнилым зерном и сыростью, которая бывает только в местах, где давно не бывает живых.

— Думаешь, он там? — Голос Роланда упал почти до шёпота. Среди этой тишины даже шёпот звучал непристойно громко.

— Должен быть. И Сильвана с ним.

Я втянул воздух — глубоко, до дна лёгких. Кровь. Мокрая земля. Дым.

— Готов?

Кивок.

— Ты с юга. Я с севера. Она выходит оттуда живой. Что бы ни случилось. Что бы ты ни увидел внутри.

Роланд ничего не сказал. Только перехватил меч удобнее — и этого было достаточно. Я двинулся первым. Тьма легла на плечи, обняла — не как плащ, а как любовница, кото-

рая знает, что ты уходишь убивать, и всё равно прижимается теснее. В груди ворочалось что-то холодное. Не гнев — гнев горит. Это было другое. Ледяная, ровная, хирургическая ярость. Та, что не трясёт руки, а делает их точными. Сильвана была там — за этими стенами, в темноте, в чужих руках. А тот, кто держал её, ещё не знал, что его время вышло. Что от этой ночи у него осталось ровно столько минут, сколько мне понадобится, чтобы дойти до двери.

Сильвана

1

Тишину ночи разорвали крики. Не человеческие — так кричит плоть, когда из неё выдирают душу. Резкие, захлёбывающиеся, они бились о стены мельницы, и казалось, сам воздух стал густым от боли.

Я подлетела к окну. Пальцы впились в трухлявую раму, щепа вошла под кожу — я почувствовала, как по пальцу скатилась тёплая капля. Плевать. Я сжала сильнее. Если отпущу — упаду, рассыплюсь, перестану существовать. Эта гнилая древесина была единственным, что держало меня в реальности.

А за разбитым окном творилось нечто, от чего рассудок раскалывался надвое. Кошмар. И самое прекрасное зрелище в моей жизни.

Крики наёмников, лязг стали, влажные хрипы умирающих — всё сплеталось в дикую, нестройную симфонию. От неё кровь густела и пульсировала в висках тяжёлым, пьяня-

щим ритмом. Сердце колотилось у самого горла — больно, бешено, будто пыталось пробить рёбра и выпрыгнуть наружу. Во рту пересохло. Дышать было трудно. Оторвать взгляд — невозможно.

В центре хаоса — он. Высокая фигура в чёрном, вычерченная языками костров, будто вырезанная из самой тьмы. Диамант. Я узнала бы его из тысячи — слепая, умирающая, безумная — по этой нечеловеческой грации, по тому, как двигалось его тело: перетекая из удара в удар, из смерти — в следующую смерть. Каждый шаг — приговор. Каждый взмах меча — казнь. Лезвие вспыхивало в рыжем свете, как молния в крови, и люди падали — кто с воплем, кто беззвучно, не успев осознать, что их стёрли из бытия, как мел с грифельной доски.

«Он пришёл. Он здесь. Скоро я увижу его лицо».

Мысль ударила в сознание и выжгла всё остальное — страх, боль, унижение, саму память о том, что я пленница. Наплевать, если не обратит внимания. Наплевать, если посмотрит с презрением. Он — здесь. И от этого грудь затопило горячим, почти невыносимым восторгом, обжигающим изнутри, как глоток неразбавленного яда, которого хочется ещё.

Я забыла обо всём. О четырёх месяцах, которые провела, выжигая надежду из сердца — и так и не сумела убить её до конца. О Теде, который всё это устроил, невольно подарив мне встречу, которую я считала невозможной. Воспомина-

ния хлынули — не мягким потоком, а осколками разбитого зеркала, каждый из которых резал до мяса: его голос — холодный, властный, от которого мурашки прошивали позвоночник насквозь. Его руки на моём теле — тяжёлые, горячие, оставлявшие невидимые ожоги, ноющие до сих пор. Его взгляд — тот, от которого сердце замирало, а потом срывалось в бешеный галоп, словно зверь, рвущийся из клетки.

Да, я была зла. За каждое слово, за то, что он сделал меня такой — сломанной, перекроенной по его меркам. Но что-то внутри — глубже злости, глубже гордости, глубже рассудка — трепетало при одной мысли о нём. Это была не привязанность. Это была зависимость — въевшаяся в плоть, в кровь, в костный мозг, — которую не могли уничтожить ни время, ни боль.

— Сильвана!

Окрик вонзился в сознание, как кинжал между рёбер. Я не успела обернуться. Тед подскочил сзади, рванул за руку — пальцы обхватили запястье тисками, с хрустом вдавливая кость. Кинжал вылетел из моей руки. Металл звякнул о доски пола — короткий, безжалостный звук, отозвавшийся пустотой в груди. Запястье вспыхнуло болью.

— Ты пойдёшь со мной, — прошипел Тед, пальцы впились в предплечье, продавливая кожу до мышц. Его лицо — потное, искажённое, — лицо человека, у которого отобрали последнюю иллюзию. Глаза горели не страстью. Не любовью. Слепой, разрушительной одержимостью, от которой воняло

падалью. — Сейчас же!

Но я не собиралась сдаваться. Не теперь. Не когда Диамант был так близко, что сама его близость текла по венам жидким огнём, вытесняя страх, заполняя тело силой, которой во мне не должно было быть. Адреналин ударил в голову, оглушая, сметая всё лишнее. Ярость вспыхнула в груди — белая, обжигающая, переплавляющая боль в оружие. Резко, почти инстинктивно, я вбила колено ему в пах. Тед согнулся пополам. Хрип. Пальцы разжались. Лицо исказилось, утратив всякое сходство с человеческим — осталась только оскаленная, корчащаяся от боли маска.

— Что, ничтожество? — выплюнула я, и собственный голос показался чужим. — Понял, что не выстоишь против него? Решил бежать? Бросить своих людей подыхать, пока сам будешь скулить в темноте? Знаешь, что самое смешное? Ты даже не представляешь, насколько ты жалок. Ты думал, что можешь тягаться с ним. С ним. С человеком, который ломает таких, как ты, не задумываясь. С человеком, который даже не помнит твоё имя. Ты — пыль. Меньше, чем пыль. Ты — пятно на его сапоге, которое он даже не заметит, когда раздавит.

Я рванулась к двери. К свободе. К нему. Три шага. Два. Тед с рёвом перехватил меня за талию, рванул назад. Мы сцепились — не как враги, не как бывшие друзья, — как два изломанных существа, вцепившихся в последний шанс разными руками. Он был сильнее. Но я — быстрее и злее, и эта

злость делала меня неукротимой. Я извивалась, била локтями в рёбра, ногтями рвала кожу на его руках. В голове — неуместно, абсурдно — мелькнуло: если бы я так же яростно сопротивлялась Диаманту в ту первую ночь, когда он взял меня, — он мог бы и не победить. Но разница была проста, как нож. Тогда — несмотря на страх, на стыд, на оскорблённую гордость — я хотела его. Хотела этой боли, этого унижения, этой тяжести его тела, вдавливающего меня в постель. Хотела его власти над собой так отчаянно, что сама мысль о сопротивлении казалась предательством собственной плоти. А Теда я ненавидела. Всей кровью, всеми внутренностями. За предательство. За жестокость. За его гнилую любовь, из-за которой гибли невинные, — любовь, обернувшуюся проклятием.

Тед схватил меня за волосы. Рванул голову назад — резко, жестоко. Позвонки хрустнули. Кожу на затылке обожгло, будто содрали полосу скальпа. Я стиснула зубы до скрежета, вонзила ногти в собственную ладонь — и боль внутренняя стала физической, управляемой, той, которую можно было выдержать.

— Ты всё испортила! — прошипел он мне в ухо. — Думаешь, он тебя спасёт? Он тебя сломает. Как ломал всех. Ты будешь валяться у его ног, как собака. Он вытрет об тебя ноги и выбросит. Ты для него — ничто. Ты всегда была ничем. Ты была ничем до него, ты стала ничем с ним, и ты будешь ничем после. Единственное, чего ты стоишь, — это то, что

ты дала ему. Ты — шлюха. Клеймёная шлюха. И я, дурак, любил тебя. Любил. Тварь.

Я развернулась, вцепилась в его запястье. Под пальцами — жилы, натянутые, как канаты. Пульс — рваный, неровный, выдающий то, что голос пытался скрыть. Боль пульсировала в голове, растекалась по шее горячим воском, но я не отпускала. Взгляд скользнул в сторону — кинжал лежал в двух шагах, тусклый отблеск на лезвии мерцал, как обещание.

— Отпусти, — выдохнула я. — Он уже здесь. Ты проиграл. Ты всегда проигрывал. С самого начала.

Тед рыкнул. Толкнул меня к стене. Плечо врезалось в камень — боль прошила руку до ключицы, словно кость раскололась. Мельничная пыль взметнулась, забивая ноздри запахом прогорклой муки и сырости. Но я не позволила себе упасть. Оттолкнулась, бросилась вперёд — к кинжалу. Пальцы скользнули по холодной рукояти, но он лежал слишком близко к стене. Чтобы схватить — нужно было развернуться. Подставить бок. Я замерла. Секунда растянулась в вязкую, душную бесконечность. Тед проследил за моим взглядом.

— Думаешь, это поможет? — усмехнулся он. В усмешке не было ни веселья, ни торжества. Только горькое, ядовитое осознание проигрыша.

— Больше, чем твой скулёж, — бросила я и пнула его в колено.

Хруст. Он шатнулся. И тогда снаружи — крик. Пронзи-

тельный, захлебнувшийся на полуслове, будто кому-то перерезали горло на вдохе. Потом — тишина. А потом — шаги. Тяжёлые. Мерные. Чёткие, как удары метронома. Я знала эту поступь. Моё тело знало раньше разума — дыхание выровнялось само, дрожь в руках утихла, сменившись холодной, хрустальной ясностью. Страх ещё пульсировал где-то на дне груди, но его накрыло чем-то большим.

Я выпрямилась. Не от смелости — просто ступни нашли доски, а спина нашла стену, и этого хватило, чтобы стоять.

Шаги приближались. Тед услышал их тоже: кадык дёрнулся, пальцы на моём предплечье вцепились крепче. И я вдруг поняла, что за четыре месяца во мне истёрлось самое простое — ожидание. В первую неделю я ждала у окна, пока чайник остывал на плите. Ждала, когда скрипнет калитка, когда на улице остановится машина. Потом перестала. Теперь шаги за дверью не несли спасения. Они заканчивали ожидание, как точку ставят в конце фразы, которую устали переписывать.

— Слышишь? — сказала я. Голос не дрогнул. — Это за тобой.

Тед замер. Хватка ослабла — не от страха. От того, что ему нечего было на это ответить: он тоже слышал, кто идёт.

2

Дверь ударила о стену — звук раскроил тишину, как топор раскалывает кость. Эхо ещё дрожало в сыром воздухе, когда Тед рванулся к упавшему кинжалу. Пальцы сомкну-

лись на рукояти — побелевшие, жадные. В следующий миг он дёрнул меня вверх так резко, что хрустнуло в плече, а колени подломились, прежде чем выпрямиться.

Лезвие легло на горло.

Острый край рассёк кожу — тонко, ювелирно, одной линией. Кровь выступила не сразу: сначала был только холод металла, потом — жар, медленный и густой, потёкший к ключице. Я чувствовала, как каждая капля прокладывала дорожку по шее, щекотала, обжигала, и это ощущение было таким интимным, таким унизительно-телесным, что дрожь прошла сквозь меня от затылка до паха.

Но я не застонала.

Потому что дверь была открыта. И то, что стояло в проёме, вытеснило из меня всё — страх, боль, воздух.

Время стало вязким. Комната пропахла ржавчиной, мочой и мокрым камнем. Я не шевелилась. Не из-за кинжала. Не из-за пальцев Теда, впившихся в моё плечо так, что ногти прокололи ткань и вошли в мякоть.

Из-за него.

В проёме стоял Диамант.

Свет из коридора обтекал его силуэт, превращая в чёрный вырез на фоне тусклого золотистого мерцания факелов. Он не вошёл — он присутствовал, как присутствует трещина в стене: неподвижно, неизбежно. Плечи — широкие, неподвижные. Руки вдоль тела. Ни жеста, ни спешки.

Кинжал у горла, хватка Теда, скрип половиц, привкус кро-

ви на губах — всё перестало существовать. Осталось только его лицо.

Я знала эти черты. Линия челюсти — резкая, будто вырубленная из базальта. Скулы, на которых свет и тень сходились, как враждующие армии. Губы — чувственные, порочные, с жёстким изломом в углу, который я когда-то принимала за намёк на усмешку, пока не поняла, что это просто форма его презрения. Тени от ресниц ложились на скулы тонкими штрихами — как штриховка на карте местности, которую собираются сровнять с землёй.

Его глаза нашли меня.

Ярко-голубые. Цвет льда на глубине, где он уже не белый, а синий — прозрачный, плотный, смертельный. Я помнила этот цвет. Помнила, как он стоял надо мной, когда взял меня впервые — не спрашивая, не уговаривая.

Сейчас его глаза были такими же. Спокойными. Хирургически спокойными.

Холод продрал меня от рёбер до лопаток. Четыре месяца я училась обходиться без этого взгляда.

— Ни шагу ближе! Или я перережу ей глотку!

Голос Теда — хриплый, рваный, как ржавая пила по сырому дереву. Его рука дрогнула, и лезвие вошло глубже — на миллиметр, но я почувствовала, как кожа разошлась, как боль вспыхнула белой вспышкой за глазами. Я сглотнула — рефлекс, — и металл царапнул снова, вдоль, наискось, оставляя второй порез. Кровь побежала быстрее. Тёплая, липкая,

она стекала в ложбинку между ключицами и дальше — вниз, по груди, пропитывая ткань.

Пульс стучал в ране. Я слышала его отчётливее, чем собственные мысли.

Диамант не двинулся.

Он перевёл взгляд на Теда. Секунду изучал его. Потом снова посмотрел на меня — и в этом взгляде я прочла то, от чего грудную клетку сдавило, будто её зажали в тиски и начали вращать винт. Он смотрел на меня так, как энтомолог смотрит на бабочку, уже пришпиленную к планшету, — с лёгким, прохладным интересом к тому, сколько ещё она будет дёргать крыльями.

— Допустим, — сказал он.

Голос — ровный, сухой, будто мы обсуждали сроки поставки зерна, а не мою жизнь, натянутую между лезвием и его безразличием.

— Но зачем? Ты всё равно отсюда не выйдешь.

Пауза. Он чуть склонил голову набок — птичий, нечеловеческий жест.

— Впрочем, убивай. Это твоё дело.

Раньше эти слова выбили бы из меня воздух. Теперь я услышала только их тон — ровный, аккуратный, каким говорят о вещи, которую можно заменить: эта не годится, возьмём следующую.

Я не стала искать в его лице трещину. Не потому, что выросла. Просто все счёты с его лицом остались в том сером

утре, у машины, когда я стояла в дверях и ждала одного слова.

Кровь дошла до ошейника и темнела на чёрной коже.

Но я стояла прямо. Не дёргаясь. Чтобы он видел, кого держит Тед, и чтобы Тед под своей рукой чувствовал не тряпку, а живую, злую, считающую до десяти женщину.

Я больше не была ставкой в чужой игре. Ни в его, ни в Теда. Это оказалось холоднее, чем быть вещью, — и прочнее.

Я всё ещё хотела его. Это было хуже лезвия.

Диамант

1

Я замер на пороге. Впитывал каждую деталь. Воздух стоял густой, тяжёлый, пропитанный страхом и железистым привкусом крови. И ещё чем-то — горьким, едким. Пепел на языке. Так пахнет безысходность.

Тед вжался спиной в стену, будто хотел стать частью гнилых досок, врасти в эту сырую, провонявшую плесенью тюрьму. Кинжал в его руке подрагивал. Не от слабости — от ярости. Лезвие упиралось в горло Сильваны. На бледной коже уже проступила тонкая алая линия — беспощадная, точная, как приговор. Кровь набухла крошечными каплями и медленно поползла вниз по шее — туда, где под кожей бился пульс.

Мой взгляд скользнул ниже. На её шее по-прежнему был ошейник. Мой ошейник. Тяжёлая тёмная кожа, тускло поблёскивающие шипы, плотная хватка, обнимающая горло,

как собственническая ладонь. Она не сняла его — ни после всего, что было, ни сейчас, когда чужой клинок прижимался к её коже прямо над пряжкой. Почему? Что-то шевельнулось внутри — не чувство, его отголосок, тёплый и колючий. Я задавил это сразу. Сантименты затуманивают взгляд. А в такой момент туман — смерть.

Сильвана стояла неподвижно. Почти не дышала. Лицо — бледное, восковое, с тёмными кругами у глаз и запёкшейся ссадиной на скуле. Но глаза горели. Упрямая, звериная решимость, от которой плавилась сталь. Я поймал себя на тени усмешки — холодной, едва уловимой. Даже сейчас она не сломалась. Не обмякла, не стала дрожащей куклой в чужих руках. В ней по-прежнему жила искра — обжигающая, неукротимая. Я намеренно отвёл взгляд. Сейчас она могла стать слабостью. А слабость острее любого клинка.

Мозг работал холодно. Тед загнан в угол, терять ему нечего — он мог перерезать ей горло одним рывком, без раздумий, просто чтобы утянуть за собой. Но если он отвлечётся — повернёт голову хотя бы на пол-оборота — я достану его броском. Расстояние подходящее. Реакция быстрее. Надо вывести его из себя. Разжечь гнев, заставить потерять контроль — но не слишком. Лишь на долю секунды. Этого хватит. В умении бесить людей мне нет равных. Я оттачивал это годами.

— Я ведь уже говорил тебе, — произнёс я нарочито лениво, будто мы обсуждали не жизнь и смерть, а скучный отчёт

о налогах. — Ты безнадёжен. И своим поступком лишь доказал мои слова. Скажи — зачем? Покажи, что у тебя есть хотя бы зачатки логики. Или ты всерьёз рассчитывал, что я стану торговаться за её жизнь?

Лицо Теда исказилось. Черты заострились, скулы выступили резче, глаза потемнели — в них вспыхнул тот самый огонь, который я так старательно раздувал.

— Ты разрушил мою страну! — голос сорвался на хриплый крик, полный боли и бессильной ярости. Кинжал вжался глубже. — Сделал из моей невесты свою шлюху! Пытал моих соратников перед моими глазами, а потом сжёг их заживо!

Я едва сдержал усмешку. Эмоции захлёстывали его — это хорошо. Рассудок тонул, и я мог этим пользоваться.

— Всего-то? — равнодушное пожатие плеч. Медленный шаг — с ноги на ногу, незаметное смещение вбок, сокращение угла, дистанция таяла. — Ох, мне бы твои проблемы. Знаешь, в чём твоя главная ошибка, Тед? Ты слишком много думаешь чувствами и слишком мало — головой. Чувства — это слабость. А слабость — это смерть. Хотя не понимаю, как слабостью может стать женщина, которую ты даже не трахал.

— Ах ты!.. — вырвалось у Сильваны. Голос — резкий, возмущённый, с той самой ноткой ярости, которая всегда делала её живой. Даже с лезвием у горла.

Это почти повеселило меня. Не сломлена. В сознании. И злится — на меня. Отлично. Чем сильнее её гнев, тем тоньше нить его самообладания.

— Ну же, — я снова повернулся к Теду, растягивая слова, источая скуку, будто наблюдал за дешёвым ярмарочным представлением, — определился с дальнейшими действиями? Может, отпустишь её, и мы обсудим всё цивилизованно? Хотя нет… На что я надеюсь. Тебе же нужна драма. Показать, какой ты принципиальный. И безмозглый. Знаешь, что самое жалкое в тебе? Ты даже не можешь придумать что-то оригинальное. Убить свою бывшую невесту на глазах у соперника? Это же сюжет из третьесортной пьески. Тебя бы освистали даже в портовом балагане.

— Замолчи! — шипение, почти змеиное. Рука дрогнула — едва заметно, но я засёк. В глазах мелькнуло не ярость — отчаяние. Горькое. Беспомощное.

— О, наконец-то что-то живое, — усмехнулся я, позволив себе ледяной оскал. — А то я начал думать, что разговариваю с каменной статуей. Но нет. Всё-таки живой. Жаль, что ненадолго. Ты ведь понимаешь, что отсюда не выйдешь? Ни с ней, ни без неё. Я не оставляю свидетелей. Особенно таких громких.

Треск за спиной — сухой, резкий. Роланд должен был появиться тремя секундами раньше. Тед дёрнул головой, но лишь на миг. Хватка не ослабла — побелевшие пальцы впились в рукоять кинжала.

— Ждёшь подмоги? — хрипло засмеялся он. Без веселья. Только горечь и обречённость. — Так и знал, что ты не один.

Я стиснул рукоять своего кинжала. Холодный металл,

гладкий, привычный — продолжение руки, продолжение воли. Нужно было действовать. Сейчас.

— Роланд! — голос резнул тишину. — Сзади!

Тед обернулся. Инстинкт. Всего мгновение. Этого хватило. Кинжал сорвался с пальцев — плавно, точно, без лишнего размаха, по идеальной дуге. Лезвие вошло в горло с глухим влажным звуком — коротким, окончательным. Тед захрипел. Выронил оружие. Пальцы скользнули по ране, по горячей крови — пытаясь удержать то, что удержать уже невозможно. Он рухнул на пол тяжело, без звука, словно весь его гнев и вся его боль вытекли вместе с кровью, впитались в грязные доски и стали ничем.

Шаг вперёд. Оценка. Идеально.

Жаль только, что не состоится у нас приватный разговор. А ведь было что обсудить. Я поднял взгляд.

Сильвана смотрела на меня. Широко раскрытые глаза, в них что-то среднее между ужасом и яростью. Странная, противоречивая смесь, от которой что-то натянулось внутри — туго, горячо. В её взгляде был вызов. И это нравилось мне куда больше, чем покорность.

— Жива? — коротко. Ровно. Без лишних интонаций.

Она сглотнула — резко, судорожно, — и выпрямилась, расправив плечи, словно сбрасывая с себя оцепенение. Кровь на шее ещё блестела, стекая к ошейнику, пропитывая кожу тёмными пятнами. Она бросила мне в лицо:

— Ты мог бы и раньше что-то сделать! Он чуть не пере-

резал мне глотку, пока ты стоял и разглагольствовал! Или ты получал удовольствие, наблюдая, как лезвие входит в мою кожу? Тебе ведь нравится смотреть, как я страдаю. Признайся.

Я позволил себе улыбку.

— Не хотел рисковать. Ты же знаешь — я всегда просчитываю ходы наперёд. Каждый. До самого конца. И, к твоему сведению, я не люблю, когда кто-то другой причиняет тебе боль. Это моя привилегия. Никто не смеет её отнимать. Даже идиоты с кинжалами и манией величия. Особенно идиоты с манией величия — они неаккуратны. Могли оставить шрам на твоей шее, а я предпочитаю, чтобы все шрамы на твоём теле имели моё авторство.

Она дёрнулась — от моих слов, от холода в моём голосе, от того, что я сказал правду. В её глазах мелькнуло что-то, чему она не хотела давать название. Я не стал задерживаться на этом. Время. Всегда время.

Сильвана

1

Дыхание рвалось из горла короткими хриплыми глотками, будто кто-то протащил по гортани мокрый песок. Пальцы дрожали. Я стиснула их в кулаки и спрятала руки в складках платья. Только не при нём. Гордость — единственное, что у меня осталось.

Роланд подошёл первым. Его лицо — открытое, немного обветренное — выражало ту неуклюжую тревогу, какая бы-

вает у людей, не привыкших к нежности. Он тронул моё плечо — осторожно, кончиками пальцев, будто боялся обжечься. Прикосновение было тёплым и ровным, без подтекста, без яда. Просто рука живого человека.

— Сильвана, ты как? Держишься?

На секунду стало легче. Будто кто-то поднёс к обмороженным пальцам огонёк свечи. Я заставила себя улыбнуться. Улыбка вышла кривой, натянутой — стежок на живую нитку. Но это было лучше, чем показать то, что клокотало внутри: ярость, стыд и тёмную, влажную тягу к человеку, стоявшему в стороне.

— Да. Всё хорошо. Спасибо, Роланд. Рада тебя видеть.

Он выдохнул, улыбнулся — просто, по-человечески, без двойного дна. Потом нахмурился, глядя на мою шею.

— Он порезал тебя. Кровь ещё идёт. Нужно перевязать, пока не поздно. У меня в седельной сумке есть чистые бинты.

— Не нужно, — я мотнула головой. — Царапина. Заживёт. У меня были раны и похуже.

— Были, — согласился он тихо. И в этом единственном слове прозвучало всё: и то, что он знал о клейме, и то, какой видел меня в Рокуэлле, и то, что не осуждал. — Но эта — на горле. А горло — не место для экспериментов. Позволь хотя бы обработать.

Я вздохнула. Спорить с Роландом было бессмысленно — в этом он был похож на своего приятеля. Только мягче. На-

много мягче.

— Хорошо. Но потом.

Он кивнул. Отошёл на шаг, давая мне пространство. И я посмотрела мимо него.

Диамант стоял у стены — одно плечо прижато к холодному камню, нога небрежно скрещена. Курил. Дым поднимался от его губ и тянулся к потолку, извиваясь длинным бледным телом, и он следил за ним с тем ленивым вниманием, с каким хищник следит за движением чужой тени. Поза расслабленная — почти вызывающая. Но я видела, как перекатывались мышцы под тканью, как подобрана каждая линия тела. Сжатая пружина, притворяющаяся усталой.

Его лицо было бесстрастным. Будто всё произошедшее его не касалось. Будто он наблюдал за пьесой, где ему не досталось роли. Сердце корчилось. Обида — горячая, стеклянная, с острыми краями: как он мог быть таким после всего? После стонов, вбитых ему в плечо, после ночей, когда он владел каждым моим вдохом, каждым содроганием, когда его пальцы знали моё тело лучше, чем я сама? И тут же — тёмная, постыдная радость: он здесь, он рядом, его рука остановила смерть в дюйме от моего горла.

Я стиснула зубы. По вискам прокатилась тупая, вязкая боль.

Не показывать. Не выдать, как тянет броситься к нему, вцепиться в ткань его рубашки, найти под ней твёрдое, горячее тело, уткнуться лицом в шею — туда, где пульс и запах

кожи — и не отпускать. Никогда. Но я помнила. Его последний взгляд — холодный, окончательный, как щелчок замка. Взгляд человека, который смотрит на вещь. Удобную. Заменимую.

Он докурил. Бросил окурок на каменный пол — тот ещё дымился, тлеющий красный зрачок — и раздавил каблуком. Одно движение. Точное. Бесповоротное. Поднял глаза на меня. И всё внутри вспыхнуло — кровь ударила в виски, дыхание оборвалось, в груди разлилось жидкое, обжигающее тепло, от которого заныло внизу живота. Он смотрел — внимательно, оценивающе, как меняла, взвешивающий монету на ладони. Потом сказал:

— Здесь больше нечего делать. А ты, — короткий кивок в мою сторону, властный, как жест хозяина, указывающего собаке место, — поедешь с нами.

Радость полыхнула — слепая, горячая, детская. Я едва не улыбнулась. Но память тут же ударила под рёбра: его спина, его холод, прощание. Обида вошла тонко и точно — стилетом между рёбер.

Нет. Не поддавайся.

Я выпрямилась. Расправила плечи, хотя они горели от напряжения. Голос вышел жёстче, чем я ожидала, — чужой, металлический:

— Нет. Я не поеду.

Бровь дрогнула. Едва заметно — как рябь на воде. В глазах мелькнуло что-то: раздражение, а может, тень усмешки

— на его лице одно от другого не отличить.

— Тебе некуда идти. — Голос ровный, спокойный, как констатация погоды. — Деревня сожжена. Негде переночевать. Ты чувствуешь? — он чуть повёл подбородком в сторону окна. — Гарь. Она уже въелась — в волосы, в кожу, в стены. В само это место.

Я стиснула зубы до хруста. Он был прав. И от этого злость поднималась гуще — горячая, тяжёлая, как кипящая смола.

— Я разберусь. Спасибо за заботу, милорд. У меня есть варианты.

— Какие? — Роланд вмешался тихо, но твёрдо. Он стоял чуть в стороне — между нами, как мост, который никто не решается перейти. — Сильвана, я не спорю, ты взрослая. Но ты ранена. Почти без сил. Поедем вместе. Хотя бы до Рокуэлла. Там решим.

Я посмотрела на него. В его глазах было тепло — простое, без подтекста. И в этом тепле было что-то, от чего горло сжалось.

— Спасибо, Роланд. Правда. Но я не могу вернуться в Рокуэлл. Не после того, как он меня выставил. Не после всего.

— Тогда куда? — спросил он мягко. — Куда ты пойдёшь? На пепелище? В лес, где возможно бродят остатки наёмников? Одна, ночью, с порезанным горлом?

Я молчала. Он был прав. И я ненавидела это. Ненавидела то, что не могу ответить.

Диамант молча смотрел на меня. И от этого взгляда —

неподвижного, раздевающего — кожа покрылась мурашками, а щёки обожгло жаром. Он не прикасался. Ему не нужно. Его глаза делали то, что другим не удаётся руками: стягивали с меня всё — платье, гордость, кожу — обнажая каждую мысль, каждый грязный, стыдный секрет. Он шагнул ко мне. Я замерла. Воздух между нами сгустился — тяжёлый, предгрозовой, заряженный.

Ещё шаг. И ещё. С каждым — сердце громче, тяжелее, гулкие удары в горле, в висках. А потом запах — его запах — накрыл меня: вишнёвый табак, гвоздика, корица. Он ударил в голову, как неразбавленное вино.

Осколки воспоминаний впились в плоть. Ночи, когда он сидел у моей постели, пока я проваливалась в сон. Его голос — низкий, бархатный — рассказывал истории о землях, которых я никогда не увижу. Его рука поправляла одеяло — и кожа под тканью горела. Его улыбки — редкие, почти невидимые, — которые он отдавал только мне. Я хранила их, как ворованные драгоценности.

— Значит, нет? — голос тихий. Мягкий. Почти нежный. Та самая интонация — от которой колени слабели, а низ живота наливался тяжёлым, ноющим теплом. Будто из-под ног выбили последнюю опору.

Я сглотнула. Не смотреть. Не смотреть ему в глаза. Но взгляд сам скользнул по лицу — линия челюсти, тень под скулой, изгиб губ, тёмные ресницы. Каждая черта — как прикосновение к содранной коже.

— Нет, — повторила я. Голос дрогнул.

Диамант вздохнул. Покачал головой. Пожал плечами — усталый, почти скучающий жест, будто спорить со мной ему наскучило, как наскучивает ветер, который дует всегда в одну сторону.

— Вечно тебе надо всё усложнять, — произнёс он с лёгкой усмешкой. Без злости. С чем-то тёплым и опасным на дне.

Его рука метнулась к моей шее. Два пальца — точно, уверенно — нашли точку под челюстью. Без колебаний. Без предупреждения. Движение — молниеносное, хирургическое. Я не успела испугаться. Не успела вздрогнуть. Мир потёк. Пол ушёл из-под ног, стены качнулись и поплыли, звуки отступили — далёкие, ватные, будто я погружалась в тёплую воду. Ноги подломились. Тело стало чужим — мягким, податливым, больше не моим.

Последнее, что я увидела — его лицо. Спокойное. Ни тени сомнения, ни тени сожаления. Холодная, абсолютная уверенность — и за ней, глубоко, как тень на дне колодца, что-то ещё. Что-то, на что у меня уже не хватило времени.

И странное, постыдное облегчение — тёплой волной — от макушки до пяток. Будто кто-то наконец забрал у меня право выбирать. Будто можно было перестать держаться — и упасть.

В его руки.

Глава 4

Глава 4.
Долг.

«Между нами было несколько шагов. Каждый — как по лезвию. И я сделала их все. Сама».

Диамант
1

Рассвет поднимался над развалинами медленно, неохотно — как труп, всплывающий со дна реки. Ночь скрывала больше, чем следовало. Я стоял на верхнем этаже мельницы у окна с выбитыми стёклами и смотрел, как грязно-лиловый свет заливает землю. Не свет — сукровица. Небо на востоке наливалось багровым, и в этом багрянце тонули остатки тьмы.

Воздух был густой, вязкий, пропитанный гарью и сыростью. Он оседал на языке пеплом, забивался в ноздри. Запах палёного дерева, мокрой глины и чего-то сладковатого, тошнотворного. Запах горелой плоти, если называть вещи своими именами.

Я перехватил Сильвану удобнее. Её тело обмякло, стало почти невесомым — но не хрупким. Даже без сознания в нём чувствовалась упрямая звериная сила: напряжённые мыш-

цы под горячей кожей, как у хищника, который притворяется мёртвым и ждёт своего момента. Дыхание выровнялось — глубокое, ровное. От этого ритма в груди что-то странно сжалось. Не нежность. Что-то хуже.

Сжатие яремной вены — приём простой. Шесть-семь часов беспамятства, без вреда. Практично. Эффективно. Без драмы. Мы как раз успеем добраться до Рокуэлла, пока она не придёт в себя.

Ресницы отбрасывали угольные тени на бледные щёки. Пряди волос прилипли ко лбу — влажные, липкие от пота и чужой крови. Я поправил одну. Пальцы задержались. Мягкость. Ненужная мягкость, от которой кожу на загривке продрало ознобом. Что-то тёплое и неуместное шевельнулось внутри — солнечный луч в склепе, цветок, пробивающийся сквозь гниль.

«Не смей», — приказал я себе. Отдёрнул руку. Сентиментальность — роскошь, которую я не могу себе позволить. Не сейчас, когда воздух ещё тяжёл от крови и гари, а впереди — работа.

Роланд подошёл. Челюсть сжата, лоб в глубоких складках. Он всегда смотрел так, будто видел не меня, а мою тень — и эта тень ему не нравилась.

— Зачем ты это сделал? — спросил он, кивнув на Сильвану. Голос глухой, будто пробивается сквозь мокрую землю.

Я чуть приподнял бровь.

— Не хочу слушать её крики всю дорогу. Пусть спит, пока

доберёмся до Рокуэлла. Она умеет быть невыносимой. Как капризный ребёнок, которому не дали конфету. Только вместо слёз у неё кинжалы.

— Я не о том. — Роланд шагнул ближе. Голос обрёл вес, как камень, падающий в колодец. — Зачем вести её в Рокуэлл? Она ясно сказала — не хочет. Ты видел, как она сопротивлялась. В её глазах была не злость. Гордость. И ты сейчас её топчешь.

Я усмехнулся — коротко, с ядом, который давно стал частью моего голоса.

— Она хочет. Просто не готова признаться. А главное — этого хочу я. Хочу развлечься с ней перед отъездом. Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствиях. Особенно когда удовольствие такое острое.

Последнее слово я произнёс медленно, перекатывая на языке, как виноградину перед тем, как раздавить. Роланд покачал головой. В глазах — усталое, обречённое: опять ты со своими играми. Он открыл рот, но я оборвал его взглядом.

— Идём, — бросил я, крепче прижав Сильвану к себе.

Её тело горячее. Жар пробивался сквозь ткань, обжигал грудь, рёбра, живот — даже сквозь мою броню равнодушия. Запах её волос ударил в ноздри, и я вдохнул глубже, чем следовало.

— Надо забрать детей из развалин. Они напуганы и голодны. А я не выношу детских слёз. Они звучат слишком похоже на раскаяние, а раскаяние мне ни к чему.

Роланд вздохнул. Смесь разочарования и смирения, горькая, как пепел. Он всегда так вздыхал, когда понимал: переубедить меня невозможно. А этого не получалось никогда.

Снаружи гарь стояла стеной. Ветер шевелил волосы Сильваны, бросал мне в лицо пряди, пахнущие потом и дымом. Её лицо белое, под глазами синеватые провалы, будто кто-то надавил пальцами на тонкую кожу. Губы потрескались. На скуле — подсохшая царапина, тёмная корочка крови, похожая на сломанную печать.

«Почему меня это волнует?»

Я отбросил мысль, как дохлую крысу, — брезгливо, двумя пальцами.

Лошади ждали в рощице неподалёку. Я устроил Сильвану впереди седла и закрепил ремнями — запястья, талию. Она не шевелилась. Дыхание ровное, глубокое. Тело тёплое и послушное, как чужое. Мне нравилось держать её такой — покорной, безвольной. Больше, чем следовало. Элендил обернулся, фыркнул — коротко, презрительно, — но возражать не стал. Даже конь знает, когда со мной лучше не спорить.

Роланд молча подошёл к своей лошади. Проверил подпругу. Поднял взгляд — тяжёлый, как надгробный камень.

— Ты понимаешь, что поступаешь нелогично? У неё есть чувства. Гордость. Воля. Ты выгнал её, а теперь силой везёшь с собой. Ты сломаешь её.

Я засмеялся — сухо, коротко. Звук вышел резким, как треск кости.

— Я не собираюсь её ломать. Просто хочу ещё раз поближе пообщаться. Напоследок. Бедняжке хотя бы будет что вспомнить. Может, напишет мемуары: «Как я провела незабываемую ночь с бессердечным мерзавцем». Звучит как бестселлер, не находишь?

Он не ответил. Только покачал головой — едва заметно. В этом движении читалась вся его усталость. От меня. От этой игры. От мира, который я ломаю и собираю заново, как ребёнок кубики.

Я тронул поводья.

— Поехали. Чем быстрее найдём детей, тем быстрее доберёмся до Рокуэлла. И тем быстрее я получу то, чего хочу.

Элендил шагнул вперёд. Сильвана качнулась в такт движению, прижимаясь ко мне плотнее. Член налился кровью. Блять. Не вовремя.

— Ты помнишь, — сказал я, не оборачиваясь, — как сказал мне: «Ты держись за неё. Крепко»? Помнишь, Роланд?

Пауза. Я слышал, как он напрягся в седле.

— Помню.

— Вот я и держусь. Крепко. Так крепко, что она без меня дышать не сможет. — Я усмехнулся. — Ты сам этого хотел. Я просто выполняю просьбу.

Роланд молчал. Долго. Потом вздохнул — тяжело, как человек, который понял, что его слова вывернули наизнанку и использовали против него.

— Я не это имел в виду.

— Знаю. — Я прижал Сильвану крепче. — Но это то, что ты получил. И это то, что я собираюсь сделать. Потому что ты был прав. Я не могу её отпустить. И не собираюсь. Не сегодня уж точно.

Элендил фыркнул, мотнул головой. Впереди показались развалины деревни — чёрные, обугленные, мёртвые.

Утро пахло страхом, железом и чем-то сладким — тем, что прячется за маской гордости Сильваны. Тем, что я собирался содрать с неё. Слой за слоем. До самого дна.

2

Запах ударил раньше, чем я увидел первое тело. Сладковатая, жирная вонь — разложение, смешанное с мокрой гарью, — расползалась по воздуху, липла к коже, оседала в горле едкой горечью. Элендил коротко всхрапнул, дёрнул головой, попятился. Даже конь брезгует.

Груда почерневших балок. Рассыпавшиеся камни. И тела — уже вздувшиеся, облепленные мухами, уже не похожие на людей. Просто мясо. Просто то, что осталось.

«Надо выслать сюда отряд Инквизиторов. Пусть закопают крестьян и разберут то, что осталось от поселения. Неэстетично. Да и запах портит пейзаж».

Я натянул поводья и окликнул — громко, стараясь, чтобы голос звучал ободряюще, а не так, как обычно. То есть не так, чтобы от него хотелось забиться в щель:

— Рэйн! Мия! Выходите. Мы вернулись. Не пугайтесь. Хотя, признаться, после увиденного я бы на вашем месте бо-

ялся любого, кто заявится в эти руины.

Тишина тянулась несколько мгновений — вязкая, жирная, как дым над пепелищем. Я ждал. Не торопил. Пусть решают сами. Страх — интересная штука. Он либо парализует, либо заставляет бежать. Эти двое ещё не решили, к какой категории относятся.

Из-за груды камней показались две фигурки. Сначала осторожно высунулась Мия — тонкая, как тростинка, всё ещё замотанная в мой плащ. Огромные глаза на исхудавшем лице, в которых застыл тот первобытный, звериный страх, какой бывает у существ, впервые осознавших, что мир хочет их сожрать. За ней, чуть замешкавшись, вышел Рэйн — ещё более перепачканный, с коркой засохшей грязи на скулах, но с тем же настороженным взглядом. Цепким. Взрослым не по годам. Такие глаза бывают у дворовых псов — тех, которых уже били, но ещё не сломали.

«Дети. Всегда предсказуемые: страх, надежда, недоверие — написано на лицах, будто в дешёвой пьесе. И от этой прозрачности становилось почти неуютно. Как будто смотришь на оголённые нервы, и они ещё дрожат».

Рэйн первым заметил Сильвану — перекинутую через седло передо мной. Глаза расширились. Лицо озарилось такой неподдельной, такой отчаянной радостью, что на мгновение я почувствовал укол чего-то неприятного. Не раздражения. Скорее неудобство — от слишком яркого, слишком обнажённого проявления чувств. Не люблю этого. Не пони-

маю. И не хочу понимать.

— Госпожа Сильвана! Вы нашли её! — он подбежал ближе, чуть не споткнувшись об обломок стены. — А что с ней? Она… она в порядке?

— Устала, решила немного поспать по дороге, — я похлопал Сильвану по плечу. Жест вышел небрежным — успокаивающим для мальчика, но лишённым тепла. Как похлопывание по шее лошади. — Ничего страшного. Она поедет ко мне в гости, и вы тоже. Там о вас позаботятся, накормят, дадут тёплые постели. Всё будет хорошо. В отличие от тех, кто устроил здесь эту бойню. Но они уже никого не побеспокоят.

Я растянул губы в улыбке. Рэйн отступил на полшага. Инстинктивно. Правильно. Умный мальчик.

Мия молча подошла к Роланду. Подняла на него глаза — снизу вверх, как смотрят на статуи святых в храме. Он улыбнулся, протянул руку:

— Ну-ка, малышка, залезай вперёд. Не бойся. Не уроню.

Рэйн, всё ещё поглядывая на бессознательную Сильвану, неуверенно встал рядом со мной.

— А я? — тихо.

— Сзади, — я хлопнул по седлу. — Держись крепче. И не вздумай упасть — возвращаться за тобой у меня нет ни времени, ни желания.

Мальчишка ловко забрался на лошадь и вцепился в рубашку. Я почувствовал его маленькое тело за спиной — жёсткое от напряжения, горячее, скрученное в тугой узел

из страха и голодной надежды. Готовое в любой момент сорваться в бегство. Мысленно я усмехнулся: как будто я не смогу удержать и его, и Сильвану, и всю эту жалкую компанию одной рукой.

«Бедные крошки. Верят, что мир полон добрых спасителей. Как мило. Как наивно. Но напрасно».

Мы тронулись. Сильвана всё ещё спала, но пальцы её слегка шевелились — медленно, слепо, будто пытаясь ухватить что-то. Реальность. Сон. Мою рубашку.

— Диамант… — прошептала она вдруг. Отчётливо. Как наяву.

Я замер. Пальцы сжались на поводьях. «Значит, даже в забытье она продолжает проклинать меня. Или звать. Иногда это одно и то же».

Я украдкой скользнул взглядом по её лицу: бледное, расслабленное, с тёмными полукружьями под глазами и запёкшейся ссадиной на скуле. Но даже во сне в чертах читалось упрямство — резкая линия скул, жёсткий изгиб губ, тень нахмуренных бровей. Как будто и не спит вовсе, а просто притворяется, чтобы не показывать, как ей на самом деле хочется быть здесь. Рядом. Со мной.

Я вспомнил, как она смотрела на меня перед тем, как потерять сознание: глаза горят, губы сжаты, скулы заострились от ярости — вся один сплошной вызов, одна сплошная натянутая струна. И всё же она хотела поехать со мной. Я видел это. По блеску в зрачках, по тому, как дрогнули её пальцы,

когда я подошёл ближе. По тому, как участилось её дыхание — едва заметно, но я всегда замечаю.

Гордость. Такая хрупкая конструкция. Стоит надавить в нужном месте — и она рассыплется, как эти руины позади нас. А нужное место я знаю.

Я действительно был не слишком добр, когда отправлял её из Рокуэлла. И не собирался встречаться с ней снова. Но обстоятельства решили за нас — а я никогда не спорю с обстоятельствами, если они несут мне то, чего я хочу. Она, конечно, поупрямится. Будет фыркать, огрызаться, строить из себя неприступную. Но отдаст мне всё. Потому что хочет этого сама — глубоко внутри, под всеми слоями гордости и обиды, там, где тлеет тёмное, голодное, ненасытное. Где она ненавидит себя за то, что её тело отзывается на мой голос, на моё прикосновение, на сам мой запах, прежде чем она успевает это запретить. В этом мы похожи. Оба играем. Оба знаем правила. Только я всегда выигрываю. А она — всегда проигрывает красиво.

Дорога до Рокуэлла заняла около шести часов. Солнце взошло окончательно, но к концу нашего пути уже стало опускаться. Горизонт выглядел так, будто за ним догорал ещё один мир. И на фоне этого алого зарева проступили знакомые очертания замка — высокие башни, мощные стены, каменные зубцы, чёрные против пурпурного неба, словно застывший оскал хищника, терпеливо ждущего добычу.

— Это же… — голос Рэйна за спиной сорвался на полу-

шёпот. — Это Рокуэлл. Замок герцога Валентайна.

Пауза. Пальцы впились в мой плащ сильнее.

— Он нас убьёт. Или замучает до смерти.

Я не сдержал короткого смешка.

— Да-да, и съест на завтрак. Он ещё и детьми питается, вы разве не слышали? Особенно любит тех, кто задаёт слишком много вопросов. Но пока что просто приглашает вас в гости. Так что не волнуйся — сегодня ты в безопасности. По крайней мере, пока.

Рэйн замер. Я чувствовал, как всё его тело каменеет. Тишина. Потом — медленный, страшный выдох. Он понял.

— Я герцог Валентайн, — подтвердил я уже серьёзнее, обернувшись к нему вполоборота. — И если что — я шучу. Вы в безопасности. Поверь мне. — Пауза. Подмигнул. — Хотя кто знает, что может случиться завтра?

Роланд бросил на меня короткий взгляд — что-то среднее между осуждением и невольной усмешкой. Я пожал плечами. Чёрный юмор — лучшее лекарство от страха. Или, по крайней мере, превосходный способ показать, кто здесь хозяин.

Я направил Элендила к воротам. Стража узнала меня, выпрямилась, отдала честь — резко, чётко, с тем оттенком рвения, который появляется у людей, когда они одновременно верны тебе и боятся тебя. Ворота медленно распахнулись. Петли исторгли тягучий, почти стонущий скрип — звук, от которого хочется поморщиться и который я втайне люблю.

Голос моего дома. Точнее — места, которое было моим домом эти два года.

Мы въехали во внутренний двор — просторный, вымощенный серым камнем, с фонтаном посередине, в чаше которого стояла тёмная неподвижная вода. Клумбы по сторонам ещё спали — только чёрная земля и голые стебли, ждущие тепла, которое в этих краях всегда приходит слишком поздно.

— Вот мы и дома, — произнёс я негромко, оглядываясь. — Теперь пора устроить вас всех поудобнее. И разбудить одну упрямую особу, которая, кажется, слишком долго дремлет. Хотя, может, ей там и правда лучше, чем в реальности?

Рэйн, уже немного осмелев, оглядывался вокруг с любопытством. Мия, прижавшаяся к Роланду, впервые улыбнулась — робко, едва заметно, как первый луч солнца после долгой бури. А Сильвана всё так же безмятежно спала, не подозревая, что её ждёт, когда она очнётся в знакомых ей покоях Рокуэлла.

«О, это будет интересно. Очень интересно».

Сильвана

1

Я приходила в себя не потоком — рваными обрывками, болезненными, как осколки под кожей. Глаза ещё были закрыты, а память уже работала, выбрасывая картины одну за другой. Нападение наёмников Теда на деревню. Резня. Крики, сплавленные в один нескончаемый вопль, и огонь — жад-

ный, ненасытный, — пожиравший дома, дерево, кости, судьбы. Запах гари всё ещё стоял в горле. Металлический привкус крови оседал на языке тяжёлой плёнкой, царапал нёбо, и я не могла понять, помню ли я его — или чувствую прямо сейчас.

Потом — мельница. Плен. Холод стен, проникавший не в кости даже — глубже, в сам костный мозг. Страх, липкий и всепроникающий, как ядовитый туман, от которого немеют пальцы и перестаёт работать разум. И наконец — Диамант. Роланд. Голос, произнёсший: «Ты поедешь с нами». Мой отказ — упрямый, отчаянный, бессмысленный. Его шаг ко мне. А потом — темнота. Густая. Бездонная. Проглотившая всё.

«Что он сделал?»

Мысль пронеслась в голове, и пальцы сами нашли край покрывала, вцепились в него. Ткань оказалась тяжёлой, бархатной, холодной — такой холодной, будто впитала в себя весь зимний воздух замка. Внутри всё сжалось. Тревога — да. Но под ней, глубже, — что-то иное.

Я открыла глаза.

Кровать. Огромная, тёмного дерева, с резным изголовьем — витиеватые узоры, похожие на когти хищной птицы, вцепившейся в добычу. Я узнала её мгновенно. Та самая. На ней он четыре месяца назад сделал меня женщиной — лишил не только невинности, но и всех иллюзий о том, что боль и наслаждение существуют раздельно. Тяжёлые бархатные што-

ры были задёрнуты наполовину, пропускали тусклый, болезненный свет, и он ложился на каменный пол рваными полосами, похожими на следы когтей. Зеркальный потолок отражал кровать, мою фигуру на ней, линии холодного интерьера — умножал пространство и одиночество, превращая комнату в ловушку, где не спрятаться даже от собственного отражения.

Запах. Вишнёвые сигареты и сандал — сладковатый, тёплый, тёмный. Он висел в воздухе, как невидимая паутина, и я вдохнула его прежде, чем успела запретить себе это сделать. Запах Диаманта. Его аура — власть, опасность, обещание чего-то, от чего хочется одновременно кричать и раздвинуть колени. Он будил во мне слишком многое: вечера у камина, его тихий голос, рассказывающий истории, пальцы, рассеянно перебирающие мои волосы, — и тут же, без перехода — холод, отчуждение, боль, вбитую в тело так глубоко, что она стала неотличима от удовольствия. Две стороны одной монеты. Нет — одна сторона. Просто я слишком долго не хотела этого видеть.

«Я в Рокуэлле. В его спальне».

Мысль обожгла изнутри, как глоток кипятка. Привёз. Всё-таки привёз. Сделал по-своему — как делал всегда. Но страха не было. Совсем. Вместо него — тепло, поднимающееся от груди к горлу, заставляющее пальцы дрожать, а кожу гореть, будто по ней провели раскалённым шёлком. Дыхание участилось. Щёки пылали.

«Спокойно. Это реакция тела. Не чувства».

Но сердце колотилось так, словно хотело пробить рёбра и броситься к нему — через комнату, через четыре месяца, через всё, что он со мной сделал.

«Кого я обманываю?»

Я резко отвернулась к стене.

«Нельзя поддаваться. Нельзя».

Перед глазами встало его лицо — холодное, отстранённое, безжалостное. Утро, когда он сказал, что всё кончено. Слова — как приговор, высеченный в камне. Боль пронзила грудь, свежая, будто это случилось вчера, будто рана и не думала затягиваться. Я тряхнула головой.

«Нет. Больше никогда».

— Не нужно притворяться спящей, дорогая.

Голос. Низкий. Спокойный. С насмешкой, которая царапала слух, как лезвие по стеклу.

— Я прекрасно знаю, что ты проснулась.

Я повернулась.

Он сидел в глубоком кресле у камина — расслабленно, нагло, откинувшись на спинку так, будто владел не только этой комнатой, но и каждой секундой моего существования. Чёрная шёлковая рубашка, расстёгнутая до середины груди, обнажала бледную кожу, на которой плясали отсветы пламени — золотые по белому, как ожоги на мраморе. Чёрные волосы рассыпались по плечам, и он выглядел не как благородный лорд — как хищник, пресыщенный охотой, но ещё не

решивший, отпустить добычу или доесть. Вишнёвая сигарета между длинных пальцев. Дым поднимался к потолку тонкой змеёй, на мгновение окутывая его лицо полупрозрачной вуалью, — и сквозь эту вуаль на меня смотрели глаза цвета зимнего неба. Ярко-голубые, пронзительные.

Жар прилил к щекам, разлился по шее и груди алыми пятнами. Я сцепила зубы так, что в висках стучало, и вцепилась взглядом в резной узор на стене — якорь, спасательный круг, что угодно, лишь бы не смотреть на него.

«Ты не влюблённая дурочка. Ты Сильвана. Ты сильнее этого».

— Я сказала, что не хочу ехать с тобой, — голос вышел ровнее, чем я ожидала. Почти твёрдый. Почти.

Нельзя очаровываться — ни этими глазами-осколками, ни уверенной улыбкой, таящей обещание боли и наслаждения в равных долях, ни хищной грацией тела, привыкшего к власти и подчинению. Плата за это очарование в прошлый раз оказалась слишком высока: разбитые надежды, пустота, осознание, что для него я — игрушка. Взять, сломать, выбросить.

— Я тебя прекрасно слышал, — он затянулся, и кончик сигареты вспыхнул алым, как крошечный зрачок демона. Дым скользнул по его лицу, на мгновение стирая черты, но взгляд остался — насмешливый, ленивый, беспощадный. — И даже принял к сведению. Только мы оба знаем, что твоё «не хочу» не всегда соответствует тому, чего ты на самом

деле хочешь. — Пауза. Короткая, точная, как удар. — Особенно в том, что касается меня.

Он выпустил дым в сторону — тонкая струйка рассеялась в воздухе призрачным обещанием — и наклонился вперёд, опираясь локтем о подлокотник. Шёлк рубашки натянулся на плечах, обрисовал рельеф мышц — тот самый, который я когда-то изучала пальцами, губами, языком, запоминая каждую впадину, а теперь запрещала себе даже вспоминать. Я задержала дыхание. Воздух застрял в груди — тяжёлый, горячий, — и я одёрнула себя, уставившись в потолок, будто отражение могло спасти меня.

— К тому же я подумал, что тебе будет стыдно, — продолжил он, и в его голосе слышалась уже не усмешка — издёвка, тонкая и точная, как остриё кинжала между рёбер. — Если ты не поблагодаришь меня за спасение. У тебя же, в отличие от меня, есть стыд и совесть.

Он чуть склонил голову, и свет камина высветил скулу, тень под ней, уголок рта, изогнутый в полуулыбке.

— Разве нет?

2

— Спасибо, — сквозь зубы. Слово вышло колючим, как осколок кости. И тут же — хлыстом по нервам — память выжгла перед глазами картинку: Рэйн и Мия. Перепуганные мордашки, мокрые от слёз. Пальцы, вцепившиеся в мою юбку так, что ткань трещала. Они прибежали ко мне за помощью, а я обещала, что всё будет хорошо. Солгала привычно,

как дышала, — и спрятала их в подвале за минуту до того, как Тед забрал меня.

Я села рывком, вцепилась в покрывало.

— Перед тем как Тед увёл меня, ко мне подбежали двое детей. — Голос дрогнул, но я не позволила ему сломаться. — Я спрятала их в подвале. Они искали убежища от резни. Я понимаю, что тебе нет дела, но, Диамант, пожалуйста…

Он поднял ладонь. Небрежно. Почти лениво. Но жест обрубил мои слова чище ножа — в нём читалась привычка останавливать людей одним движением, привычка, въевшаяся в мышцы.

— Да, я знаю. Рэйн и Мия, — голос ровный, будничный, будто он перечислял содержимое шкатулки, а не называл имена двух детей, чудом избежавших смерти. — Двое мелких, которых кто-то до дрожи в коленках напугал одним моим именем. Мы нашли их. Они в Рокуэлле.

Я уставилась на него. Этого я не ожидала. Совсем.

Что-то в груди треснуло — глухо, тяжело, как лёд на реке в первый тёплый день. Трещина прошла глубоко, неровно, и сквозь неё хлынуло тепло — обжигающее, пугающее, ненужное. Я не хотела чувствовать к нему благодарность. Не хотела чувствовать к нему ничего.

— Они… живы? — голос сломался на полуслове. Каждый слог — осколок, который я выплёвывала, раня себе рот.

Диамант кивнул. Слёзы обожгли глаза — тяжёлые, едкие. Я отвернулась. Сжала покрывало в кулаках, выкручивая

ткань, словно пыталась выжать из неё хоть каплю покоя.

— Спасибо, — повторила я твёрже. Голос всё равно дрожал — предатель. — Правда. Спасибо.

Он снова кивнул. И в уголках его губ мелькнуло нечто — не улыбка. Оскал.

— Не волнуйся. Ты ещё успеешь меня отблагодарить.

Двусмысленность ударила под дых. Меня бросило в дрожь — не от страха. От чего-то худшего.

Он был единственным, кто вызывал это: смесь ужаса и голода, от которой хочется одновременно бежать и раздвинуть перед ним ноги.

Я выпрямилась. Пальцы подрагивали.

«Спокойно. Дыши. Считай до пяти».

Цифры путались, сливались в гул, а сердце колотилось в ушах — глухо, тяжело, как кулак в запертую дверь.

— Дай сигарету, — выпалила я. Голос хриплый, надломленный — чужой. — Пожалуйста.

Мне нужен был якорь. Что-то, что пахло бы не его кожей и не опасностью, а просто дымом и горечью — понятной, ручной.

Диамант приподнял бровь — едва заметно, но выразительно, как штрих тушью. Секунду он изучал меня, разбирал взглядом на волокна, потом хмыкнул — сухо, коротко — и достал пачку. Вытянул сигарету, щёлкнул зажигалкой и протянул мне. Медленно. Нарочито. Растягивая момент, будто передача огня из его рук в мои была ритуалом подчинения.

— Давно куришь? — он смотрел, как я беру сигарету. Его взгляд скользил по моим пальцам, задерживался на дрожащих кончиках, впитывал. Я чувствовала этот взгляд кожей.

— Недавно, — я не подняла глаза.

Пламя дрогнуло, отразилось в его зрачках двумя крошечными кострами.

— Я не собираюсь читать лекцию о вреде дурных привычек, — в голосе скользнула насмешка, перемешанная с чем-то почти тёплым, почти нежным — как мягкая подкладка у стального капкана. — Это было бы лицемерием. Просто интересно.

Я затянулась и не ответила. Горький дым царапнул горло, осел в лёгких знакомой тяжестью. Я начала курить после того, как он отослал меня. Сигарета стала якорем — единственным напоминанием, что я сама выбираю, когда и как сгорать.

Диамант смотрел на меня — и в его взгляде не было насмешки. Что-то тёплое, почти интимное, будто мы делили не комнату, а тайну, которую ни один из нас не решался назвать вслух. Потом он поднялся — движение текучее, хищное, ни одного лишнего жеста — подошёл к столику у окна и налил в два бокала изумрудную жидкость. Она качалась в стекле — густая, маслянистая, как яд, прикидывающийся лекарством.

— Составишь компанию? — он протянул бокал. — Раз уж ты теперь мой союзник в дурных привычках. Да и поможет снять стресс после пережитого.

Я смотрела на бокал. На его пальцы, обхватившие ножку. На него.

«Не поддавайся. Не иди на поводу. Он играет с тобой».

Но глубже — глубже, чем осторожность, глубже, чем разум, — ворочалось тёмное, жадное любопытство. Оно шептало: сделай шаг. Узнай, насколько глубока пропасть. Желание перестать сопротивляться — хотя бы на выдох — накатывало волнами, сбивало дыхание, размягчало кости. Да и что я теряла? Себя? Я потеряла себя в ту ночь, когда впервые увидела его.

— Куда больший стресс я ощущаю от твоего присутствия, — бросила я колко, как лезвие. Но взяла бокал. Глотнула. Горько, терпко — полынь, сухие травы и что-то пряное, от чего язык немел. Тепло разлилось по венам мгновенно, приглушая дрожь, но не убирая напряжение.

Диамант усмехнулся. Откинулся в кресле, сделал глоток, и я заметила, как его кадык дрогнул — единственный знак того, что он тоже живой, тоже из плоти, а не из камня и тени. В его глазах плясало что-то неуловимое — насмешка, азарт, голод.

— Значит, будем считать это испытанием на прочность, — его голос звучал так, будто он уже знал исход. Будто я была не противницей, а добычей, которая ещё не поняла, что капкан уже захлопнулся. — Выдержишь — получишь приз.

Я нахмурилась, натягивая маску равнодушия, — но губы дрогнули, и улыбка выскользнула сама: дерзкая, отчаянная,

самоубийственная.

— Какой ещё приз?

— Узнаешь, — он опустил голос на полтона, и это короткое слово прозвучало как обещание — тёмное, влажное, от которого по коже побежали мурашки, а внутри всё сжалось в тугой, нетерпеливый, голодный узел.

3

— Не надо мне твоих сюрпризов, — ответила я голосом, который сама едва узнала: тонким, стальным, будто выточенным из промёрзшего железа. — Отпусти меня. Я хочу уйти.

Диамант уставился на меня так, будто вскрывал взглядом слой за слоем, добираясь до мяса под кожей. В его глазах мелькнуло что-то нечитаемое: не насмешка, не любопытство — что-то голоднее. От этого по позвоночнику прополз холод, влажный и липкий, словно язык змеи по обнажённой шее. Я заставила себя не отводить взгляд. Внутри всё скручивалось в тугой жгут — но он этого не увидит. Не дождётся.

— И куда ты пойдёшь? — спросил он тихо.

— Куда угодно.

Я поднялась. Отставила бокал на столик — хрусталь звякнул о чёрный мрамор, и звук отозвался внутри, как удар по оголённому нерву. Пальцы тряслись. Ладони взмокли.

— Лишь бы подальше от тебя.

Он усмехнулся. Коротко. Одним углом рта. И в этом движении было столько спокойной, нечеловеческой власти, что у меня перехватило дыхание — будто кто-то сомкнул паль-

цы вокруг сердца и сжал. Не отпуская. К горлу подступил ком — горький, колючий, пропитанный обидой. Я стиснула зубы. Не показывать. Ни ему. Ни себе.

— Что ж, — он откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Поза вышла небрежной, но под тканью рубашки перекатывались мышцы. — Я упрощу тебе задачу. Лагерт умер. Завтра я улетаю в Леброн — принимать корону, которая принадлежит мне по праву.

Мир треснул. Звуки провалились куда-то глубоко, словно комнату залило водой. В груди разлилась тяжесть — густая, смоляная, сковывающая рёбра. Комната качнулась. Я вцепилась в край стола. И поняла с жестокой, хирургической ясностью: я больше никогда его не увижу. На этот раз — действительно никогда.

Я злилась. Всё во мне кричало — беги, держись подальше, забудь. Но другая часть, та, что так отчаянно притворялась сильной, вдруг взвыла, как раненое животное. Теперь всё уйдёт вместе с ним. Растворится. Останется гнить где-то в памяти.

Я сглотнула — ком в горле царапнул, как битое стекло. Тишина между нами сгустилась. Чтобы не дать голосу сломаться, я выпалила первое, что пришло на язык:

— А как отреагировала твоя жена? Принцесса Амаранта, кажется?

Щёки вспыхнули. Жар прокатился от скул до ключиц, обжигая, выдавая. Вопрос прозвучал жалко — надтреснутый,

почти завистливый, — и обнажил всё то, что я пыталась похоронить. Я замерла. Мысленно ругнулась. Отвела взгляд — но поздно. Диамант заметил. Его зрачки чуть сузились, как у кота, учуявшего кровь. Он нашёл трещину в броне — и теперь не отступит.

Он пожал плечами. Тряхнул головой — так стряхивают пепел с сигареты.

— Мы разводимся.

Просто. Буднично.

Я шагнула вперёд — раньше, чем успела себя остановить. Забыла про холод, про решимость, про всё. В груди полоснуло — острое, сладкое облегчение, смешанное с горечью, от которой хотелось одновременно рассмеяться и разрыдаться.

— Но ты был женат всего четыре месяца, — вырвалось у меня. Не вопрос. Обвинение.

— Более чем достаточно, — он усмехнулся, и в этой усмешке проступила усталость, как ржавчина на клинке. — Я окончательно убедился: брак не для меня. Хотя, признаться, никогда в этом и не сомневался. Женюсь снова, лишь когда понадобится законный наследник. А мне двадцать один. Время есть.

Внутри что-то оборвалось. Тонко. Беззвучно. То ли надежда — хрупкая, прозрачная, которой я не давала имени. То ли страх потерять то, что, возможно, никогда мне не принадлежало. Перед глазами промелькнуло будущее: он на троне в Леброне, холодный, мраморный, недосягаемый. Я —

где-то далеко, выжигающая его из памяти, деталь за деталью, как вытравливают татуировку с кожи. А между нами — пропасть.

«Нет. Он этого не увидит».

Я сжала кулаки. Заставила себя улыбнуться. Криво. Вымученно. Так улыбаются, когда между рёбер уже стоит нож.

— Желаю счастливой дороги и удачного правления, — голос звучал ровно, почти безразлично, хотя внутри всё горело, разъедало, рвало на части. — Я рада, что ты возвращаешься домой. Знаю, как ты скучал по Леброну.

Диамант смотрел на меня. Долго. Неподвижно. Насмешка стекала с его лица, как воск со свечи, обнажая что-то иное — жёсткое, напряжённое, грозовое. Он поднялся — движение текучее, хищное, перетекающее из неподвижности в угрозу без единого лишнего жеста — и шагнул ко мне. Ещё шаг. Ещё. Пространство между нами сжалось, и вместе с ним сжались мои лёгкие.

— Рад твоему пониманию, — голос упал до шёпота. Не благодарность. Приговор. — Но мне нужно другое. Я хочу, чтобы ты скрасила мне эту ночь. Последнюю ночь. А ты знаешь — я всегда получаю то, что хочу.

Слова упали между нами, как камни. Тяжёлые. Неотменимые.

Я замерла. Гордость кричала — уходи. Обида шипела — не смей. Страх стискивал горло. Но глубже — под всеми слоями, под бронёй, под яростью, под болью — пульсировало

другое. То, что заставляло меня искать его силуэт в любой толпе, впитывать обертоны его голоса, коллекционировать мгновения, когда маска падала и он становился настоящим. Не желание. Голод. Тёмный. Неукротимый.

Моё тело узнавало своего хозяина — до того, как разум успевал возразить. Внизу живота разлился жидкий жар, пульсирующий в такт сердцу, а кожа горела так, словно он уже провёл по ней пальцами — медленно, с нажимом, оставляя следы, которые не увидишь, но будешь ощущать ещё долго.

4

Я собирала последние силы, стараясь не поддаваться жару, вспыхнувшему после его слов. Он разливался по бёдрам, поднимался к рёбрам, обжигал горло. Колени дрожали. Дыхание сбилось. В висках стучала кровь — гулко, настойчиво, — напоминая, что я всё ещё жива. Всё ещё способна сгорать.

Я заставила себя выпрямиться. Расправила плечи. Посмотрела ему прямо в глаза — и вложила в этот взгляд всё: вызов, боль, отчаяние. И то, что пряталось за яростью, — безымянное, запретное.

— Ты действительно псих, если хоть на секунду подумал, что я соглашусь.

Голос вышел резче, чем я рассчитывала. Ломкий. Как треснувшее стекло, из-под которого сочится кровь. В нём было слишком много всего — четыре месяца тишины, четыре месяца бессонных ночей, четыре месяца ненависти, за-

стывшей в груди свинцовой коркой.

Диамант пожал плечами. Полумрак спальни лежал на его лице неровными тенями, только подчёркивая яркую, вызывающую красоту. На губах играла усмешка — ленивая, привычная, — но взгляд оставался хищным, как отблеск ножа, повёрнутого к свету. Он наслаждался. Моей борьбой, моим сопротивлением — смаковал их, как вино, которое долго ждал.

— Ну, ты тоже не образец нормальности, — произнёс он спокойно. — Влюбиться в садиста, да ещё и признаться ему — такое себе доказательство адекватности.

Кровь ударила в лицо. Кожу опалило — от скул до ключиц. Внутри всё стянулось — гнев и стыд, сплавленные воедино, неразделимые. Гнев — потому что он посмел вытащить наружу то, что я похоронила под слоями безразличия. Стыд — потому что он прав. И я это знала. Знала так же точно, как чувствовала собственный пульс — частый, предательский — между бёдер.

— Это было помутнение рассудка. — Я сглотнула. — Оно прошло. Давно.

— Конечно, прошло.

Его взгляд опустился на мою шею. Медленно. Осязаемо. Он не касался — но кожа под ошейником вспыхнула, будто его пальцы уже легли на горло.

— Всё ещё носишь мой подарок, — голос стал мягче, глуше, и в этой мягкости было что-то непристойное, интимное,

отчего по позвоночнику прокатилась волна — холод и жар одновременно.

Я замерла. Нежность? Или издёвка, натянутая на ласку, как перчатка на кулак?

— Он тебе идёт. Подчёркивает линию шеи. — Усмешка — короткая, жёсткая, разбившая хрупкий момент. — Хотя дело, конечно, не в эстетике. Ты понимаешь, о чём он на самом деле.

Пульс рванулся. Ладони стали влажными, липкими.

«Дыши. Считай до пяти».

Цифры путались, рассыпались, а в горле стоял ком, и глаза жгло от непролитых слёз. Гнев. Стыд. Отчаяние. Они не чередовались — они топили одновременно, тянули на дно. Я дёрнула ошейник, пытаясь ослабить его хватку. Кожа под ним горела — раскалённая полоса, вжавшаяся в плоть.

— Не твоё дело, что я ношу, — бросила я и спрятала руку за спину, будто это могло что-то скрыть.

Поздно. Его губы дрогнули.

— Разумеется. — Диамант кивнул с нарочитой учтивостью. — Хватит театра. Мы теряем время. Подойди ко мне.

Спокойно. Почти мягко. Но под мягкостью — приказ, тяжёлый, как рука на загривке. Мышцы напряглись, тело окаменело, а внутри разгорелась война: одна часть меня хотела шагнуть вперёд, упасть в его близость, в удовольствие, в боль, которую он причинит, — потому что я знала: она будет, и от этого знания низ живота сводило тягучей, мокрой

судорогой. Другая часть молила бежать, выжечь его из памяти калёным железом. Первая побеждала. Слишком яркими были воспоминания о его руках. Слишком влажным — желание, предающее разум.

Я покачала головой.

— Нет. — Слово вышло хриплым, надломленным, почти беззвучным — выдох, а не слово. — Не стану.

Диамант смотрел долго. Его взгляд скользил по моему лицу, по напряжённым плечам, по дрожащим пальцам — разбирал меня на части, каталогизировал, собирал заново по собственным чертежам. В его глазах мелькнуло что-то неуловимое — раздражение? Восхищение? От этой мысли внутри всё перевернулось. Восхищение — мной? Той, что столько раз пыталась оттолкнуть его, ненавидела, презирала — и возвращалась, как мотылёк к пламени, зная, что крылья уже обуглены?

— Хорошо. — Он улыбнулся, и улыбка эта мне не понравилась. Или — слишком понравилась. — Тогда повторим нашу первую ночь. Можешь снова кинуть в меня вазой. — Он кивнул в угол, где на каменном постаменте стояла новая массивная фарфоровая ваза — её белизна в полумраке казалась мертвенной, как обнажённая кость. — Не поможет, но хотя бы совесть будет спокойна: сопротивлялась как могла. А потом прочтёшь мне очередную лекцию про «избил и изнасиловал». Я послушаю. Обещаю.

Та ночь. Эта комната. Мой страх, моя ярость, мои попыт-

ки сопротивляться. Не столько ему, сколько себе самой. Ваза, взорвавшаяся об стену в дюйме от его виска, — осколки разлетелись по полу. Его смех — низкий, хриплый, почти восхищённый. Его руки — жёсткие, непреклонные, вжимающие меня в постель с такой силой, что матрас прогнулся. Запах его кожи. Тогда я была уверена, что ненавижу его. Но даже тогда что-то трепетало при звуке его голоса — предательски, неукротимо. Тогда я кончила впервые в жизни — несмотря на боль, на ужас, на сопротивление, — кончила так, что прикусила губу до крови и выгнулась под ним, задыхаясь от собственного крика. Память об этом жгла. Смешиваясь со стыдом, она превращалась в яд.

— Ты думаешь, это смешно? — в голосе было больше горечи, чем гнева. Едкой, разъедающей. — Думаешь, повторив те же слова, те же жесты, вернёшь то, что было?

Он поднялся с кресла — одним движением — и шагнул ко мне. Расстояние между нами сжалось. Воздух сгустился, налился электричеством — я чувствовала его на коже: лёгкое покалывание, поднимающее волоски на предплечьях. Каждый вдох давался тяжелее предыдущего.

— Я не пытаюсь ничего вернуть, — сказал он тихо, почти шёпотом, и голос обволакивал, проникал под кожу, оседал в крови, как медленный наркотик. — Мне это не нужно. Я пытаюсь понять. Почему ты до сих пор здесь? Дверь открыта. Никто не держит тебя в Рокуэлле силой. Но ты не уходишь. Даже взгляд отвести не можешь. — Он наклонился ближе —

его дыхание коснулось моей щеки, горячее, влажное. — Потому что не хочешь. Сопротивляется только разум. А тело… — его голос упал до хриплого шёпота. — Тело хочет меня. Как тогда. Как сейчас. Я чувствую это отсюда.

Я замерла. Его слова вскрывали меня, как скальпель — точно, безжалостно, слой за слоем, пока не обнажилось то, что я прятала даже от себя. Ком в горле. Жжение в глазах. Но я не позволила слезам пролиться. Внутри бушевала буря — гнев, стыд, отчаяние. А под ними, глубоко, в самом тёмном, самом честном месте — желание. Настоящее. Неподдельное. Оно пульсировало между бёдер, как второе сердце — влажное и требовательное, — и диктовало свои правила. Ломало меня.

Диамант

1

Я смотрел на Сильвану с ленивой усмешкой — и наслаждался. Её лицо было открытой раной. Всё наружу: злость, страх, гордость, дрожащая на самом краю. И под этим — глубже, в расширенных зрачках, в том, как она облизывала пересохшие губы, даже не замечая, — желание. Густое. Тёмное. Такое, от которого не избавиться ни молитвой, ни ненавистью. Я слишком хорошо знал женщин. И слишком хорошо знал её. Это делало всё дьявольски весёлым. Её сопротивление. Её упрямство. Жалкие обрывки гордости, за которые она цеплялась, будто они могли её спасти.

— Сегодня я настолько добр, — произнёс я, растяги-

вая каждый слог, позволяя улыбке раздвинуться до чего-то непристойного, — что разрешу эту войну между разумом и телом за тебя. Пусть она будет короткой. И безболезненной. — Пауза. — Почти.

Она сжала кулаки. Но взгляда не отвела. В этом — вся Сильвана. Даже падая, она падает с прямой спиной. Гордая. Дикая. Именно это и вцепилось в меня — эта искра, которая сожжёт всё вокруг, включая себя.

— Решение…

Я смотрел, как её зрачки пожирают радужку, превращая глаза в два чёрных провала.

— Очень простое.

Вернулся назад, откинулся в кресле. Скрестил руки — медленно, позволяя ткани рубашки скользнуть по груди. Каждое движение — рассчитанное. Каждое — для неё.

— Помнишь тот вечер? Карточный поединок?

Её губы дрогнули. По лицу прошла тень — быстрая, ледяная, как чужие пальцы по позвоночнику. Помнит. Конечно, помнит.

— Я забираю долг. — Голос стал твёрже, тяжелее, как камень, ложащийся на грудь. — В качестве уплаты — ты проведёшь эту ночь со мной.

Тишина. На шее под тонкой кожей бешено билась жилка. Частый, рваный ритм.

— Ты… невозможный, — прошептала она. В голосе — столько яда, что хватило бы отравить колодец. — Я не буду

спать с тобой.

Я засмеялся.

— Конечно, не будешь, — сказал я мягко и наклонился чуть вперёд. Слова соскользнули с губ шёпотом — тем самым, что ложится на кожу, как лезвие. — Не беспокойся. Спать тебе не придётся. Совсем.

Я видел, как расширяются ноздри, как учащается дыхание, как грудь поднимается, натянув ткань платья на каждом выдохе, — и не опускается до конца. Воздух между нами стал плотным, горячим, пропитанным желанием и страхом. Его можно было пробовать на вкус.

— Ну же. Взываю к твоей чести, — я изобразил серьёзность, но глаза жгли. — Сама говорила — карточный долг священен.

Сильвана уставилась на меня. И я видел это — отчётливо, как трещину в стекле: сквозь ярость проступала страсть. Та самая. Которую она отрицала, давила, прятала.

— Чести? — слово хлестнуло, как плеть. — От моей чести ты давно ничего не оставил.

— Тем более. — Я улыбнулся шире, и внутри поднялась волна — горячая, тёмная. — Терять нечего. Можно отдаться без остатка. До самого дна.

Она стояла, тяжело дыша. Ненависть. Желание. Они рвали её на части, и она позволяла — потому что не могла иначе. Я чувствовал это, как чувствуют близкий пожар: жаром на лице, гарью в горле. И это возбуждало сильнее любого

триумфа.

Её пальцы дрогнули. Поднялись к верхней пуговице. Замерли. Она смотрела мне в глаза — ждала. Ждала, что остановлю. Я не шевелился. Рывок. Пуговица отлетела, ударилась о каменный пол, покатилась с тонким, издевательским звоном. Вторая. Третья. Быстрее, злее — будто сдирала с себя не платье, а кожу. Не ткань — маски, слой за слоем, до живого мяса.

— Забирай свой выигрыш и убирайся к дьяволу, — голос хриплый, сорванный, слова — как осколки стекла изо рта. — Он, без сомнений, твой ближайший кровный родственник.

Шаг. Ещё шаг. Половица скрипнула под каблуком. Остановился так близко, что чувствовал жар её тела через воздух, через одежду. Её пальцы дрожали на очередной пуговице. Грудь вздымалась рвано, неровно. Она пыталась казаться сильной — и от этого была ещё уязвимее. Ещё желаннее. Я обхватил её запястье. Мягко. Но так, что она замерла.

— Я вижу, тебе не терпится, — шёпот, почти касание губами мочки уха. Тепло её шеи обдало лицо, а с ним — запах, от которого потемнело в глазах. — Но подожди. Не сейчас. Пока — отдохни. Тебе понадобятся силы.

Наши взгляды столкнулись. В её глазах — шторм: ненависть, голод, отчаяние, всё вперемешку, всё на разрыв. В моих — я знал — читалось что-то хуже вызова. Что-то тёмное, терпеливое, голодное. Змея, свернувшаяся в траве, которая ждёт не потому, что не может, — а потому, что так вкуснее.

Она дёрнула запястье. Не вырываясь — проверяя. Я разжал пальцы. Пусть думает, что выбор есть. Иллюзия свободы — самая изысканная из клеток.

Я развернулся. Рука легла на дверную ручку — холодный металл обжёг ладонь контрастом. На мгновение замер. «Останься», — шепнуло что-то внутри, горячее, ненужное, опасное. Я сжал зубы и задавил это, как давят змею каблуком.

— Сейчас у меня дела, но я вернусь через пару часов, — бросил через плечо, и голос не дрогнул — ни единой трещины. — И заберу всё. Сполна.

Дверь закрылась тихо. Щелчок замка — как выстрел в пустом коридоре. Я прислонился к стене. Камень холодил лопатки сквозь рубашку. Глубокий вдох. Ещё один. Воздух здесь пах пылью, сыростью, остывшим воском — и ничего от неё. Но волнение не уходило. Тяжёлое, тягучее, незнакомое. Не предвкушение победы. Что-то другое. Что-то, что цепляло глубже, чем я готов был признать. Сильнее, чем до расставания. Опаснее.

«Не время».

Остаётся дождаться ночи. А потом — показать ей, что значит проиграть. По-настоящему. До самого края. И за него.

Глава 5

Глава 5.
Жертва И Жрица

«Завтра он уедет. Надолго. Может быть, навсегда. Но этой ночи может хватить, чтобы изменить всё».

Сильвана
1

Я сидела у окна, вглядываясь в сумерки. Они не опускались — вползали, втекали в комнату, как чёрная патока, слизывая последние блики дня с каменных стен. Пахло пылью, нагретым камнем и чем-то ещё — звериным, что шло не снаружи, а изнутри меня. Пальцы теребили край платья. Ткань — тонкая, почти невесомая — льнула к бёдрам, и под ней кожа казалась обнажённой. Этот жест я знала за собой: так я выдавала волнение. Но сегодня руки выдавали другое. Капитуляцию.

Под рёбрами стягивался тугой, горячий узел — страх и предвкушение, сплавленные в одно. Каждый вдох давался с усилием, словно грудную клетку сжимал невидимый корсет.

«Он придёт».

От этих двух слов по коже прошла россыпь мурашек — острых, колючих. Грудь налилась, ткань стала тесной.

«Он придёт и возьмёт то, что захочет. Как берут вещь. Как берут добычу. Просто потому что решил».

Но я чувствовала не ужас. Внутри живота поднималось тепло — тягучее, как расплавленный воск. Оно растекалось по венам, пульсировало в горле. Почти постыдное в своей откровенности. И оттого невыносимо сладкое.

Я приказывала себе ненавидеть. Презирать. Гордость требовала хотя бы сопротивления — хотя бы его видимости. Но тело не слушалось. Оно помнило.

Разум ещё упирался: после всего, что он сделал. После того, что сказал.

Ты не должна сдаваться.

В памяти вспыхивали его слова — резкие, точные, оставившие на душе багровые рубцы.

Часы тянулись. Маятник бил мерно, гулко, и каждый удар вколачивался в череп, растягивая секунды в минуты, минуты — в часы.

Я схватила первую попавшуюся книгу. Как назло — «Жюстина». Маркиз де Сад, которого Диамант так нежно любит. Не лучший выбор, когда ждёшь ночи с человеком, вполне способным воплотить написанное. На моём теле. Превратив страницы в сценарий, а меня — в реквизит. Строки плыли, сливались. Но одна фраза впилась в сознание, будто выжженная калёным железом: «Покорность — это свобода».

Я захлопнула книгу. Страницы шелестнули — сухой, панический звук.

«Он хочет, чтобы я стала такой?»

И тут же — глубже, темнее, из самого нутра:

«А что, если я уже?»

Еда стояла нетронутой. На столике у камина — фарфоровая тарелка с остывшей рыбой, хлеб, виноград. Всё выглядело бутафорски, как реквизит для спектакля, который никто не собирался играть. Слуги принесли поднос час назад, поклонились, растворились в полумраке коридора — бесшумные, безликие. Желудок сводило. Всё моё существо стягивалось в один оголённый нерв, настроенный только на ожидание.

Я взяла виноградину. Покатала между пальцами — прохладная, упругая, с тонкой кожицей, готовой лопнуть от нажатия. Положила в рот. Раздавила языком о нёбо. Сок — кисловатый, терпкий — потёк по горлу. Вкус не имел значения. Всё, что имело значение, было за стенами этой комнаты, за линией горизонта, куда завтра унесёт его самолёт. Вместе с частью меня, которую я уже не верну.

Я прижалась лбом к оконному стеклу. Ледяное. Почти обжигающее. Холод на секунду привёл в чувство — и тут же отпустил. Фонари в саду горели тускло, и их свет не разгонял темноту, а лишь делал её гуще. Тени ползли по гравийной дорожке, цеплялись за кусты стриженого самшита, извивались между камнями. Одна — длинная, острая, как вытянутая рука — дотягивалась до самого окна.

«Так же и он. Свет и тьма. Обещание и угроза. Ласка и

удар».

Вдалеке кричала птица — пронзительно, одиноко. Звук повисал в сыром воздухе и медленно истаивал. Пахло горьковатой свежестью — предвестием дождя, хотя для дождей было рано: начало весны, земля ещё не прогрелась. Эта горечь на языке казалась предзнаменованием. Я вдохнула глубоко, пытаясь унять дрожь. Пальцы подрагивали. Выдавали.

И тогда — как удар под дых — мысль: это последняя ночь. Завтра он уедет в Леброн. Надолго. Может быть, навсегда.

Я больше не услышу этот голос — низкий, с хрипотцой, от которого внутри всё сжималось и опрокидывалось. Не почувствую, как его пальцы скользят по моей щеке — жёстко, а потом внезапно нежно, будто он сам не решил, сломать или погладить. Не увижу, как в стальных глазах на долю секунды вспыхивает что-то, чему я не знаю имени, — но от чего сердце останавливается, а потом бьётся так яростно, словно хочет пробить рёбра. Ожог прошёл по позвоночнику. Ледяной холод — и сразу жар. Горло перехватило. Глаза обожгло влагой. Я смаргивала — жёстко, зло.

А потом пришло решение. Острое, отчаянное, как нож к горлу. Ни минуты на обиды. Ни секунды на страх. Никакого притворства. Я приму эту ночь. Всю целиком. Какой бы она ни была — грубой, нежной, жестокой, — я выпью её до дна, до последней капли, до последнего стона. Чтобы потом было что вспоминать. Четыре месяца я жила воспоминаниями. Проживу ещё столько же. И ещё. Видимо, таков мой удел

— питаться призраками его рук на моей коже. Но призраки лучше, чем пустота. Лучше, чем ничего.

Зеркало. Я подошла и замерла. Из потемневшего стекла на меня смотрела девушка, которую я с трудом узнавала: бледная, с тёмными провалами под глазами, с лихорадочным блеском зрачков. Она выглядела так, будто уже прошла через эту ночь — и ночь оставила на ней свои метки.

Я запустила пальцы в волосы и вытащила шпильки. Одну. Вторую. Третью. Тяжёлые пряди обрушились на плечи, скользнули по шее, защекотали ключицы — как чужие пальцы, осторожные, пробующие. Расстегнула верхнюю пуговицу. Вторую. Ткань разошлась, обнажая впадинку между ключицами, тонкую линию шеи, начало груди. Кожа в зеркале отливала молочной белизной — жертвенной, алтарной. Пальцы дрожали. Я не останавливалась. Это был ритуал. Подготовка жертвы. Подготовка жрицы. Что-то священное — с привкусом крови и греха.

Камин. Я подбросила полено. Пламя взвилось, жадно впилось в сухое дерево, выбросив рой искр.

Опустилась в кресло. Подтянула колени к груди. Жар камина проникал сквозь ткань, сквозь кожу, сквозь мышцы — но не грел. Выжигал. В воздухе слоились запахи: горький дым, тяжёлая сладость оплывающего воска, и сквозь них — тонкий, настойчивый аромат роз из вазы на каминной полке. Вкрадчивый. Неотвязный. Как воспоминание, которое отказывается умирать.

Дыхание выравнивалось. Страх не ушёл — отступил, забился в угол, уступив место другому: острой, звериной жажде. Ощутить. Прожить. Запомнить. Каждую секунду, каждое прикосновение, каждый синяк — впитать в себя, как сухая земля впитывает кровь.

Я закрыла глаза.

«А если не придёт? Если решит — лишнее? Уедет молча, не оглянувшись?»

Раздавила эту мысль. Растёрла, как мокрицу под каблуком. Не имеет значения.

Я готова. Ко всему — к боли, к наслаждению, к тому, что между нами. К нему. Со всей своей жаждой, со всей своей слабостью, которую я перестала прятать.

2

Дверь отворилась — протяжный скрип, похожий на предсмертный стон. Сердце замерло. Не от испуга. От узнавания. Диамант шагнул через порог, и комната стала меньше. Воздух сгустился, пропитался его запахом. Я вдохнула — и почувствовала его на языке. Каждый следующий вдох давался с усилием, будто лёгкие забыли, как дышать без него.

Я смотрела из-под ресниц. Тело предало раньше, чем разум: жар хлынул вниз по позвоночнику, разлился по бёдрам, кожа покрылась мурашками. Мир сузился до одной точки. До него.

Чёрные волосы растрепались — одна прядь упала на лоб, и он не стал её убирать. Это небрежное несовершенство де-

лало его опаснее любого клинка. В ухе холодно мерцала серебряная подвеска с топазом — камень горел ярко, будто впитал огонь камина. Шёлковая безрукавка обтягивала торс, и мускулы под бледной кожей перекатывались при каждом шаге — напрягались, жили собственной хищной жизнью, от которой пересыхало во рту. На плече — уроборос. Змея, пожирающая свой хвост. По спине прошёл холодок. Не страх. Что-то хуже страха — восхищение, в котором уже звучала беда.

В руке он держал тарелку, накрытую непрозрачной плёнкой. Взгляд скользнул к столику у камина — мой нетронутый ужин. Остывшая рыба. Засохший хлеб. Виноград, сморщившийся, потерявший форму, будто увядал вместе со мной. Я увидела эту картину его глазами и ощутила стыд — острый, горький. Я, застывшая в кресле, как каменное изваяние, и еда, к которой не притронулась. Бессмысленный протест. Против кого? Против себя.

— Решила уморить себя голодом, стать трупом и так избавиться от долговых обязательств? — бровь приподнялась.

Я выпрямилась. Пальцы впились в подлокотники. Под рёбрами натянулась струна — тронь, и лопнет криком. Или смехом.

— Как вариант. — Я растянула слова, вкладывая в них всю небрежность, которой не чувствовала. — Остаётся надеяться, что некрофилия не входит в список твоих предпочтений.

Он не засмеялся. Усмехнулся — одним уголком рта. И в этой усмешке было что-то интимнее прикосновения.

— Трупы не чувствуют ни боли, ни удовольствия. — Его голос стал ниже, глуше. — А мне нужно, чтобы ты чувствовала. Каждую. Секунду.

Слова осели на кожу, как пепел. Горячие. Невесомые. Неотмываемые.

— Кстати. Смотри, что у меня есть.

Он подошёл ближе. Шаги тихие, но каждый отдавался у меня в груди — глухо, тяжело, как второе сердцебиение. Поставил тарелку на столик. Снял плёнку. Аромат ударил сразу — густой, сладкий, с острой кислинкой.

Вишнёвый пирог. Свежий. Корочка — румяная, блестящая от масла. Сквозь разрезы проступали ягоды, налитые тёмным соком, похожим на кровь. Желудок сжался болезненно, и этот голод шёл не только из живота — глубже, темнее, почти непристойный.

Запах вишни — тот самый. Как у бабушки. Я почти услышала её: «Ешь, милая, пока горячий». На мгновение мне снова стало шесть лет, и хотелось одного — чтобы кто-то погладил по голове. Сказал, что всё будет хорошо. Но мгновение рассыпалось пеплом, стоило поднять глаза на Диаманта. Он не бабушка. Он не спасение. Он — что-то совсем другое.

— Вишнёвый пирог, — сказал он, опускаясь в кресло напротив, разводя колени, откидываясь назад. — Свежий. Обалденный. И, пожалуй, делиться я не стану.

Аромат заполнил комнату. Пробудил голод — не к еде. К прикосновениям. К боли. К удовольствию. Ко всему, что напоминало: я ещё жива.

Я сглотнула.

— Размечтался. — Я откинулась в кресле, скрещивая ноги, расправляя плечи, пряча дрожь в пальцах. — Отрежь половину.

Он засмеялся. Коротко, негромко, но — искренне. Этот звук ударил больнее любых слов. Я редко слышала его смех. Он звучал почти уязвимо — как признание в чём-то, чего он никогда бы не произнёс вслух.

Нож скользнул по тесту с тихим хрустом. Лезвие разделило пирог пополам, и из разреза потёк густой вишнёвый сок. Одну часть он пододвинул ко мне. Вторую оставил себе. Разлил вино — тёмная жидкость плеснула в бокалы и в свете пламени показалась живой.

— Нам бы досталось больше, — заметил он, протягивая мне бокал. Наши пальцы соприкоснулись на стекле — мимолётно, случайно, но я почувствовала это прикосновение всем телом. — Но часть пришлось отдать Рэйну и Мии.

— Как они? — Я взяла пирог. Вишни — сочные, кисло-сладкие, как я любила. Вкус вернул к чему-то настоящему, простому, детскому. На секунду. А потом — горечь. Не от ягод. Они там. Ждут. Надеются. А я сижу здесь, ем пирог напротив человека, который недвусмысленно дал понять, что просто использует меня. Кусок встал в горле. Сла-

дость обернулась пеплом.

— В порядке. — Диамант отпил вина. — Грустят по родителям, но это пройдёт. Они сильные. Выживут.

«Выживут». Какое точное слово. Не «будут счастливы». Не «всё наладится». Выживут. Как и все мы.

Я кивнула. Откусила ещё. Рассыпчатая основа, много начинки, тонкий привкус корицы, смешанный с дымом камина и восковым духом свечей. Впервые за долгое время я просто ела — не думая, не боясь, не убегая. Просто была здесь. Вкус напоминал: тело хочет жить. Несмотря на всё. Несмотря на шрамы, которых не видит никто.

Диамант наблюдал. Его взгляд задержался на моих руках — пальцы дрожали, вилка чуть не выскальзывала. Я отложила её, сжала ладони. Он нахмурился. Промолчал. Потом его взгляд прошёлся по моему лицу — губы, скулы, глаза — и задержался. В них мелькнуло что-то неназываемое. Усталость. Желание. Что-то почти болезненное, почти нежное, чему не место между нами.

— Ты выглядишь уставшей. — Голос стал тише. Глуше. — Но всё равно красивой. До странности. Будто в твоей усталости — своя сила.

Щёки обожгло румянцем. Но я не опустила взгляд. Внутри что-то треснуло — ледяная стена, которую я возводила так долго, дала трещину, и сквозь неё хлынуло. Не свет. Не тепло. Сквозняк. Обещание холода. Или — жара. Я уже не различала.

— Спасибо, — тихо сказала я. Голос прозвучал непривычно мягко. Беззащитно.

Огонь в камине потрескивал, выбрасывая искры — крохотные звёзды, вспыхивающие и гаснущие, как все обещания, которые нам давали. Тени ползли по стенам, извивались, шептали что-то на языке, которого я не знала, но тело понимало. Мы сидели напротив друг друга. Два человека с тяжёлым прошлым и будущим, похожим на дым. Между нами не было ни оружия, ни угроз. Только пирог. Вино. И тишина, в которой я слышала два сердца — его и своё. Неровные. Сбивчивые. Пытающиеся сказать друг другу то, что губы не посмеют.

Я сделала глоток. Вино — терпкое, горькое и сладкое одновременно. Как всё, что было между нами.

— А где Роланд? — спросила я, просто чтобы заполнить тишину. — Я так толком и не поговорила с ним.

Диамант усмехнулся.

— Роланд сейчас утешается. Точнее — заливает горе. У него случилась любовь. Ну... то, что он называет любовью. — Он отпил вина, и в его глазах мелькнула искра веселья, не злая, не холодная. — Месяц назад он решил отвлечься от служанок и воспылал чувствами к придворной даме. Леди Ровена, кажется. Женщина с глазами лани и мозгами курицы. Роланд, конечно, этого не замечал. Он видел в ней трагическую героиню, жертву обстоятельств, нуждающуюся в защитнике.

— И что случилось?

— А что всегда случается с Роландом? — Он пожал плечами. — Он пришёл к ней с букетом роз. Стоял под балконом. Читал стихи. Свои собственные. Представь: двадцать четыре года, массивный, как бык, а под балконом декламирует про «очи, что сияют ярче звёзд». Она слушала. Дослушала до конца. А потом сказала, что он слишком грубый, слишком простой, и вообще — она уже дала согласие на ухаживания другого.

Я фыркнула. Не хотела — вырвалось само. Вино сделало своё дело: по венам растеклось тепло, и стены комнаты, обычно давящие, стали чуть мягче.

— Бедный Роланд.

— Бедный? — Диамант поднял бровь. — Он неделю ходил с лицом человека, потерявшего смысл жизни. Потом напился в таверне и устроил драку с двумя рыбаками. Один из них сломал ему нос. Он пришёл ко мне весь в крови, счастливый. Сказал, что наконец почувствовал себя живым. Я предложил ему снова заняться служанками, с ними у него получается лучше.

Я засмеялась. Тихо, коротко — и сама удивилась этому звуку. Смех вышел хриплым, как у человека, который давно не смеялся. Диамант посмотрел на меня. Внимательно. Будто запоминал.

— Ты смеёшься, — заметил он. — Реагируешь. Значит, ещё жива.

— А ты сомневался?

— В тебе — нет. — Он помолчал. — В себе — иногда.

Признание вышло неожиданно. Слишком откровенно. Он сам это понял — и отвёл взгляд, потянувшись за сигаретой.

Мы молчали. Огонь трещал. Пирог таял во рту — вишнёвая сладость, кислинка, корица. Я доела свою половину и отставила тарелку. Диамант докурил, потушил окурок о край пепельницы. Тишина между нами уже не была натянутой — она стала другой. Мягче. Будто мы оба устали держать оборону.

— Тед, — произнесла я наконец.

Имя упало в тишину, как камень в воду. Я не знала, зачем сказала это. Но что-то внутри требовало — произнести вслух. Закрыть.

Диамант посмотрел на меня. Без насмешки. Просто смотрел.

— Что — Тед?

— Я не чувствую жалости. — Слова выходили медленно, будто я пробовала их на вкус. — Он умер. Ты его убил. У меня на глазах. А я ничего не чувствую. Ни горя. Ни вины. Только… — я помолчала, подбирая точное слово, — облегчение. Будто что-то, что давило на грудь, наконец убрали. И теперь я могу дышать.

Диамант не ответил сразу. Он смотрел на меня так, будто видел впервые — и не мог решить, что с этим делать.

— Ты не должна ничего чувствовать, — сказал он нако-

нец. Ровно. Без утешения. Просто констатация. — Он был убийцей. Он сжёг деревню. Он бы убил тебя, если бы я не пришёл. Жалость к нему была бы предательством тех, кого он зарезал.

— Я знаю. — Я кивнула. — Просто… удивилась. Что я такая. Что могу смотреть на смерть и не плакать.

— Ты не «такая». — Он подался вперёд, опершись локтями на колени. — Ты стала такой. Есть разница. И это не я тебя сделал. Это сделала жизнь. Война. Потери. Я ведь знаю, что после вторжения Лагерта твои мать и сестра умерли от лихорадки. Всё, что происходило с тобой до меня. Я только… — он усмехнулся, — помог завершить процесс.

Я засмеялась. Горько. Но — засмеялась.

— Ты сейчас оправдываешься?

— Я никогда не оправдываюсь. — Он откинулся в кресле, и в его голос вернулась привычная ленивая насмешка. — Просто говорю правду. Ты не жалеешь Теда, потому что он не заслуживал жалости. Это не делает тебя чудовищем. Это делает тебя живой. Он перестал быть человеком. Ты — нет.

Я посмотрела на него.

— А ты? — спросила я тихо. — Ты жалеешь кого-нибудь?

Он помолчал.

— Иногда, — сказал он наконец. — Жалею мальчика, которого знал когда-то. Который хотел быть астрономом. Но он умер задолго до того, как я его убил.

Слова повисли в воздухе. Тишина стала глубже. Я не зна-

ла, что сказать. И не нужно было. Мы просто сидели — он и я, напротив друг друга. Два человека, которые слишком давно не были настоящими.

Огонь трещал. Вино согревало изнутри.

— Спасибо за пирог, — сказала я. Глупо. Просто. Тихо.

Диамант посмотрел на меня. И в его глазах — на секунду, на один удар сердца — что-то дрогнуло. Не маска. Не холод. Что-то, что он сам не ожидал там увидеть.

— Ешь больше, — ответил он. — Ты слишком худая. Я не люблю трахаться со скелетами.

Я засмеялась. На этот раз — искренне. И в этом смехе было что-то, от чего стало легче дышать. Ночь впереди. И всё, что она несёт.

3

— Боишься меня? — спросил Диамант.

Он произнёс это так, словно вскрывал скальпелем шов — точно, без предупреждения, зная, где будет больнее всего. Я замерла. Вопрос вошёл под рёбра — тонко, раскалённо — и остался там пульсировать. Сердце сбилось, дёрнулось, потом застучало быстрее, будто пыталось выломать грудную клетку и упасть к его ногам.

Мой взгляд сам опустился к его рукам. Длинные пальцы, тяжёлые перстни — чернёное серебро и камни цвета запёкшейся крови. Я знала эти руки. Знала, как они сжимают горло — ровно до того предела, за которым темнеет в глазах. Знала, как они раздвигают бёдра — без просьбы, с уверен-

ностью человека, который привык владеть. Знала, как они умеют касаться — жёстко, потом вдруг почти нежно, — и от этой нежности хотелось кричать громче, чем от боли.

Воспоминания поднимались из тела, не из головы. Его хватка на запястьях — такая, что утром оставались лиловые браслеты. Его голос — низкий, с хрипотцой, от которого мурашки шли по позвоночнику и оседали влажным жаром внизу живота. То, как он мог одним взглядом вдавить меня в постель, а следующим — заставить почувствовать себя единственной женщиной, ради которой стоило создавать этот мир.

Я смотрела на него долго. Разбирала собственные чувства, как ювелир — камни, перекатывая каждый между пальцами. Страх? Да. Но не перед ним. Перед тем, что случится, когда я снова впущу это безумие внутрь. Перед тем, как быстро сотрётся граница между «я» и «его». Перед собой — вот перед кем. Перед тем, как легко я раскрываюсь под его руками, как послушно поддаётся тело, как он щёлкает все потайные замки моей души одним движением пальца — и за каждым находит именно то, что я прятала глубже всего.

— Нет, — сказала я. Голос вышел тише, чем нужно. Дрогнул. Предал. — Точнее — боюсь. Но не тебя. Себя. Свою слабость. Твою власть надо мной.

Диамант кивнул — так, будто знал ответ до того, как я открыла рот. В этом кивке не было торжества. Было что-то бережное — пугающе бережное для человека, способного ло-

мать. Его губы дрогнули в улыбке. Не насмешливой. Понимающей. Той, от которой внутри всё сжалось сильнее, чем от угрозы.

Он достал сигарету. Щёлкнул зажигалкой. Пламя вырвало из полумрака его лицо — резкие скулы, прямой нос, голубые глаза, в которых сейчас не было привычного льда. Вместо него плескалось что-то тёмное. Горячее. Голодное. Огонёк погас, и темнота сомкнулась теснее, пропитанная дымом — горьким, табачным, — который мешался с запахом его кожи и холодного металла перстней.

— Хорошо, — он затянулся и выпустил дым тонкой струёй, будто выдохнул само напряжение между нами. — Но себя тоже не бойся. Просто отпусти. Под мою ответственность.

Слова осели на коже, как тёплый пепел. Отпустить. Довериться. Мысль царапнула изнутри — грубо, как необработанный шёлк по содранной коже. Он видел, как дрожали мои пальцы. Его голос смягчился — настолько, что стало страшнее, чем от приказа:

— Ты знаешь — я не дам тебе упасть. Просто доверься.

В его глазах не было насмешки. Только тепло — почти нежность. И от этого контраста — нежности в том, кто умел избивать до крови и делать так, чтобы я сама этого хотела — по позвоночнику прокатился холод.

— Созрела? — поинтересовался он, и в улыбке мелькнуло хищное — оскал, едва прикрытый обаянием.

Я вспомнила. Его руки, держащие меня за волосы. Его

уверенность — абсолютную, тяжёлую, как свинец. То, как он брал ответственность за всё, что происходило между нами, — за каждый мой крик, за каждую слезу, за те минуты, когда я не могла вспомнить собственного имени и лежала, вздрагивая, мокрая, пустая, принадлежащая ему до последней клетки. Он не причинит настоящего вреда. Не из доброты — из расчёта. Я нужна ему целой. Ему нравилось другое: натянуть поводок до предела, заставить балансировать на самом краю — и поймать за горло в момент падения.

— Справишься? — я улыбнулась, пряча за шуткой дрожь, разъедающую нервы изнутри. Пульс бился в висках. Ладони стали влажными, липкими — я провела ими по ткани платья, пытаясь стереть эту постыдную готовность тела, которое уже сдалось раньше разума. Но под страхом, под сомнениями, под всем — поднималось предвкушение. Острое. Как лезвие, которое ещё не коснулось кожи, но я уже горела в том месте, где ляжет порез.

— А вот это обидно, — сказал Диамант. В голосе — тень настоящей обиды, но глаза смеялись — холодно, ярко, беспощадно. Он смотрел сквозь меня. Видел всё: страх, борьбу, тёмную жадность. Он всегда читал меня — легче, чем собственный почерк.

— Я хоть раз давал повод сомневаться? — лениво спросил он.

Я качнула головой. Нет. Не давал. В этом-то и была ловушка. Он всегда безупречен — в решениях, в контроле, в

том, как держит мир за горло. И в том, что делает со мной, — тоже. Абсолютный хозяин, которому подчиняется всё: ситуация, пространство, моё сердцебиение, мои бёдра, мои самые чёрные желания — те, что я не решалась произнести вслух, но которые он доставал из меня голыми руками, одно за другим, безжалостно и точно, словно хирург, вскрывающий нарыв.

Диамант поднялся. Ни одного лишнего движения. Ни тени колебания. Каждый жест — выверенный, как у человека, привыкшего владеть чужим телом прежде, чем коснётся его. Подошёл к стене, надавил на едва заметный выступ — и деревянная панель бесшумно ушла в сторону, обнажив проём потайной комнаты.

Той самой. Той, что являлась мне в бессонные ночи — не воспоминанием даже, а фантомной болью, впечатанной в кожу и кости. Когда я лежала в темноте, мокрая от пота, и мысли о нём рвали меня на части, как когти, загнанные под рёбра.

Из проёма тянуло холодом — и чем-то ещё. Старое дерево. Пыль, которой сто лет. Запах кожаных ремней и воска, въевшийся в стены. И под всем этим — тяжёлый, звериный, дух чужого пота и чужих слёз. Я задержала дыхание. Пульс рванул вверх, кровь ударила в лицо, хлынула к скулам — и тут же отступила, оставив ледяной след, будто кто-то провёл мокрым пальцем по щеке.

Этот проём когда-то казался мне входом в изнанку мира,

где не существовало правил — только его голос, только его воля. Мир, в котором я могла быть кем угодно — сломанной, яростной, послушной, дикой — и всё равно принадлежать ему. Целиком.

— Ну что? — он обернулся. Голос ровный, почти ленивый. Но в глазах — в этих потрясающих, нечеловечески внимательных глазах — плясало что-то голодное. Вызов. Насмешка. И глубже, на самом дне, — тепло, настоящее, почти болезненное. То, которое он прятал от всех, как уродство. — Вспомним старые времена?

Я тяжело выдохнула. Внутри всё раскалывалось надвое. Одна часть — трезвая, осторожная, битая жизнью — орала, что это ловушка. Что нельзя лезть в могилу, которую он сам засыпал землёй. Что я сдохну, если он снова вывернет меня наизнанку и бросит. Но другая — голодная, измученная годами самоконтроля, та, что помнила его руки, его зубы на своей шее, тот особенный звук, с которым его ладонь встречается с моей кожей, — шептала: «А зачем ты ещё жива? Чтобы бояться? Чтобы засыхать? Позволь себе. Хотя бы сейчас. Хотя бы это. Сгори — но почувствуй».

И я сдалась. Не ему — себе. Отпустила поводья. Пусть ведёт. Пусть берёт то, что хочет, — если хватит сил удержать. У него было единственное, чего я не могла дать себе сама: ощущение абсолютной свободы внутри его хватки. Наслаждение, заточённое в клетку из боли. Страсть без утра. Без последствий. Без имени.

— Да, — сказала я. Встала и пошла к проёму. Шаги ударяли в тишину — гулко, тяжело. Каждый — как удар молотка по гвоздю. Приговор. Обещание. Клятва, которую нельзя взять назад. Пульс молотил в висках. Пальцы дрожали. Дыхание рвалось.

— Давай поиграем.

Диамант улыбнулся. Широко. По-настоящему. Он отступил, пропуская вперёд. Жест галантный, почти церемонный — как палач, придерживающий дверь для осуждённого. Я переступила порог. За спиной — тихий, мягкий щелчок вставшей на место панели.

Воздух здесь был другой. Плотный. Пропитанный тем, что впечаталось в эти стены за годы: потом, страстью, слезами, невысказанными словами и криками, которые когда-то бились о потолок — и так и остались висеть в темноте, как призраки. Запах кожи и металла лёг на язык, и я почти ощутила его вкус — горький, медный, знакомый. Я обернулась к Диаманту. И поняла. Что бы ни случилось — я готова. К игре. К боли. К тому, что он сделает со мной в этой комнате. К каждому его прикосновению, каждому приказу, каждому удару. Ко всему, что он решит забрать.

4

Диамант приблизился сзади. Шаги — мягкие, выверенные. Каждый отдавался у меня в позвоночнике, и дыхание рвалось на куски — жалкое, хриплое, почти беззвучное. Его выдох коснулся затылка.

Руки обхватили талию. Горячие. Уверенные, как тиски, обтянутые шёлком. Что-то внутри меня — тёмное, голодное, загнанное в самый дальний угол — подняло голову и оскалилось.

Ладони поползли вверх. Пальцы нашли застёжки платья, и я ощущала каждое движение: нажим, скольжение вдоль позвоночника — будто он выцарапывал на мне руны, значение которых знал только он. Несколько рывков. Ткань шелестнула по плечам, скользнула по спине холодным поцелуем и осела у ног. Я осталась в белье. Спиной к нему. Каждая мышца стянулась, как перед ударом.

Холодный металл у плеча. Кинжал. Лезвие едва тронуло кожу, и дрожь прокатилась от макушки до пяток. Одно движение — хлопок перерезанной нити, и бретелька обмякла, ткань сползла с плеча. Второй разрез. Тонкая ткань соскользнула с груди. Холодный воздух хлынул на обнажённую кожу, и та покрылась мурашками — каждый волосок встал дыбом, реагируя на невидимую угрозу. Или на обещание. Лезвие скользнуло по бедру, перерезало тонкую полоску ткани — и та соскользнула вниз. Я стояла голая. Кровь бросилась в лицо. Сердце колотилось так, будто пыталось проломить рёбра. Каждый нерв был натянут до предела — оголённые провода, готовые искрить от малейшего касания.

Он развернул меня к себе. Я не подняла глаз. Смотрела на его грудь, на тёмный шёлк безрукавки, на вырез, обнажающий ключицы, на белое плечо с татуировкой. Он взял ме-

ня за подбородок — пальцы твёрдые, но не грубые — и приподнял лицо. В этом жесте читалась власть, холодная, безупречная, как лезвие, и что-то почти нежное, от чего стало страшнее, чем от любой угрозы.

Потом — осмотр. Медленный. Тщательный. Он изучал каждую линию, каждый изгиб, запоминая, как карту, по которой собирался вести меня в самые тёмные места. Взгляд остановился внизу живота — на клейме. Его метке. Я напряглась. Вспышка в памяти: запах палёной кожи, крик, застрявший в горле, а потом — тёмное, запретное наслаждение, от которого до сих пор перехватывало дыхание.

Он взял меня за руку. Я инстинктивно дёрнулась.

— Тише. Ты сама пришла. Сама выбрала. Твоё тело уже всё решило за тебя — я чувствую, как ты дрожишь. И это не страх.

Пальцы сжались крепче. Не до боли. Ровно настолько, чтобы я ощутила его силу, но не сломалась. Я замерла.

«Остановись», — тонкий голос внутри, как треск льда. Но ноги шагнули вперёд. Сами. Один шаг. Другой.

Перекладина в центре комнаты — тяжёлая, кованая, с тёмными потёками ржавчины и чужих историй, въевшихся в металл. Он поднял моё запястье. Холод наручника обхватил кожу. Щелчок замка — короткий, окончательный, как приговор. Второе запястье. Я повисла на цепях, распятая, лишённая даже иллюзии выбора.

«Боже, как я скучала по этому. По сладкой, почти болез-

ненной капитуляции. По ощущению, что я больше не принадлежу себе». Ладони вспотели, пальцы сжались, но дрожь проникала глубже — в кости, в кровь. А внизу живота уже пульсировало тепло, густое, тяжёлое, растекающееся по венам, превращающее кровь в расплавленный металл.

Он отступил на шаг. Обошёл вокруг. Я слышала его дыхание — ровное, контролируемое — и ненавидела его за этот контроль, и хотела его ещё сильнее. Тепло его тела окутывало меня, как душный плащ. Пальцы коснулись живота. По коже пробежал разряд — глубокий, до мышц, до самой мякоти. Низ живота сладко сжался. Ладонь скользнула к груди. Пальцы нашли сосок, сдавили — коротко, жёстко. Сосок затвердел мгновенно, и острая волна удовольствия прошила тело от груди до промежности. Я прикусила губу, чтобы не застонать. Вкус крови.

Он отпустил. Оказался за спиной. Пальцы прочертили линию вдоль позвоночника — от шеи до поясницы, — медленно, как будто ставил на мне новые метки поверх старых. Каждое касание вырывало из меня судорожный вдох. Стон царапал горло изнутри, рвался наружу. Кожа горела, будто его пальцы оставляли ожоги — невидимые, но более ощутимые, чем клеймо. Он замер. И потом — шёпот у самого уха, хриплый, обволакивающий:

— Кроме клейма на тебе не осталось ни одного следа. — Пауза. Кончик языка прошёл по краю ушной раковины. — Это мы исправим.

Голос звучал как обещание. Боли. Удовольствия. Того, что всегда заставляло меня забыть собственное имя, стереть себя до чистого листа, чтобы он мог написать на мне заново. Дрожь пробежала по спине — не от страха. От голода. Я хотела ощутить всё, что он готов дать, даже если это сожжёт меня дотла. Особенно — если сожжёт.

Он коснулся снова — жёстче, без игры. Пальцы впились в плечо, скользнули вдоль руки, вернулись к шее. Сжали. Я чувствовала, как его ладонь давит на сонную артерию — не перекрывая воздух, но обозначая границу: между сознанием и забытьём, между мной и тем, кем он хотел меня сделать.

Я выгнулась навстречу. Тело решило за меня — та его часть, которую я считала мёртвой, оказалась самой живой. Его тихий смешок — низкий, удовлетворённый — перевернул всё внутри.

— Хорошая девочка. — Губы прижались к мочке уха, прикусили — коротко, больно. Жар и холод одновременно. — Ты даже не представляешь, как красиво выглядишь вот так — голая, мокрая, в цепях.

Я закрыла глаза. На самом краю сознания мелькнуло: «Это ошибка». Мелькнуло. И пропало.

— Теперь я готова, — сказала я, и голос не дрогнул. В этих словах не было покорности. Вызов. Ему. Себе. Всему.

Диамант

1

Я подошёл к столу. Не торопясь. Перебирая взглядом раз-

ложенные предметы — так гурман изучает меню, заранее зная, что закажет, но наслаждаясь самим процессом выбора. Иглы — нет. Слишком окончательно для первого блюда. Она отвыкла, а я не хотел насыщения раньше времени. Прищепки — может, потом, когда воздух загустеет от пота и мольбы. Плётка — позже, когда она перестанет считать удары и начнёт считать выдохи.

Металлические зажимы, скреплённые цепочкой. Хирургическая сталь, отполированная до зеркального блеска, — холодная, лаконичная, безжалостная. Проводник между её нервными окончаниями и моим удовольствием. Мост из боли в одну сторону. Идеально.

Я повернулся. Сильвана висела на перекладине — запястья стянуты наручниками, руки разведены, рёбра проступали под кожей при каждом вдохе. Испарина покрывала её тело тонкой плёнкой, превращая в скульптуру из мокрого мрамора: блики ламп скользили по ключицам, собирались каплями в ложбинке между грудей, стекали по животу к выступающим тазовым костям. Она дышала неровно. Быстро. Грудь вздымалась, соски уже затвердели — от холода ли, от ожидания — и торчали, маленькие, тёмные, беззащитные. Её взгляд — напряжённый, горящий, провоцирующий. «Ну? Удиви меня». Молчаливый вызов, от которого кровь густела и ударяла в виски.

Я подошёл вплотную. Жар её тела — плотный, животный — обдал лицо. Я вдохнул: горьковатый мускус пота, слад-

кая пряность возбуждения, едва различимый медный привкус страха. Запах, от которого темнеет в глазах.

Она увидела зажимы. Короткий рваный вдох — почти всхлип, — который она тут же задавила, сжав челюсти. Но я услышал.

— Не бойся, — я склонился к её уху, губами почти касаясь мочки, ощущая языком пульсацию тонкой голубой жилки под кожей. — Это только начало. И почти не больно.

Моё дыхание на её шее.

— Почти.

Она дёрнулась назад — инстинкт, рефлекс, бессмысленная попытка бегства. Цепи лязгнули. Звук разнёсся по комнате, как захлопнувшаяся дверь тюремной камеры.

— Тише, — я положил руку ей на плечо. Пальцы легли твёрдо, без нежности — как ложится ошейник. — Доверься мне. Или притворись, что доверяешь. Это тоже по-своему честно.

Её пальцы вцепились в перекладину. Первый зажим. Металл сомкнулся на соске — медленно, неумолимо. Я чувствовал, как сталь сжимает плоть, как кожа натягивается, бледнеет, а потом наливается розовым. Она выдохнула сквозь стиснутые зубы — тонкая струйка воздуха, ни звука, ни стона, будто пыталась не отдать мне ни капли. Второй. Плечи дрогнули, мышцы живота свело судорогой. Но глаза — в глазах уже не было страха. Жадное, тёмное любопытство. Ребёнок, заглянувший в пропасть и шагнувший вперёд.

Я отступил на шаг. Полюбоваться. Бледная сталь на бледной коже. Цепочка свисала между грудей, подрагивая в такт дыханию, — живая, пульсирующая, как второе сердцебиение. Кожа вокруг зажимов порозовела, налилась цветом, покрылась мурашками — тело пыталось защититься, отвергнуть чужеродный металл, и не могло. Я взялся за цепочку. Потянул — едва ощутимо, как пробуют на прочность паутину. Сильвана выдохнула.

Ещё раз — сильнее. Первый звук: тихий, сорвавшийся стон, который она оборвала, испугавшись собственного голоса.

Я не остановился. Рывок — пауза. Рывок — пауза. Ритм ускоряющегося сердца. С каждым движением её тело отзывалось ярче: спина выгибалась, губы раскрывались, обнажая кромку зубов, дыхание становилось рваным, жалким, прекрасным. Цепочка натягивалась, сталь впивалась глубже, и я видел, как кожа вокруг зажимов темнеет — багровая, воспалённая, натянутая до предела. Сосок, зажатый металлом, стал тёмно-вишнёвым, распухшим, и каждое движение цепочки заставляло её грудь вздрагивать — крупно, всем телом, как от удара током.

— Вот так, — шепнул я, не отрывая взгляда от её лица, ловя каждую тень, каждый спазм. — Громче. Я хочу слышать. Не сдерживайся. Не передо мной. Я ценю искренность — даже в крике. Особенно в крике.

Она застонала — низко, утробно, с дрожью, которая от-

далась у меня в паху. Я потянул сильнее, выдерживая такт: пауза — рывок, пауза — рывок. Её грудь вздрагивала, соски вытягивались под сталью, кожа шла красными пятнами — и в этой раскрашенной боли было что-то непристойно красивое, как фреска в борделе.

Свободной рукой я провёл по её губам — медленно, подушечками пальцев, едва касаясь. Она приоткрыла рот — рефлекторно, послушно, — и я воспользовался: два пальца скользнули внутрь, надавили на язык, упёрлись в мягкое нёбо. Влажное тепло обхватило фаланги. Слюна потекла по подбородку. Я наклонился к самому уху. Цепочку не отпустил — натянул чуть сильнее, так что она вздрогнула всем телом, и стон вибрацией прошёл по моим пальцам.

— Соси, — тихо. Твёрдо. Слово упало в тишину, как камень в колодец. — Покажи, на что способна. Покажи мне, что ты не кукла. Что ты — женщина, которая знает, чего хочет.

Она подчинилась мгновенно — будто ждала. Губы сомкнулись на пальцах плотно, горячо. Язык обвился вокруг — влажный, настойчивый. Щёки втянулись от усилия. Она сосала жадно, с тем сосредоточенным остервенением, с каким тонущий хватается за верёвку, — и в то же время в каждом движении языка прятался вызов, скрытый оскал, напоминание: «я позволяю тебе это. Я». Глаза закрыты. Ресницы мокрые. Дыхание — хриплое, прерывистое — мешалось с влажными звуками, и этот ритм затягивал, как водоворот.

Несколько секунд я просто стоял, впитывая: её покорность, её голод, тепло её рта вокруг моих пальцев. Сила и слабость. Власть и жертва. Игра, правила которой мы оба знали — и оба нарушали. Потом выдернул пальцы — резко, жёстко. Мокрые от слюны, я провёл ими по её лицу: по щеке, по скуле, по губам — размашисто, грубо, оставляя влажный блестящий след. Она не успела вдохнуть, когда моя ладонь врезалась в щёку. Голова мотнулась вбок, волосы хлестнули по лицу.

Я смотрел. Ждал. Ресницы дрогнули. Зрачки — огромные, затопленные чернотой. На щеке проступил отпечаток — сначала белый, потом розовый, потом багровый, наливающийся цветом, как кровоподтёк на спелом персике. Губы разъехались в улыбке — не покорной, не сломленной. Хищной. Она повернула голову обратно, подставляя лицо. Потянулась к моей руке.

— Ещё.

Одно слово. Хриплое. Мокрое от слюны и желания. Я усмехнулся. Что ж. Кто я такой, чтобы отказывать. Удар. Ещё один. Ещё. Голова дёргалась, волосы разлетались золотым ореолом, на щеках расцветали алые пятна, и она не отворачивалась — подставлялась, запрокидывая голову, обнажая горло, открывая лицо моей ладони, собирая каждый удар. Губы разомкнуты, язык касается верхних зубов, из горла — сиплый, задыхающийся звук, не стон и не смех, что-то между.

Потом она посмотрела на меня. Глаза — плавленое стекло. Вызов. Покорность. Голод. Всё сразу, всё одновременно, — и от этого коктейля потемнело в глазах, и единственное, что осталось, — больше, глубже, дальше.

Я склонился к её уху. Её дыхание — частое, рваное — обожгло мне шею.

— Видишь, как просто? Ты хочешь — я даю. Ты просишь — я беру. Но это моя игра. Мои правила. И если нарушишь — я напомню. Так, что тело запомнит раньше, чем разум.

Она не ответила. Только кивнула — медленно, тяжело, как кивают перед прыжком в темноту. И в этом кивке было больше, чем в любом слове. Больше, чем я ожидал. Больше, чем планировал.

2

Я осмотрел Сильвану. Тщательно. Так, как запоминают карту перед тем, как сжечь её, — впечатывая каждый изгиб в память, чтобы воспроизвести потом на ощупь, в кромешной тьме, по одному лишь запаху. Испарина покрывала её тело тонкой плёнкой, и в дрожащем свете ламп кожа казалась восковой, почти прозрачной — под ней проступали голубоватые русла вен, словно реки на карте неизведанной земли, которую мне ещё предстояло завоевать. Грудь вздымалась. Губы припухли, потемнели от недавних прикосновений — как свежий ожог, как клеймо, которое ещё не успело затвердеть. А в глазах горело то, что я знал лучше собственного имени: страх, возбуждение и отчаянная, оголённая жажда —

меня, моей власти, моей жестокости, моих рук на её горле.

Я склонился к уху. Почти коснулся губами мочки. Вопрос — формальность. Я знал ответ. Но мне нужно было, чтобы она произнесла его сама — вслух, чётко, без двусмысленностей. Чтобы взяла на себя ответственность за собственную жажду. Чтобы своими губами подписала приговор.

— Хочешь ещё? — шёпот, горячий, влажный, прямо в ушную раковину. — Хочешь острее? Хочешь почувствовать плеть?

Лёгкая насмешка. Кот, поигрывающий с мышью, прежде чем распороть ей брюхо. Но под насмешкой — предвкушение.

Она замерла. Взгляд скользнул к стене — туда, где висели плети, тёмные, свернувшиеся, как спящие гадюки. В зрачках на мгновение полыхнул страх — настоящий, тот, что пахнет железом и мокрым камнем. Но затем она сглотнула. Расправила плечи, будто натянула на себя броню из собственной решимости. И посмотрела мне в глаза — прямо, без укрытия.

— Да. — Голос сломался на полуслове, и этот надлом был почти трогателен — треск тонкой корки льда под сапогом. — До крови.

Последний слог — твёрже. Она вбила это слово в собственную грудь, как гвоздь в сырое дерево.

— Пожалуйста.

Почти шёпот. Но это «пожалуйста» — не мольба о поща-

де. Требование. Права на боль, права на эту грань, за которой кончается всё, что она знала о себе. Я кивнул. Внутри сжалось — азарт, восхищение, короткая вспышка нежности, которую я тут же раздавил, как тлеющий уголёк каблуком. Не время. Не место.

До крови? Без проблем. Не отказывать же даме — особенно когда в её отчаянии слышится не слабость, а сила, дикая и голодная.

Я подошёл к стене. Снял многохвостку. Кожаные хвосты шуршали по ладони — сухо, интимно, как шёпот старого сообщника, с которым не нужно слов. Вес. Баланс. Холод металлической рукояти, впившийся в ладонь. Всё идеально — будто отлито по слепку моей руки. Я провёл большим пальцем по одному из хвостов, ощущая шероховатость жёстких волокон, и представил, как они лягут на её кожу — не лаская, а вспарывая, оставляя рубцы, которые не смоет ни вода, ни время, ни раскаяние.

Развернулся. Подошёл. Схватил за волосы — не грубо, но с той мерой твёрдости, которая говорила яснее слов: сейчас даже твоё дыхание принадлежит мне. Поднёс рукоять к её губам. Провёл холодным металлом по нижней — медленно, с нажимом, вминая мягкую плоть, заставляя ощутить тяжесть, безжалостность, неизбежность.

— Поцелуй.

Одно слово. В нём — вся моя власть, вся тьма, которую я носил в себе, как яд в склянке, и теперь предлагал ей выпить

до дна. Она подчинилась мгновенно, без колебаний — будто ждала этого приказа. Губы коснулись металла — нежно, влажно, почти благоговейно. Язык скользнул по холодной поверхности, оставляя блестящий след. В этом жесте было столько покорности и одновременно вызова, что я на мгновение замер, впитывая картину: как она принимает, как отдаётся, как готова идти до самого дна. Это царапнуло изнутри — сильнее, чем я ожидал. Кровь ударила вниз, горячая, тяжёлая.

— Теперь поцелуй меня. — Её шёпот сорвался, надломился. — Прошу тебя.

Не просьба. Мольба. Почти агония — она пробивалась сквозь гордость, как корень сквозь камень, медленно и неостановимо. Я не целовал её больше четырёх месяцев. Не сделал этого, когда вытащил с той проклятой мельницы. Будто поцелуй мог обрушить хрупкую стену между спасением и одержимостью. Но сейчас стена уже не имела значения.

Я склонился и впился в её рот — жёстко, жадно, раздвигая губы, как вскрывают рану. Язык вторгся без предупреждения — глубоко, властно. Я прикусил её язык, потом нижнюю губу — до боли, до металлического привкуса, который тут же смешался с её вкусом. Она застонала мне в рот — коротко, хрипло — но не отстранилась. Ответила с той же яростью, с тем же голодом, вцепилась зубами в мою губу, втянула мой язык глубже, будто хотела сожрать меня заживо. Поцелуй стал схваткой — борьбой, в которой победитель

получал всё, а побеждённый — ещё больше.

Я отстранился. И тут же — пощёчина. Хлёсткая, звонкая, с отчётливым хлопком, расколовшим тишину комнаты, как выстрел. Её голова мотнулась в сторону, но взгляд вернулся ко мне мгновенно — глаза горели ярче, зрачки расплылись до краёв радужки, обращая их в сплошную тьму. Ни капли страха. Только вызов и жажда — безумная, всепоглощающая, от которой воздух между нами потрескивал, как перед грозой.

— Это бонус, — я оскалился, и в этом оскале было всё: ирония, цинизм, власть — не только над её телом, но над желаниями, над волей, над каждым ударом её сердца.

Я отступил на три шага. Поднял плеть. Взмах — короткий, злой свист рассёк тишину, и тьма в углах комнаты качнулась, словно одобряя. Первый удар лёг поперёк груди. Кожа вспыхнула — не румянцем, а жаром. Тонкая полоса проступила мгновенно, набухла, запульсировала собственным сердцебиением. Второй — на живот, резче, глубже. Покалывание вгрызлось в нервы и тут же расцвело жжением. Она выдохнула сквозь стиснутые зубы. Не застонала. Только пальцы на перекладине сжались.

Третий — по внутренней стороне бедра, туда, где кожа тоньше, где вены просвечивают голубым. След лёг сразу — багровый, с белёсым ободком по краям.

Я остановился. Дал ей впитать. Дал жжению просочиться сквозь мышцы, глубже — в кровь, в кость, в самую суть.

Наблюдал. Подрагивание ресниц. Судорогу мышц на животе — сжатие, расслабление, снова сжатие. Волну мурашек, пробежавшую от ключиц к лобку, будто под кожей шевелилось что-то живое, что-то голодное. Она не закрывалась. Наоборот — выгибалась навстречу, подставлялась, раскрывалась, нарочито, бесстыдно, будто хотела вобрать каждый удар в себя, переплавить боль в силу. Стоны учащались, становились рваными, влажными. Дыхание сбивалось в хрип. Но в глазах — ни тени сожаления. Только желание. Густое, тёмное, раскалённое, как расплавленная смола. Она хотела этого. Хотела меня — не мягкого, не нежного. Жестокого. Того, кто не спрашивает, а берёт.

Ещё удар. Ещё. Ритм нарастал, становился почти музыкальным — свист рассекаемого воздуха, мокрый шлепок кожи о кожу, её стон, моё тяжёлое дыхание, стук пульса в висках. Всё сливалось в единую, безумную литанию, которая затягивала, не давала думать, не давала остановиться. Адреналин бурлил в крови, горький на вкус, и каждый её вздох отдавался во мне — в паху, в рёбрах, в горле. Мы становились одним существом: два тела, одно сердце, бьющееся на пределе разрыва. Ощущать такую власть и такую отдачу одновременно — это пьянило сильнее любого яда.

— Нравится? — бросил я между ударами. Насмешка. Но под ней — что-то другое. Что-то, что царапало изнутри, не давало оставаться хладнокровным, разжигало огонь, превращало каждый взмах плети в клятву.

— Да! — она запрокинула голову, обнажив горло, словно подставляя и его. — Ещё. Сильнее.

Плеть взлетела. Удар лёг по бедру — тяжелее, злее, с оттяжкой. Она вскрикнула. На мгновение в её глазах мелькнула настоящая боль — острая, оголённая, без прикрас. Но она закусила губу, выдохнула, сбросила боль, и посмотрела на меня.

— Ещё, — прошептала она. Голос дрожал, но в нём не было страха. Только жажда — та, что старше языка и разума.

Конечно, сильнее. Она просила — я давал. Всё, что просила, и больше. Но на моих условиях. Только на моих. Следующий удар — точный, расчётливый, с той мерой жестокости, которую она выпрашивала всем телом. Я искал грань — ту тонкую, раскалённую линию, где боль опрокидывается в наслаждение. Её тело содрогалось, выгибалось дугой мне навстречу, и я понимал: мы оба на краю. На краю безумия. На краю того, чему нет названия — запретного, опасного, такого, от чего темнеет в глазах и мир теряет очертания.

Я продолжал. Плеть пела в воздухе, удары ложились один за другим — гипнотично, неумолимо. Не было больше ничего: ни комнаты, ни времени, ни имён. Только свист кожи, влажный звук столкновения, дрожь воздуха, запах пота и крови, и мир, сжавшийся до размеров этого мгновения. Только мы. Только игра. Только страсть, которая сжигала нас — медленно, до костей, до пепла, до желания начать сначала, снова и снова, пока не останется ничего, кроме тьмы и

нас в ней.

Сильвана

1

Тело, мои нервы, каждый вздох — всё стало его собственностью, зажатой в тиски из стали и льда. Диамант не просил разрешения. Он забирал. С каждым ударом плети клетки просыпались — резко, болезненно, словно сквозь кожу прорастали раскалённые иглы. Четыре месяца без него я не жила. Существовала в сером безвоздушном коконе, где не было ни вкуса, ни запаха, ни пульса. Просто тело без хозяина — опустевший дом с заколоченными окнами. А сейчас я возвращалась. Каждое пробуждение отзывалось вспышкой — белой, слепящей, как разряд в позвоночник.

Тело выгибалось навстречу ударам. Не от боли — от голода. Кожа требовала ещё, мышцы кричали об этом, влажная плоть между бёдер пульсировала в такт свисту кожаных хвостов. Я чувствовала, как тёплая кровь — густая, почти горячая — сочилась по рёбрам, стекала к животу, смешивалась с потом, и этот запах — медный, животный, интимный — кружил голову сильнее любого вина. Я не хотела, чтобы это прекращалось. Я хотела глубже. Сильнее. До хруста. До того, как мир треснет пополам.

Зажимы на сосках превращали каждый вдох в пытку и молитву одновременно. Металлические челюсти сжимали набухшую плоть, и при каждом движении — даже при дыхании — по нервам прокатывалась тягучая волна жара, спускавша-

яся вниз, к лону, скручивавшаяся там раскалённой спиралью. Боль была почти священной. Она делала каждую секунду невыносимо, безжалостно настоящей. Я взглянула на Диаманта. Он отошёл. Взял бутылку с водой. В голове мелькнуло: «Передышка» — и эта мысль была предательством. Слабостью, которую он бы не простил.

Он не простил. Ледяная вода обрушилась на разгорячённое тело — разом, без предупреждения. Я захлебнулась воздухом. Холод ударил по рассечённой коже, как тысяча игл, — там, где секунду назад горело, теперь жгло по-другому: остро, пронзительно, будто сама вечность провела по моим рёбрам ледяными пальцами. Кровь смешалась с водой и потекла вниз бледно-розовыми ручейками. Покалывание сменилось онемением, кожа пыталась отрешиться от реальности — но новый удар плети вернул всё назад. Жар — концентрированный, точечный, как пламя, которое лижет открытую рану. Я вскрикнула. Мышцы на спине сократились судорогой, колени стали чужими, мягкими, бесполезными.

— А-а-ах!

Крик вырвался без стыда. Без страха. Он прозвучал в тишине комнаты как исповедь: я больше не пряталась. Я была голой плотью, обнажённым нервом, чистым желанием, распятым на его перекладине. Низ живота скрутило. Глубоко внутри всё сжалось, запульсировало, намокло — требовало разрядки с такой силой, что я стиснула зубы до скрежета. Я поняла с пугающей ясностью: чем сильнее он бил, тем отча-

яннее я хотела, чтобы он вошёл в меня. Чтобы перестал держать на этой грани — и столкнул в бездну, которую сам же вырыл.

Боль перестала быть болью. Она стала ключом. Каждый удар отпирал что-то внутри — тёмное, спрятанное. Кожа горела не от рассечений — от жажды его рук, его губ, его тяжести на мне, жажды его члена во мне. Я хотела чувствовать его не как палача — как хозяина. Того, кто владеет не только моим телом, но и тем, что под ним. Тем, что глубже костей. Я хотела, чтобы палач стал любовником. Нет. Я хотела, чтобы он остался и тем, и другим. Чтобы боль не сменилась наслаждением, а сплавилась с ним — в единый тёмный, кровавый узор, в ткань, которую можно соткать только из жестокости и нежности одновременно.

Он наблюдал. Неподвижно. Холодно. Как скульптор, который лепит из криков и содроганий нечто совершенное. Плеть висела вдоль его бедра, кончик мокрый от моей крови. Его лицо — точёное, жёсткое — не выдавало ничего. Но в глубине зрачков что-то тлело: азарт хищника, который загнал добычу и теперь наслаждается последними секундами перед тем, как сомкнуть челюсти. Он знал, что я на пределе. Что ещё удар — и я сорвусь. И он тянул это мгновение, смакуя мою агонию, впитывая каждую каплю моего отчаяния.

— Пожалуйста… — прошептала я голосом, которого не узнала. Хриплым. Рваным. Мокрым от слёз и желания. — Диамант… Прошу…

Он не ответил. Шагнул ближе. Обошёл меня кругом. Остановился за спиной. Я слышала его дыхание — ровное, контролируемое, — и ненавидела его за этот контроль. Кончик плети коснулся основания шеи и поехал вниз по позвоночнику — медленно, невесомо, как перо, как обещание, как приговор, написанный на коже. Дрожь прошла по всему телу, от затылка до щиколоток. Колени подогнулись. Мышцы тряслись. Я держалась только благодаря наручникам на перекладине — и эта беспомощность была слаще любой ласки.

— Что — «прошу»? — его голос скользнул по уху. Шёлк его волос коснулся моей щеки, и от этого невыносимо нежного прикосновения посреди всей этой жестокости меня пронзило насквозь — как клинком, вошедшим между рёбер. — Говори. Чётко. Чего ты хочешь? Чтобы я остановился? Или чтобы я показал тебе, насколько глубока эта тьма?

Я закрыла глаза. Собрала то, что осталось от воли. Выдохнула:

— Тебя. Хочу тебя. Сейчас. Без игр. Без границ. Войди в меня.

Тишина. Густая, такая, что можно потрогать, можно задохнуться. Она отрезала нас от мира, замкнула в пространстве, где существовали только двое, кровь и жажда. А потом — его руки. Уже не карающие. Горячие. Жадные. Почти отчаянные — так хватают то, без чего невозможно дышать.

Он резко развернул меня к себе. Плеть свистнула — и зажимы сорвались с сосков одним точным ударом. Кровь хлы-

нула в истерзанную плоть, и боль — последняя, самая острая, самая чистая — вспыхнула белым, а затем взорвалась наслаждением, которое прокатилось по телу сокрушительной волной, выбивая воздух из лёгких, мысли из головы, имя из памяти.

Его рот накрыл мой — грубо, властно, жадно, как я и мечтала. Он целовал так, будто хотел стереть все эти четыре месяца тоски, всё, что было до этой комнаты. Язык, зубы, вкус крови на его губах — моей крови. Его руки — на моих бёдрах, на пояснице, между ног — везде, сразу, безжалостно. И я отвечала с той же яростью, с тем же звериным голодом, с которым минуту назад принимала удары, потому что мы оба знали: боль и страсть — не две стороны монеты. Это одна и та же сторона. Отчеканенная в аду. И я приняла её целиком — если она идёт от него. В этом разрушении я нашла свою свободу. Своё наслаждение — тёмное, беспощадное, абсолютное. Моё.

2

Диамант сбросил безрукавку. Ткань соскользнула с плеч и упала на каменный пол. Потом — молния на штанах. Резкий металлический звук рассёк тишину, и я вздрогнула всем телом, будто этот звук прошёл не по ткани, а по мне — от горла до паха.

Его пальцы легли на мои бёдра. Горячие. Властные. Почти обжигающие — будто выжженные буквы его имени на моей коже. Моё дыхание принадлежало ему. Каждый вдох —

дар. Каждый выдох — повиновение. Он прижал меня к себе, и я ощутила его — целиком, всей поверхностью тела: жар его груди, твёрдость мышц, тяжёлое, ощутимое давление его возбуждения у моего живота. На мгновение мне показалось — сейчас. Сейчас он возьмёт меня, заполнит, сотрёт.

— Нет. Не так быстро.

Шёпот прозвучал как щелчок кнута. Он отпустил меня — и воздух между нами стал ледяным. Я не успела выдохнуть. Резкое движение — он освободил мои руки от оков. Металл лязгнул о камень, и звук оказался оглушительным в плотной, вязкой тишине, пропитанной потом и свечным жаром. Прежде чем я осознала свободу, его ладони надавили на мои плечи. Вниз. Колени ударились о каменный пол. Ледяной. Шершавый. Мелкая пыль въелась в кожу, мышцы свело от контраста — но внутри всё пылало. Дрожь не унималась — она проникала глубже, в кости, в кровь, в мозг.

— Если хочешь получить всё до конца — заслужи.

В его голосе — цинизм и чувственность, сплавленные воедино, как яд и мёд в одном кубке. Внизу живота всё сжалось ещё туже — предвкушение, смешанное с чем-то почти болезненным. Я подняла взгляд. Он стоял надо мной — обнажённый до пояса, с расстёгнутыми штанами, тёмные волосы падали на лоб, а в глазах горел не холод, а вызов. Не унижение. Игра. Игра, правила которой я выбрала сама, но диктовал — он. И я хотела играть. Хотела быть такой же беспощадной. Такой же тёмной.

Я медленно протянула руку. Коснулась его бедра — кожа обожгла, мышцы под ней твёрдые, жилистые, готовые к рывку. Пальцы скользнули вверх, вдоль рельефа пресса к ремню. Он не двигался. Но я чувствовала: дыхание участилось, пальцы у его бёдер едва заметно подрагивали. Эта дрожь. Эта маленькая, почти незаметная дрожь делала его не богом — мужчиной. Мужчиной, которого можно сломать.

Я резко дёрнула штаны вниз. Нижнего белья он не носил. Никогда. Его член — прямо передо мной, тяжёлый, большой, налитый, горячий даже на расстоянии. Я ощутила его запах — мускусный, густой, тёмный, пропитанный потом и возбуждением. Запах, от которого у меня сжалось всё — горло, живот, влажная, пульсирующая плоть между ног.

Я наклонилась. Коснулась губами внутренней стороны его бедра. Он вздрогнул. Короткий прерывистый вздох — без масок, без прикрас, голый, как нерв. Я улыбнулась. Значит, правильно. Значит, могу заставить его забыть собственное имя. Подняла глаза. В его взгляде — не только вызов. Восхищение. Удивление. И тёмный, звериный голод, от которого у меня подкосились колени. Я больше не боялась. Я хотела.

Мои губы обхватили его член — сначала головку, осторожно, пробуя на вкус солоноватую, горячую кожу, ощущая языком каждую пульсирующую вену. Потом — глубже. Увереннее. Я приняла его в себя, чувствуя, как он заполняет мой рот, как напрягается его тело, как из горла вырывается тихий, сдавленный звук — не стон, нет, — рык, подавлен-

ный сжатыми зубами. Мои пальцы впились в его бёдра, ногти оставили на коже белые полумесяцы, и он вздрогнул снова — резче, глубже.

Я двигалась ритмично. Нежность — напор. Медленно — быстро. Ведя его по краю, не давая сорваться, держа на грани, где наслаждение становится мукой. Язык скользил по всей длине — от основания к вершине, обводя, лаская, мучая. Его пальцы нашли мои волосы. Не толкали. Не направляли. Просто сжимали — крепко, почти до боли, — и это было красноречивее любых слов. Он одобрял. Наслаждался. Сдавался. Его дыхание стало рваным. Короткие глухие стоны вырывались из груди, как признания, вытянутые под пытками.

Я спустилась ниже. Язык скользнул по стволу, обвёл основание, и я коснулась губами его яиц — сначала одного, потом второго. Влажно, медленно, вбирая в рот, посасывая, ощущая, как кожа под моим языком натягивается, как они тяжелеют, наливаются. Он дёрнулся. Резко. Всем телом. Из горла вырвался звук — глубокий, утробный, почти животный. Его пальцы в моих волосах сжались сильнее, до боли в скальпе, и эта боль только разожгла меня. Я лизала его — долго, тщательно, не пропуская ни миллиметра, пробуя на вкус, запоминая. Он был горячий, солёный, живой. И то, как он реагировал — вздрагивал, сжимал мои волосы, дышал рвано и хрипло, — было лучшей наградой.

Я вернулась к члену. Обхватила губами, принимая глуб-

же, чем прежде. Помогала рукой — сжимала, двигала, чувствуя, как он пульсирует, как натягивается кожа. Головка касалась нёба, и я подавилась, но не отстранилась — наоборот, усилила напор. Глубже. Жёстче. Влажное, плотное давление языка. Он резко выдохнул, скрутил мои волосы в кулаке, запрокинул голову. Боль прошила скальп, но я лишь усилила всё — каждое ощущение, каждый нерв, каждый влажный, скользкий звук в тишине.

Его пальцы дрогнули. Он замер — на самом краю, прислушиваясь к чему-то внутри, к той черте, за которой возврата нет. Потом наклонился. Его губы коснулись моего уха.

— Сильвана. — Голос хриплый, сломанный, почти неузнаваемый. Страсть. Восхищение. Мольба. — Ты…

Он не договорил. Но я поняла. Он сдавался. Мне. Пусть на миг. Пусть не до конца. Но в этот миг он был — мой. У меня перехватило дыхание. По коже — волна жара, смешанная с ледяным холодом каменного пола, с шершавостью под коленями, с собственной влагой, текущей по внутренней стороне бедра. Реальность стала невыносимо яркой — каждая тень, каждый блик свечи, каждая капля пота на его животе. Я чувствовала, как нарастает напряжение в его теле, как оно перетекает в меня — дрожью в коленях, тяжёлой пульсацией между ног, стеснением в груди, словно каждая клетка ждала этого момента с рождения. Всё моё существо сосредоточилось на единственном ритме — нашем общем, — диком, безжалостном, прекрасном в своей темноте.

Он отстранился. Резко. Взял меня за подбородок — жёстко, почти грубо — и заставил поднять голову. Наши глаза встретились. В его взгляде не осталось ничего прежнего — ни холода, ни отстранённости, ни расчёта. Только голод. Только я. Зрачки расширены, радужка — узкое тёмное кольцо, и в этом кольце — целая вселенная, принадлежащая мне.

— Достаточно.

Слово прозвучало хрипло — как приговор и как благословение.

— Встань.

Он поднял меня. Руки скользнули по плечам, по спине, по пояснице — притягивая, удерживая. Я прижалась к нему всем телом — его жар, его дрожь, его член, твёрдый и влажный от моих губ, прижатый к моему животу. Его кожа пылала. Я впитывала это тепло, позволяя ему выжечь изнутри всё — холод, страх, одиночество.

— Ты заслужила, — выдохнул он мне на ухо, и от этих слов по позвоночнику прокатилась волна, от которой подкосились колени. В груди расцвело что-то огромное, тёмное, почти невыносимое — триумф, гордость и желание, которое больше не нуждалось в словах. — Всё. До конца.

Его губы нашли мои. Не грубо — жадно. Отчаянно. Я почувствовала на его языке собственный вкус, и от этого внутри что-то оборвалось и вспыхнуло одновременно. Я ответила с тем же голодом, с той же яростью, с которой только что стояла перед ним на коленях, — зная, что теперь мы играем

вместе.

3

Я едва успела вдохнуть — Диамант перевернул меня. Не попросил. Не предупредил. Его ладони — горячие, безжалостные — впились в плечи, прошлись по позвоночнику, сгребли за бёдра и развернули одним рывком, как зверь переворачивает добычу. Воздух вышибло из лёгких. Сердце споткнулось. Он направлял моё тело так, как хотел, — молча, властно, с точностью хищника, который не спрашивает разрешения. Который берёт.

Колени ударились о камень. Ладони — следом. Мурашки хлынули вдоль позвоночника, стянули кожу на лопатках. Камень под пальцами — шершавый, пыльный, пропитанный чужими криками, чужой болью, чужой похотью. Этот пол помнил всё. Теперь запомнит и меня.

Диамант замер. Я ощутила его взгляд — не увидела, а именно ощутила. Он стекал по изгибу спины, задерживался на пояснице, скользил по напряжённым бёдрам. Тяжёлый. Осязаемый. Жадный. Будто из его зрачков сочилась тьма и ложилась на мою кожу чёрным воском, клеймила без огня. Секунда растянулась в вечность. Ожидание сгустилось вокруг нас, спрессовало воздух до состояния патоки — горячей, пропитанной запахом пота, железа, мускуса и моей собственной влаги. Комната дышала вместе с нами. Стены слушали.

Удар. Ладонь обрушилась на ягодицу — сухо, с коротким

мясным звуком, от которого по пространству прокатилось эхо. Я вскрикнула. Не от боли. От того, как точно боль легла на удовольствие — раскалённой монетой на открытую рану. Электрический разряд прошил тело от копчика до затылка, выгнул позвоночник. Второй. Сильнее. Третий — ещё сильнее. Кожа вспыхнула, запульсировала, налилась жаром. Каждый удар вколачивал в меня что-то тёмное, что-то древнее — то, что живёт ниже разума, ниже стыда, ниже имени. Пламя растеклось по венам, вскипятило кровь, превратило дыхание в рваные хрипы.

Я выгнулась навстречу его руке, подалась назад, раскрылась. Боль стала языком. Единственным, на котором моё тело могло сказать: ещё.

За спиной — его дыхание. Частое, тяжёлое, рваное, пробивающееся сквозь стиснутые зубы, почти рык. Пальцы впились в мои бёдра — десять раскалённых точек, десять будущих синяков, лиловых, как печати.

Он замер на долю секунды — я почувствовала это по тому, как воздух между нами натянулся и зазвенел. Он больше не играл. Правила сгорели. Осторожность — сгорела. Осталась только голая, звериная потребность — наша общая, неразделимая, — как буря, которая не разбирает, что ломать.

Он вошёл — резко, глубоко, до упора.

Мир треснул. Перед глазами вспыхнуло белое, слепящее, и я впилась ногтями в камень, пытаясь удержать реальность,

но она уже разлеталась на осколки ощущений. Его руки на бёдрах — железные тиски. Его движения — жёсткие, глубокие, беспощадные, как удары кулаком в грудную клетку, только изнутри. Каждый толчок прокатывался по телу волной жидкого огня, стекал вниз, скапливался в тугой, раскалённый узел между бёдер. Всё, что существовало, — это он. Его сила. Его член внутри меня — твёрдый, горячий, безжалостный. Я растворялась. Теряла имя, теряла кожу, становилась частью чего-то тёмного — тьма наконец принимала меня, и я раскрывалась ей навстречу.

— Диамант… — голос не мой. Хриплый, сорванный, мокрый, будто слова продирались сквозь горло, обдирая стенки.

Он ответил не словами — стоном. Звуком, который шёл не из горла, а из груди, из живота, из той же тьмы, что жила в нём. Пальцы сжались на бёдрах до белых костяшек, движения стали яростными, рваными, почти отчаянными — он догонял что-то, что уже ускользало, ловил секунду, которая становилась прошлым. Я выгибалась навстречу каждому толчку, насаживалась на него, хотела глубже, жёстче, больнее — хотела слиться, срастись, стать одним телом, одной содранной кожей, одним хрипом.

Кульминация накатила — не волной, а обвалом. Пульсация заполнила каждый нерв, каждый сосуд, отдалась в висках, в пальцах, в пересохших, искусанных губах. Разум отключился. Остался только инстинкт — голый, слепой, жадный. Всё сжалось. Мышцы живота свело судорогой. Паль-

цы на ногах скрючились. Спина выгнулась так, что хрустнуло — будто тело ломало себя, чтобы переродиться. Из горла вырвался крик — долгий, протяжный, нечеловеческий, свободный от всего: от стыда, от имени, от собственного лица. Тело тряслось, спазмы прокатывались волнами, дыхание оборвалось, а потом вернулось рваным, мокрым хрипом — как у утопленницы, которая вынырнула не в воздух, а в новую глубину.

Пот стекал по вискам, мешался с пылью, въедался в кожу солёной грязью. Мышцы обмякли, стали чужими, ватными, лишёнными воли. И тогда я почувствовала — он тоже на краю. Его движения сломались, потеряли ритм, стали судорожными, отчаянными, как хватка человека над пропастью. Он вжался в меня — глубоко, до боли — замер на мгновение, на самом острие —

— Сука… — выдохнул он.

Не оскорбление. Молитва. Единственное слово, которое тьма внутри него выпустила наружу, — хриплое, рваное, полное всего, что он держал под замком. Признание, исторгнутое из-под рёбер. Несколько секунд мы не двигались. Дышали — тяжело, рвано, в унисон. Тело ещё пульсировало, ещё вздрагивало от отголосков, будто нас продолжало бить током после того, как цепь уже разомкнули. Его пальцы медленно разжались на моих бёдрах, губы коснулись моего плеча.

Я сползла на пол и перевернулась на спину. Потолок плыл.

Диамант опустился рядом — грудь ходила ходуном, по рёбрам стекали тёмные дорожки пота, смешанного с пылью, будто каменные слёзы. Он повернул голову и посмотрел на меня. Цинизма не было. Холода — не было. Насмешки — не было. Только усталость. Только страсть, догорающая в зрачках.

Я подняла руку. Провела пальцами по его скуле — осторожно, едва касаясь, как трогают трещину в стекле. Он перехватил мою ладонь, поднёс к губам. Поцеловал — коротко, сухо, но с такой неожиданной трепетностью, что у меня перехватило горло. В этом жесте было всё, что он никогда бы не произнёс вслух: благодарность, уязвимость, признание — не менее обнажённое, чем то, что сделали наши тела.

Мы лежали молча. Близко. Кожа к коже. Соединённые не только потом и усталостью, а чем-то большим — общим ритмом, общим дыханием, общей тьмой, которая больше не пугала, а укрывала, как шкура зверя, ставшего ручным. Воздух густел, остывал, и в нём появлялось что-то новое — тепло без огня, тишина без пустоты, ощущение, что битва окончена и неважно, кто победил.

Диамант приподнялся на локте. Посмотрел сверху вниз. Усмехнулся — но мягче, чем раньше, с усталостью в уголках глаз, которая делала его почти человечным.

— Ну что, — голос севший, низкий, — заслужила?

Я улыбнулась. Устало. Счастливо. Каждая клетка гудела покоем — тем особенным покоем, что наступает после

шторма. Не мёртвая тишина. Живая. Дышащая. Моя.

— Да, — прошептала я. — Всё. До конца.

4

Я смотрела, как Диамант поднимается. Неторопливо.

Пальцы скользили по ширинке — застегнули молнию. Каждое движение было выверенным, спокойным. Будто то, что минуту назад выламывало меня изнутри, было для него не более чем размять шею после сна. Рутина. Привычка тела. Хотя — для него так оно и было.

Мысль впилась под рёбра, как осколок стекла. Я ощутила её физически — тупую, жгучую тяжесть, растекающуюся от грудины к горлу. Сколько таких, как я? Сколько тел лежало на этом же полу, в этой же позе — мокрых, разломанных, задыхающихся? Память услужливо вытащила его голос, тот самый — с ленивым цинизмом, с привкусом скуки: «На двухсотой я перестал считать. Мне тогда было семнадцать. С тех пор… добавилось значительно больше».

Я тогда усмехнулась. Изобразила равнодушие. А внутри что-то хрустнуло — тихо, как тонкая кость, — и ледяные пальцы сомкнулись вокруг сердца.

Он повернулся. Свет упал на его лицо — резко, наискось, высекая тени под скулами, обрисовывая жёсткую линию челюсти. Тёмные волосы, влажные у висков, прилипли к коже. Глаза — непроницаемые, как подёрнутая ледком вода.

— Нужно смыть кровь. — Голос ровный, деловитый. — Негигиенично.

Вот так. Ни перехода, ни паузы. Секунду назад его зубы впечатывались в мою шею — а теперь он говорил о гигиене, как врач на осмотре. Меня качнуло, когда я попыталась встать. Голова поплыла — не от слабости, от перепада: раскалённое — в ледяное. Пол дёрнулся из-под ступней, колени подломились, и я вцепилась в стену — ногтями по холодному камню. Кожа на запястьях горела от наручников. Между бёдрами — влажно, горячо, саднило. Я была открыта. Разобрана. Беспомощна.

— Не мучайся.

Два шага. Его руки подхватили меня — под колени, за спину, — и он поднял меня так легко, будто я весила не больше сброшенного платья. Но прикосновения изменились. Жёсткость, которая минуту назад вминала меня в пол, исчезла.

Я прижалась щекой к его груди. Под кожей — размеренный, тяжёлый удар сердца. Ни сбоя, ни учащения. Он не волновался. Он никогда не волновался. От его тела шёл жар — сухой, звериный, — и в нём тонули ноты гвоздики и тёмной корицы. Я закрыла глаза, втянула запах глубже, впуская его в лёгкие, в кровь, в ту часть памяти, которая будет мучить меня потом ночами. Аромат обволакивал, убаюкивал, подбрасывал крохотный огонёк надежды — и я тут же давила его, как давят искру каблуком.

Он вынес меня из потайной комнаты. Из темноты — в свет. Из мира, где время сворачивалось в спираль боли и на-

слаждения, — в его спальню, где всё было нестерпимо обычным. Шёлк покрывала. Холодный блеск зеркал. Чистый, стерильный воздух без привкуса крови и пота. Пространство отторгало меня — отстранённое, чужое, — и напоминало: ты здесь гостья. Ты здесь эпизод.

Ванная. Белый кафель. Свет — яркий, хирургический. Диамант опустил меня на ноги возле душевой. Мои ступни коснулись гладкого пола — холод прошил до позвоночника. Он потянулся к крану, повернул, и тёплые струи ударили по дну кабины, заполнив пространство мягким, монотонным шумом. Этот звук отчего-то сделал одиночество невыносимым — словно стена из воды отрезала меня от всего, что было минутой раньше.

— Справишься сама? Или помочь?

Он отступил на шаг. Отстранился. Физически — на расстояние вытянутой руки. Эмоционально — на световые годы. Я выпрямилась. Расправила плечи. Стиснула зубы, натягивая на лицо подобие спокойствия. Не сейчас. Не перед ним. Если он увидит, как меня трясёт, если уловит хоть тень того, что билось в рёбрах, рвалось наружу, — он развернётся и уйдёт. Оставит меня здесь. Одну с содранной кожей, мокрыми глазами и запахом гвоздики на теле.

— Справлюсь сама.

Голос — ровный. Почти. Диамант кивнул. Отошёл к дальней стене, опустился на низкий пуф — расслабленно, по-кошачьи, закинув ногу на ногу. Достал пачку сигарет, выбил

одну, щёлкнул зажигалкой. Он смотрел на меня. Не как раньше — не с голодом, не с властью. Иначе. С какой-то тяжёлой, задумчивой нежностью, от которой внутри всё путалось и сердце начинало частить.

Я шагнула под воду. Тёплые струи обрушились на плечи, потекли по спине, по рёбрам, по бёдрам. Розовые разводы поползли к сливу — кровь, пот, его слюна, мои слёзы, — всё смешивалось и уходило, закручиваясь в воронку. Я провела ладонями по коже — медленно, как слепая, читающая собственное тело заново. Вот здесь — синяк от его пальцев. Здесь — след зубов. Здесь — содранная кожа от верёвки. Мышцы расслаблялись нехотя, дыхание выравнивалось, но мысли — мысли не отпускали.

Он уедет.

Голос внутри — тихий, безжалостный. Он уедет. А ты останешься. С воспоминаниями. С болью. С призраком запаха гвоздики на подушке, который будет являться в три часа ночи и выдирать тебя из сна.

Я отвернулась, подставив лицо под струи. Вода заливала глаза, губы, и я не могла понять — то ли плачу, то ли просто мокрая. Пальцы дрожали, когда я касалась собственного горла — там, где недавно лежала его ладонь.

«Не смей. Не смей ничего говорить. Проглоти. Задави. Сожми зубы».

Но слова выскользнули — как кровь из раны, которую не успели зажать:

— Я буду скучать по таким моментам, когда ты уедешь…

Голос сломался на последнем слоге. Я замерла. Перестала дышать. Вода стекала по лицу, и тишина за ней была оглушительной.

«Глупо. Безнадёжно глупо. Зачем».

— Ну, знаешь… — я судорожно подбирала осколки, склеивала небрежный тон. — Острые ощущения. Адреналин. Такое сложно найти.

Прикусила язык. До крови. Металлический привкус заполнил рот — знакомый, резкий, как напоминание: четыре месяца назад ты уже раскрылась. Ты уже говорила ему — честно, отчаянно, всем нутром, — и он отшвырнул это, как использованную вещь. Он презирает слабость. Он презирает чувства. Он презирает всё, что не поддаётся контролю.

Я опустила голову. Спрятала глаза за мокрыми прядями. Вода била по затылку, по плечам, по спине — безразлично, монотонно. Я чувствовала его взгляд — тяжёлый, как ладонь на загривке. Он прожигал кожу сквозь пар и воду, сквозь расстояние, сквозь все мои жалкие щиты. Звук затяжки. Медленный выдох.

Он долго молчал. Смотрел сквозь сизую пелену, и в его глазах двигалось что-то, чего я не умела прочитать, — то ли изумление, то ли решение, которое рождалось прямо сейчас, в эту растянутую, невыносимую секунду. Моё сердце остановилось.

— Тебе не придётся скучать.

Его голос — непривычно тихий. Мягкий. Ласковый — и от этой ласки по коже прошла дрожь сильнее, чем от любого удара.

— Ты летишь со мной.

Глава 6

Глава 6.
Ночной Портье

«Это не история о жестокости. Это история о власти и подчинении, о двух людях, спаянных прошлым намертво. О том, как влечение прорастает сквозь боль, как лоза сквозь трещину в стене».

Сильвана
1

Его слова всё ещё звучали во мне — вибрировали где-то в рёбрах, в горле, в кончиках пальцев. «Ты летишь со мной… летишь со мной…» Я закрыла глаза и позволила себе утонуть: в этом звуке, в жаре, что растекался от солнечного сплетения вниз — к животу, к бёдрам. И всё равно боялась поверить. Впервые за долгие месяцы я чувствовала что-то, кроме пустоты. Надежду. Настоящую, живую. Она прорастала сквозь слои горечи и страха, как первый весенний росток сквозь растрескавшийся асфальт.

А потом — ледяным потоком — память. Четыре месяца назад. То утро. Я помнила всё: косой солнечный луч на паркете, запах его одеколона, свою безумную, задыхающуюся надежду. И его голос — ровный, безразличный, с ленивой

ноткой насмешки, будто он отпускал прислугу.

— С тобой было весело. Ты действительно иногда меня развлекала — больше, чем кто-либо за последнее время. Во дворе тебя будет ждать машина, водитель отвезёт куда скажешь.

Так спокойно. Так буднично. Словно речь шла о погоде, а не о том, чтобы вырезать меня из своей жизни. Я помнила, как сидела в кресле — позвоночник прямой, а по щекам текли слёзы, и я даже не пыталась вытереть. Помнила, как внутри всё трескалось — крупно, медленно, как лёд на реке весной. Как пол уходил из-под ног. Как уходила я сама — через коридор, мимо его охраны, в чёрный лимузин у входа, — и с каждым шагом что-то во мне гасло. Любовь. Надежда. Часть меня, которую я оставила там, рядом с ним. Бесхозную. Ненужную.

И теперь — «Ты летишь со мной». Как будто ничего не было. Как будто те слова не вспарывали меня, не оставляли рубцов, которые до сих пор ноют при малейшем прикосновении памяти. Сердце сжалось — коротко, зло, до боли в рёбрах. Если он сделает это снова — если снова стряхнёт меня с себя, как пепел с сигареты, — это убьёт меня. Не метафорически. По-настоящему. Что-то внутри сломается окончательно, и я уже не соберу себя обратно. Не смогу больше притворяться сильной. Не смогу больше притворяться живой.

Вода струилась по плечам — тёплая, почти ласковая, —

но я не чувствовала ничего, кроме собственного пульса. Мысли сталкивались, рвали на части. Одна половина кричала: «Да! Хватайся! Это твой единственный шанс!» Другая шептала — тихо, ядовито, трезво: «Остановись. Ты знаешь его. Он не меняется. Он не умеет меняться. Это закончится тем же — тобой, плачущей в чужой машине».

Слова уже стояли на языке — «Да, я поеду» — я даже открыла рот, и воздух обжёг губы. Но перед глазами вспыхнуло: его лицо — красивое, равнодушное, слегка скучающее. «Ты действительно иногда меня развлекала». И тишина, от которой звенело в ушах.

Нет. Твёрдо. Как дверь на засов. Не повторяй.

— Извини… Я никуда не поеду.

Голос вышел тихий — едва слышный за шумом воды. Но в кафельных стенах ванной он прозвучал оглушительно, как приговор. Диамант замер. Спина напряглась — я видела, как мышцы на обнажённом торсе на мгновение каменеют. Я ждала удара — резкого, обидного, окончательного. Ждала подтверждения: я для него — эпизод, мимолётная забава, красивое тело в его коллекции.

Но он обернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то незнакомое. Не раздражение. Не холод. Удивление — глубокое, настоящее, — будто породистый хищник впервые увидел, как добыча оскалилась в ответ.

— Обсудим позже. Когда выйдешь. — Он поднялся, и воздух сгустился вокруг его фигуры — высокой, занимаю-

щей слишком много пространства. — Жду в спальне.

Дверь щёлкнула за его спиной. Тихо. Аккуратно. Так закрывают, когда сдерживают себя. Тишина. Шум воды. Моё рваное дыхание. Капли — по дну душевой кабины — раз, два, три… Как обратный отсчёт.

Больше всего на свете я хотела поехать с ним. Хотела — животно, нутряно, всем телом. Представляла: его рука на моём бедре утром, тяжёлая, собственническая. Его дыхание в моих волосах — горячее, сонное. Как мы просыпаемся в одной постели, и он смотрит на меня — не сквозь, не мимо, а на меня — и в его глазах я вижу себя, а не пустоту. Как пьём кофе на террасе, и его пальцы касаются моего запястья — рассеянно, привычно, — и от этого жеста внутри всё переворачивается. Хотела верить, что на этот раз он увидит во мне не развлечение — женщину. Ту, которую стоит удержать.

Но страх. Холодный. Липкий. Он шептал: «Он уже это делал. Он сделает снова. Ты останешься одна — с разбитым нутром и воспоминаниями, которые будут жечь. Будешь лежать ночами без сна, вспоминая его руки, его запах, его голос — и понимать, что всё это больше не твоё. Никогда не было твоим».

Я провела ладонью по лицу. Вода — или слёзы. Солёное на губах. Неважно. Пальцы сжались на краю стеклянной перегородки — до побелевших суставов. Глубокий вдох. Ещё один. Но мысли разбегались — стайкой вспугнутых птиц: «А что, если в этот раз — правда? Что, если он действительно

хочет, чтобы я была рядом? Что, если это не игра?»

Где-то в глубине — под страхом, под болью, под обидой — я знала: если Диамант что-то решил, он это сделает. Он не из тех, кто просит. Он говорит. Не уговаривает — забирает. И если он сказал «ты летишь со мной», значит, так оно и будет. Вопрос только во мне. Готова ли рискнуть. Готова ли снова открыться — зная, что он может разорвать.

Вода текла и текла, смывая следы — чего? Прошлого? Стыда? Страха? Но что дальше? Новая рана — или начало? Я закрыла глаза. Прислушалась. Где-то очень глубоко, под всеми слоями — упрямое, горячее, несгибаемое. Не надежда даже. Голод. По жизни. По нему. По чему-то, что могло бы стать настоящим.

Кран повернулся с протяжным скрипом. Я вылезла из ванной, вытерлась. Натянула халат — махровая ткань царапнула влажную кожу. Подошла к зеркалу. Бледная. Тёмные тени под глазами — как синяки. Губы дрожали. Мокрые волосы облепили шею, ключицы — светлыми змейками.

В глазах что-то изменилось. Там больше не было покорности. Там был вызов. И ещё — робкая, едва различимая, упрямая искра.

Диамант

1

Я аккуратно закрыл дверь ванной. Опустился в кресло. Достав сигарету, щёлкнул зажигалкой. Пламя дрогнуло. Я смотрел на него долго — так долго, что перед глазами по-

плыли тёмные пятна. Маленький жёлтый язык, бьющийся в стальной пасти зажигалки, — и в этом было что-то правильное. Наконец я поднёс огонь к сигарете, втянул дым — горький, плотный, царапающий горло — и выпустил его в потолок. Сизые кольца расплылись в полумраке и растворились без следа.

Я не ожидал, что Сильвана откажется. Её тихое «Извини… я никуда не поеду» до сих пор стояло в ушах — как фальшивая нота посреди безупречной мелодии. Мир на мгновение сбился с ритма. С моего ритма. Но её отказ не имел значения. Я всегда получал то, что хотел. Ещё не было случая — ни одного, — чтобы кто-то встал у меня на пути и устоял.

Я затянулся снова, рассеянно наблюдая, как дым ложится слоями в неподвижном воздухе. До последнего момента я не собирался брать её в Леброн. Даже когда вёз сюда — хотел просто развлечься напоследок. Вспомнить старые времена, когда удовольствие было чистым, незамутнённым, когда оно не путалось с какой-то нелепой сентиментальной дрянью. Но потайная комната всё изменила.

Она не такая, как остальные. Её боль — не инструмент. Она не терпит — она принимает. Впитывает. Живёт этим. В её глазах, когда я бил, — не покорность жертвы, а что-то другое. Почти безумный восторг, от которого у меня самого перехватывало дыхание. И в этой уязвимости, в этой жадной потребности быть разрушенной — сила. Настоящая, звери-

ная сила, способная вывести нас туда, куда я ещё не заходил ни с кем. Туда, где границы стираются. Где боль и наслаждение сплавляются в единый раскалённый поток, а страсть мешается с чем-то большим — почти пугающим в своей откровенности. Партнёрша, с которой можно заглянуть за грань. И шагнуть дальше. Мы оба этого хотели. Пока она не испортила всё разговорами о чувствах.

Как же это по-женски — всё усложнять. Романтизировать. Искать смысл там, где есть только плоть, жар и тьма. Но я не позволю ей разрушить то, что едва начало складываться. Пока она так реагирует на боль — она останется со мной. Потому что я так решил. Потому что мне нужна именно такая игрушка. Ничего больше. К тому же я нужен ей не меньше, и в глубине души она это знает: без меня её жизнь — пустая оболочка, серая, лишённая единственного, что делает её живой.

Дверь ванной тихо открылась. Я поднял взгляд. Сильвана стояла на пороге — в белом халате, наброшенном на мокрое тело. Влажные волосы прилипли к вискам. Лицо бледное, почти восковое, тени под глазами — глубокие, как синяки. Но глаза были другие. В них больше не было покорности. Там был вызов.

Что-то горячее шевельнулось у меня внизу живота. Я должен был сломать это упрямство — как ломал всегда. Потому что сопротивление — лучшая часть игры. А я любил игры. Особенно те, где правила писал я.

— Я могу узнать причины твоего отказа? — спросил я.

Голос прозвучал ровнее, чем я себя чувствовал. Внутри бурлила смесь раздражения и любопытства.

Она замялась. Опустила взгляд на свои босые ноги — бледные, с проступающими венами на подъёмах, — потом снова подняла его на меня. В зрачках мелькнула растерянность.

— Колтрейн — это моя родина, — начала она тихо. — Здесь моя жизнь. Здесь всё, что у меня есть.

— Ответ не принят.

Я не повысил голос. Не было нужды. Слова упали между нами, как лезвие на стол.

— Тебя здесь ничто не держит, и мы оба это знаем. Попробуй ещё раз. И на этот раз — что-нибудь поубедительнее.

— Рэйн и Мия, — выдохнула она, и что-то в её лице сломалось, обнажив нерв. — Их родители погибли от рук наёмников Теда. У этих детей никого нет. Я не могу их бросить.

Она замолчала, глядя мне прямо в глаза. Столько боли в одном взгляде — настоящей, не разыгранной, — что я на мгновение забыл, зачем злился. Она действительно заботилась о них. Мысль мелькнула и тут же отбросилась — как сбрасывают с кожи севшее насекомое.

— И снова мимо, — я усмехнулся, возвращая прежний тон. — Мы возьмём их с собой. Будут жить при дворе, ни в чём не нуждаясь. Поверь, свобода Леброна понравится им куда больше этой колтрейнской грязи.

Затянулся. Выпустил дым.

— Последняя попытка, Сильвана.

Она вздрогнула — всем телом, как от удара, — но не отступила. Смотрела на меня, и в этом взгляде я видел всё разом: страх, боль, упрямство, сцепленные намертво, как пальцы того, кто висит на краю обрыва. Завораживающее зрелище.

Молчание затянулось. Я не торопил. Пусть скажет правду. Пусть покажет то, что прячется за хрупкостью, за влажными ресницами, за дрожащими пальцами. Я хотел увидеть её настоящую — без масок, без щитов. Хотел, чтобы она перестала прятаться даже от самой себя.

Я затянулся в последний раз. Затушил сигарету в пепельнице — вдавил окурок с такой силой, что стекло скрипнуло под пальцами. Поднялся. Сделал шаг к ней. Она не отступила. Я видел, как ей хотелось это сделать — как мелко дрожали её пальцы, как напрягались сухожилия на шее, — но она держала спину прямо. Полы халата чуть разошлись на груди, обнажив ключицы и тонкую полоску кожи между ними — влажную, розоватую от горячей воды. Запах мыла, мокрых волос и чего-то ещё — её собственный запах, тёплый, с горьковатой нотой страха — ударил в ноздри.

— Сильвана, — сказал я тише, почти на выдохе, склоняясь к её лицу так близко, что видел крошечные капли воды на её скулах. — Ты можешь врать себе сколько угодно. Но мне — не стоит. Я вижу тебя насквозь. Я знаю, что ты хо-

чешь поехать со мной. Так почему сопротивляешься?

Я почти коснулся её губ. Чувствовал её дыхание — частое, горячее, сбивающееся. Видел, как билась жилка на шее — тонкая, напряжённая, пульсирующая, — и мне хотелось прижать к ней большой палец. Просто чтобы почувствовать этот бешеный ритм под кожей. Она пыталась найти слова. Новые отговорки, новые стены. Но я уже видел правду в её расширенных зрачках: она хотела этого. Хотела так же отчаянно, как и я. Просто боялась признать — и эта борьба, последний обречённый рубеж сопротивления, возбуждала меня сильнее, чем любая покорность.

Сильвана

1

Я подняла голову. Диамант смотрел на меня в упор — и в этом взгляде не было ничего человеческого. Только сталь. Уверенность человека, привыкшего, что мир прогнётся. Тьма, принявшая облик мужчины и давно решившая, что жалость — излишество. Но глубже, за этой бронёй, пряталось другое — тихое, терпеливое ожидание. Словно он давно знал, что я сдамся, и ждал, когда перестану сопротивляться и скажу правду.

Лгать тому, кто видит тебя насквозь, не просто бесполезно. Это унизительно. Каждая клетка моего тела сопротивлялась, отказываясь произносить слова, которые обнажат меня сильнее любой наготы.

— Я не хочу, чтобы ты снова выкинул меня из своей жиз-

ни.

Голос прозвучал чужим. Ломким, как треснувшая кость.

— Когда я тебе надоем. Когда найдёшь кого-то ещё. Когда стану… ненужной.

Каждое слово выходило из горла медленно, как осколок стекла. Диамант пожал плечами.

— Если бы ты мне надоела, я бы не предлагал тебе ехать со мной, — голос ровный, холодный, отполированный до хирургического блеска. Ни тепла. Ни злости. Только факт, поданный с бесстрастностью человека, привыкшего, что его слова — закон. — Неужели ты до сих пор этого не поняла?

Слова ударили по оголённым нервам. Я не отвела взгляда, хотя внутри всё вибрировало.

— Тогда почему… четыре месяца назад ты прогнал меня? — голос дрогнул на последнем слове. Предательски. Непростительно. — И сказал именно эти слова — «с тобой было весело»?

Он усмехнулся. Коротко, сухо — оскал, а не улыбка. Что-то хищное мелькнуло в линии рта, в прищуре глаз, в том, как свет упал на острые скулы.

— Даже то, что произошло, трудно назвать изгнанием, — произнёс он. — И я не собираюсь просить прощения. Я не вышвырнул тебя среди ночи в никуда. Машина с водителем. Карта без лимита. Ты могла поехать куда угодно и жить как угодно.

Он посмотрел мне прямо в глаза — так, что воздух стал

вязким.

— И все эти четыре месяца я знал, где ты находишься.

Знал. Всё это время — знал. Мысль обрушилась, как удар под дых. Зачем? Зачем следить за человеком, который тебе безразличен? Прежние выводы рассыпались, как пепел, и на их месте осталась звенящая пустота. Во рту пересохло. Я спрятала руки за спину — инстинктивно, жалко, как зверёк, прячущий раненую лапу. Сердце колотилось о грудную клетку — рвано, неровно. Внутри проклёвывался крошечный росток надежды — и тут же захлёбывался страхом. А вдруг это просто игра? Очередной виток его безупречной, ледяной логики, где мои чувства — переменная, которую можно вычеркнуть?

— Скажу откровенно: я не собирался с тобой видеться, — добавил он. Голос ровный, как линия горизонта. — Если бы не экстренная ситуация, если бы тебя не пришлось спасать, мы вряд ли встретились бы снова. Скажу больше: даже привезя тебя сюда, я не планировал брать тебя в Леброн. Мне хотелось просто провести с тобой время перед отъездом.

Он помолчал. Одна секунда. Две.

— Но теперь я передумал.

Каждое слово — удар плетью по голой коже. Невидимые рубцы поверх настоящих. Я сжимала пальцы за спиной, пытаясь унять пульс, который бился в висках, в кончиках пальцев, в пересохших губах. Боль мешалась с недоумением, а где-то в самой глубине — горькая, обжигающая благодар-

ность: он хотя бы не лгал. Говорил прямо, жёстко, безжалостно. Правду. Как и всегда. Правда — его единственная форма уважения.

Он откинулся в кресло — тяжело, по-хозяйски. Скрестил руки на груди. Посмотрел на меня в упор — и этот взгляд был физической силой, давлением, которое вжимало меня в пол.

— В том, что случилось тогда, виновата ты сама, — голос стал жёстче. — Я терпеть не могу разговоров о чувствах. И, по-моему, довольно ясно дал это понять ещё тогда, когда ты спрашивала меня о количестве партнёрш. Своим признанием ты меня взбесила.

Он подался чуть вперёд.

— А я говорил тебе: те, кто играют не по правилам, — проигрывают.

Мысли путались, наползали друг на друга рваными краями: он знал, где я… мог связаться… но не стал… четыре месяца тишины… пока не возникла «экстренная ситуация»…

— Правила? — едва слышно. Шёпот в тишине комнаты — как капля крови на белой простыне.

— Да. Правила, — он чеканил каждый слог. — Теперь ты сама убедилась, что бывает, если их нарушить. Но я сделаю исключение. Один раз. В Леброне мы начнём всё сначала. С чистого листа.

Его глаза сузились.

— Но помни: ты больше не заговариваешь о чувствах. Ни-

когда. Это единственная тема, которая находится под запретом.

Он произнёс это, как приговор. Точка — окончательная, бесповоротная, и её лезвие прошло по самому больному, самому живому во мне. Я поняла: он не шутил. Не проверял. Не играл. Для него чувства — граница, за которой начинается наказание. Внутри бушевало. Хотелось закричать: «Но чувства есть! Они никуда не денутся, сколько бы ты их ни запрещал! Ты можешь запретить мне говорить о них, но не можешь запретить мне чувствовать!» Хотелось напомнить, как он смотрел на меня сегодня — не как на вещь, не как на игрушку. Как держал на руках. Как сказал: «Ты летишь со мной» — и в этих трёх словах было что-то, что не вписывалось в его собственные правила. Или мне хотелось это видеть. Хотелось так отчаянно, что я уже не отличала реальность от желания.

Я закрыла глаза. В темноте под веками вспыхнули картинки — обжигающие, острые: его руки, подхватившие меня, вынесшие из той комнаты, где время теряло смысл. Его силуэт рядом, пока я стояла под душем — сломанная, мокрая, дрожащая. Был ли в этом намёк на тепло? Или это просто его метод — сломать, подлатать, а потом сломать снова, глубже и точнее?

Я молчала. Понимала: одно лишнее слово — и он замкнётся. Или, что хуже, оттолкнёт окончательно. И тогда не будет никакого «в Леброн». Никакого «начнём сначала». Ни-

чего.

— Хорошо, — прошептала я, и даже это короткое слово обожгло горло. — Я поняла. Никаких разговоров о чувствах.

Диамант кивнул. Коротко. Удовлетворённо. Так кивают, принимая капитуляцию.

— Умница, — почти одобрительно. В этом слове ласка и унижение были сплавлены воедино. — Так будет лучше. В первую очередь для тебя.

Он встал, шагнул ко мне. Протянул руку. Я колебалась. Одну секунду. В этой секунде умещалась вся моя прежняя жизнь — все надежды, все страхи, все ожоги, все шрамы. А потом я вложила свою ладонь в его. Его пальцы сомкнулись — крепко, властно, собственнически. Не приглашение. Констатация. Он уже решил, что я никуда не денусь, и моё согласие было лишь формальностью — красивым жестом, который он позволил мне совершить.

И, может быть, он был прав. Может быть, я действительно никуда не денусь. Потому что, несмотря на все его условия — на жёсткость, на запрет, который вспарывал меня изнутри, — я всё равно хотела быть рядом. Хотела верить, что на этот раз будет иначе. Что за его холодом прячется что-то живое.

— В Леброн, значит, — сказала я. Голос ровный. Ни одной трещины. Я держала его, как держат стакан с водой на краю стола: осторожно, почти не дыша.

— В Леброн, — подтвердил он.

Улыбка тронула уголок его рта — нешироκая, хищная, с привкусом предвкушения. Так улыбаются перед первым глотком чего-то крепкого.

— И да, Сильвана… — он чуть наклонил голову, и свет упал на скулу. — Постарайся не разочаровать меня.

Я кивнула.

— Постараюсь.

Слово вышло суше, чем я хотела. Обглоданное до кости. А внутри уже шевелилось сомнение — холодное, липкое. Что, если за этим проблеском — пустота? Что, если я придумала свет там, где его нет? Я опустила взгляд на его руку, всё ещё сжимавшую мою. Бледная кожа, длинные пальцы — пальцы, которые умели и удерживать, и ломать. Тепло его ладони просачивалось в мою.

Если я сейчас отступлю — не узнаю никогда. Я сделала вдох. Глубокий. Такой, от которого рёбра раздвигаются и в груди становится больно.

— Я готова попробовать.

Голос не дрогнул. На этот раз — не дрогнул.

Хотя бы ради того, что мелькнуло сегодня в его глазах — сырое, незащищённое, на долю секунды, прежде чем он снова задёрнул шторы. Ради того, как он произнёс «Ты летишь со мной» — не спрашивая, не предлагая, а утверждая, будто моё место рядом с ним было решено задолго до этого разговора. Ради крошечной, идиотской, самоубийственной надежды, что однажды он поймёт: чувства — не слабость. Не

помеха. Не трещина в броне. А может быть — единственное, что способно сделать броню ненужной.

2

Я стояла напротив Диаманта. Он смотрел на меня с лёгкой усмешкой, читая мои сомнения так же легко, как собственное отражение. Не спешил ничего развеивать. Смаковал мою неуверенность — медленно, как терпкое, тяжёлое вино. В его взгляде было что-то хищное. Удовольствие от того, как я пыталась сохранить лицо, хотя внутри всё вибрировало. Тени падали на его лицо резкими угловатыми мазками. Будто сама тьма вылепила его — пугающего, завораживающего, невозможного.

— Тебе понравится в Леброне, — сказал он. — Там нет ханжеской морали Колтрейна. Ты сможешь отбросить свои предрассудки. — Пауза. — И там невероятно красиво. Надеюсь, у меня будет время до коронации — хочу показать тебе хоть немного.

Его голос стал мягче, когда он говорил о Леброне. Почти мечтательный. В нём проскользнуло что-то тёплое. Или мне снова показалось? Я попыталась представить это место — страну без привычных мне ограничений, где всё устроено иначе. Где он станет королём. Сердце билось чуть сильнее — не то восторг, не то страх, не то предвкушение чего-то неотвратимого, как первый раскат грома над головой.

— Не представляю, как ты обойдёшься без своей потайной комнаты и пыточной, — бросила я, и слова сорвались

прежде, чем я успела их остановить. Не просто колкость. Отчаянная, острая попытка удержать хоть каплю контроля.

Диамант рассмеялся. Неожиданно, искренне, почти по-детски. Этот смех сбил меня с толку. В нём не было насмешки. Только чистое, странно беззаботное веселье — неуместное в этой тяжёлой комнате. И от этого стало тревожнее: искренность или новая, более изощрённая ловушка?

— Потайная комната есть и в моих покоях в Морвене, — ответил он, всё ещё улыбаясь. — Это в Сианоне, столице Леброна, в замке Морвен. Там мы и будем жить. Надеюсь, пока меня не было, отец её не нашёл. — Улыбка стала шире. — И пыточных хватает. Скучать не придётся.

Он вдруг подался вперёд, притянул меня к себе и усадил на колени. Руки легли на талию — уверенно, жёстко. Пальцы впились в бока чуть сильнее, чем нужно. Не ласка — напоминание. О власти.

Тепло его тела проникало сквозь ткань, мешалось с запахом тёплой кожи, пряных масел и чего-то металлического — едва уловимого, как привкус крови на языке. Даже его запах нёс в себе отголосок власти и боли. И я с пугающей ясностью осознала, как мне не хватало этого — не просто тепла, а этой опасной, обжигающей близости, в которой можно либо сгореть дотла, либо переплавиться во что-то новое.

— Есть несколько моментов, которые нам надо обсудить, — его голос стал серьёзнее, хотя в глазах всё ещё стояли холодные, острые, как осколки льда, смешинки.

Я молчала. Ждала. Тревожное предвкушение нарастало в груди — тугая спираль, закручивающаяся всё плотнее. Какие новые правила он установит? Стоять на краю пропасти — вот что это было. Один шаг вперёд — и никаких карт, никаких ориентиров. Только ветер и пустота. Он провёл пальцами по подбородку, взвешивая слова, выбирая самые точные, самые болезненные. Потом посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд тяжёлый — почти физический, — словно он вдавливал каждое слово в мою кожу ещё до того, как произносил его.

— Во-первых, — начал он медленно, растягивая слоги, — я не хочу слышать нытья по поводу других женщин.

Пальцы на моей талии сжались. Не больно. Но достаточно, чтобы я почувствовала: эта хватка в любую секунду может стать железной.

Я вздохнула — глубоко, протяжно. В тишине комнаты это прозвучало почти как стон. Тема давно перестала быть болезненной. По крайней мере, я очень старалась в этом себя убедить. Но где-то на дне тлел уголёк, который не гасили ни разум, ни время, ни вода. Я давила его. Заставляла голос звучать ровно:

— Я примирилась с тем, что ты бабник, — сказала я, и это должно было прозвучать равнодушно.

Усмешка.

— Не совсем верное определение. Ну да ладно. Главное — не ной. — Пальцы скользнули чуть ниже по моим бёдрам,

и голос стал тише, глуше. — Затем. Ты помнишь, что мы пересмотрели правила?

Я помнила.

— Теперь я обязуюсь не наносить тебе травм, несовместимых с жизнью, — произнёс он, и в этих словах не было ни капли иронии. Констатация. Контракт. Граница, прочерченная ножом.

— Других запретов на использование твоего тела нет.

Каждое слово падало, как капля горячего воска на обнажённую кожу — тяжело, медленно, оставляя жгучий след.

— Но помни: мои желания должны вписываться в твои рамки. Если ты решишь, что что-то выходит за границы, что-то тебе действительно неприятно, или омерзительно, или выше твоих сил — мы это обсудим. Просто скажи. Поняла?

Взгляд стал пронзительным, испытующим. Он не просто смотрел — он лез под кожу, под рёбра, туда, где билось сердце, пульсировала кровь, дрожали нервы.

Я кивнула. В груди что-то сжалось — боль, гнев, отчаянное желание доказать, что я не вещь, не инструмент, не тень.

— Да, — тихо ответила я. — Я доверяю тебе. Полностью.

Не совсем ложь. Я действительно доверяла — настолько, насколько вообще возможно доверять человеку, в котором нежность и жестокость переплетены так туго, что не отличишь одно от другого. Доверяла в том, что он не перейдёт черту, которую сам же обозначил. Но это доверие было тонким, как первый лёд на реке. И я не знала, выдержит ли оно

следующий шаг — или я провалюсь в чёрную, ледяную воду.

— Последнее, — он наклонился ко мне так близко, что его дыхание коснулось моих губ. — Если ты чего-то хочешь — говори. Честно. Без стыда. Без оговорок. Поняла?

Что-то в его взгляде изменилось. Насмешка исчезла. Осталось только напряжённое ожидание — почти голод. Он действительно хотел услышать мои желания. Не угадать. Не додумать. Услышать. От этой мысли стало страшно — потому что я никогда не позволяла себе думать о том, чего хочу на самом деле. Эти мысли жили в самых тёмных, самых запретных углах сознания, куда я загоняла их, как зверей в клетку. И волнующе — потому что он протягивал руку к дверце этой клетки. В наших играх вёл всегда он. За единственным исключением — «Вавилон», где он приказал мне сказать, чего я хочу. И мои неуклюжие попытки изобразить госпожу после того, как он проиграл в «Монополию».

Я замолчала. Пальцы дрожали. Я сжала их. Но холод всё равно пробирался под кожу, мешался с жаром, поднимающимся откуда-то из живота, из глубины, из тьмы.

«Скажи. Он сам попросил».

Но слова не шли. В горле встал ком — плотный, раскалённый, как кусок расплавленного железа. Страх. Стыд. Неуверенность.

Диамант ждал. Не торопил. Не давил. И от этого становилось ещё труднее: тишина давила сильнее любых криков.

Наконец я вдохнула — медленно, глубоко. Воздух царап-

нул горло, будто даже дышать стало сложнее.

— У меня есть фантазия, — произнесла я тихо, почти беззвучно. Собственный голос показался чужим, ломким, будто я говорила не своими губами. — Которую хотелось бы воплотить.

Диамант потянулся к пачке. Достал сигарету, другую протянул мне. Я взяла — пальцы подрагивали, тонкая бумага казалась горячей.

— Я тебя слушаю, — серьёзно сказал он. — Внимательно.

Я сделала глубокую затяжку, выпустила дым и посмотрела ему прямо в глаза. В этот момент я решила: будь что будет. Если он хотел честности — он её получит. Я больше не стану прятаться за маской покорности, не буду сглаживать углы, не стану делать вид, что не чувствую боли, не вижу тьмы, не хочу власти — хотя бы над собственными желаниями.

3

Я смотрела на Диаманта — и память вскрывала меня, как нож вскрывает рану. Не воспоминание — наваждение. Запах ржавого железа, ледяной камень под босыми ступнями, ритмичный скрип цепей и его шаги — размеренные, хозяйские, — отдающиеся у меня в животе.

Та Сильвана. Узница его пыточной. Дрожащая, покрытая гусиной кожей от каждого шороха, с пересохшими губами и расширенными от ужаса зрачками. Но даже тогда между рёбрами ворочалось что-то иное. Что-то, чему не было названия на языке жертв. Влечение — слепое, звериное, бес-

стыдное, — будто сама тьма запустила пальцы мне под кожу и шепнула: «Он твой. Ты его. Не сопротивляйся». Я не понимала тогда, как можно мокнуть от страха и желания одновременно. Как рука, способная раздробить тебе пальцы, может вызывать фантазии о том, куда ещё она ляжет. Но тело не спрашивало разрешения. И тот уголёк — тёмный, стыдный, неубиваемый — до сих пор тлел под рёбрами, отзываясь жаром каждый раз, когда его взгляд задерживался на мне чуть дольше.

— Помнишь, как мы познакомились? — начала я тихо. Голос не слушался. Дрожь пробивалась сквозь слова, тонкая, как трещина в стекле. — Я была там. В твоей пыточной. И ты потом признался, что хотел взять меня. Сразу. Прямо на том каменном полу. Несмотря ни на что.

Диамант кивнул. Не отвёл глаз — ярких, немигающих, с отблеском стали. Они не смотрели — вскрывали. Забирались под кожу, под рёбра, добирались до того, что я прятала даже от собственного сознания, и вытаскивали наружу. Медленно. Безжалостно. От этого взгляда кожа горела и леденела одновременно. Мурашки кололи спину, как россыпь мелких игл. Ладони становились влажными — и эта влага казалась предательством, будто тело уже сдалось, пока разум ещё торговался.

— И? — одно слово. Короткое, как щелчок затвора. Оно легло мне на плечи свинцовой тяжестью.

Вдох. Глубокий, рваный. Язык лип к нёбу. Во рту — сухо,

как в склепе.

— Я хочу реализовать эту фантазию.

Голос сорвался на последнем слове. Уязвимость, которую я так отчаянно запирала внутри, вывалилась наружу — голая, беспомощная.

— Но так, чтобы всё закончилось иначе. Так, как ты хотел тогда. Без Роланда. Без дыбы. Только ты и я.

Тишина. Он смотрел — молча, неподвижно. Секунды растягивались. Я искала хоть что-то в его лице — тень эмоции, дрожь мышцы, намёк. Ничего. Мрамор. Запечатанный сейф.

А потом его рука сомкнулась на моей груди — резко, грубо, с силой, от которой в глазах вспыхнули белые точки. Боль прошила тело — острая, звенящая, — и тут же, без паузы, обернулась чем-то другим. Чем-то тёмным, вязким, что поднялось из живота и затопило грудь огнём. Сосок затвердел под его пальцами. Я не отстранилась. Не шевельнулась. Это было больше, чем согласие. Это была капитуляция — осознанная, жадная, окончательная.

— Значит, хочешь ролевую игру в допрос с пристрастием? — голос низкий, сиплый, с хрипотцой. Каждый звук — как шершавый язык по оголённому нерву.

— Хочу. — Я сглотнула. — Очень хочу.

Его пальцы чуть разжались — не отпустили, но ослабили хватку, словно он пробовал мои слова на вес, на вкус, на опасность. Потом сжались снова — медленнее, расчётливее. Давление нарастало ровно, как поворот винта. Боль и воз-

буждение сплелись в одну пульсирующую нить. Жар залил щёки, шею, грудь. Дыхание участилось. Кровь стучала в висках, в губах, между ног — требовательно, ритмично, как далёкий барабан. Он отпустил грудь. Провёл пальцами по плечу — медленно, едва касаясь. Подушечки пальцев скользнули к шее. И сомкнулись. Не сильно. Ровно настолько, чтобы я ощутила кольцо его руки вокруг горла — и поняла: он решает, когда мне дышать. Когда — нет.

— Значит, хочешь побыть моей подследственной? — слова падали на кожу, медленные, обжигающие, неотвратимые. Его дыхание — тёплое, с горьковатой табачной горечью и привкусом железа — коснулось моих губ. — Чтобы я тебя допросил. Помучил. А потом выебал, как ты заслуживаешь?

Удар током. Всё тело — одна оголённая жила. Позвоночник прошила горячая волна, колени обмякли, мышцы живота напряглись. Дыхание — рваное, мелкое, звериное. Между бёдер — влажно, горячо, пульсирующе. Я сглотнула. Собрала остатки воли в кулак.

— Да. — Твёрдо. Глядя ему в глаза. И в этом «да» не было покорности. В нём был вызов. Приглашение. И голод, равный его собственному.

Он замер. Изучал моё лицо — медленно, как читают приговор. Сначала недоверие: брови дрогнули, ноздри раздулись, словно он учуял ложь и не нашёл её. Потом губы шевельнулись — не усмешка, не оскал, а что-то совсем другое. Уважение. Голодное, опасное уважение.

— Ты серьёзно? — голос упал до шёпота. — Хочешь именно этого?

Я кивнула. И в его глазах что-то вспыхнуло. Не похоть — узнавание. Он видел меня. Всю. Без кожи, без стыда, без лжи. И не отвернулся. От этого сердце билось так, будто хотело выломать рёбра.

— Хорошо. — Пауза. — Но учти: я допрашиваю жёстко. Особенно с пристрастием. А при минимальных ограничениях на воздействие… — пауза, в которой уместилось обещание, — тебе будет очень больно.

Я кивнула снова. В груди бушевала буря: страх скручивал внутренности в узел, предвкушение растекалось жаром по низу живота, а под этим — странное, стеклянное облегчение. Наконец выпустила то, что так долго гнило в темноте. Больше не нужно было притворяться.

— Что поделаешь, милорд, — прошептала я. В обращении звенела не покорность — издёвка. Над собой, над ним, над этой игрой, в которую мы оба рвались с обнажёнными зубами. — Я сама напросилась.

Он рванулся с места — резко, как зверь, которому перерезали привязь. Сдёрнул меня с колен. Пальцы впились в плечи — горячие, жёсткие. Движения стали рваными, хищными: сила, которую он слишком долго давил в себе, выламывалась наружу, проступала в каждом жесте, в каждом вздохе. Провёл рукой по моим волосам. И я поймала в его глазах то, чего раньше не замечала. Не жестокость. Не похоть.

Восхищение. Как у волка, нашедшего волчицу, которая не побежала.

— Блять, сука, ты меня завела, — голос сорвался в хрип. В этой грубости было больше правды, чем в любом признании. Больше нежности, чем в любой ласке. — А сейчас, как назло, нет времени на полноценную игру.

Он замер. Выдохнул сквозь стиснутые зубы. Когда заговорил снова, голос звучал ровнее, но под этим спокойствием была натянута струна.

— Ну ладно. Как только мы будем в Сианоне — а это вторая половина дня, — ты пожалеешь. Или не пожалеешь. Это как посмотреть.

Он бросил взгляд на часы. Подошёл к окну. Утренний свет упал на его лицо — жёстко, как нож: высокие скулы, резкая линия челюсти. Профиль, высеченный из мрамора. Я видела, как ходили желваки, как пальцы белели на подоконнике, как на виске билась тонкая синяя жилка — быстро, зло. Это напряжение перетекало в воздух, оседало мне на кожу, забиралось внутрь. Каждый вдох становился тяжелее. Каждый взгляд — как прикосновение к оголённому нерву.

— Мы вылетаем немедленно, — бросил он, обернувшись. — Собирайся… хотя тебе нечего собирать. И… — взгляд впился в меня, тяжёлый, как камни на дне колодца, — даже не надейся отступить.

Я сглотнула. В горле — пустыня. На языке — металлический привкус: кровь или адреналин, не разобрать. В груди

сжалось что-то хрупкое.

«А если не выдержу?»

Мысль мелькнула и сгорела. Я вспомнила годы — годы притворства, правильности, нормальности, годы, когда душила себя собственными руками, чтобы не стать тем, кем хотела быть. Нет. Не отступлю.

— Не передумаю, — тихо. Твёрдо.

Внутри всё дрожало — мелко, сладко, как перед прыжком в пропасть. Но я стояла. Потому что впервые сама. Шагнула к краю не потому, что столкнули, — потому что захотела.

Он подошёл вплотную. Взял меня за подбородок. Заставил поднять лицо. Я посмотрела ему в глаза — и увидела на самом дне, под слоями жестокости и контроля, трещину. Что-то уязвимое, почти живое.

— Уверена? — почти беззвучно. В шёпоте дрогнуло то, чего я от него не ждала, — сомнение. — Последний шанс.

Я выдержала его взгляд. Не отвела глаз, не моргнула. В этот момент поняла: дело не в его условиях. Я принимаю себя. Всю — со страхами, голодом, тьмой, противоречиями. И от этого внутри что-то встало на место — как кость, которая наконец срослась, со щелчком, с болью, но правильно.

— Уверена.

Голос не дрогнул. И в этой твёрдости я услышала собственную новую силу — рождённую не вопреки страху, а из него. На его губах проступила улыбка. Не жестокая. Не насмешливая. Гордая. Он кивнул.

— Отлично. Идём.

Отпустил подбородок. Развернулся. Пошёл к двери — широкие плечи, прямая спина, шаг хозяина, который знает, что за ним пойдут.

— Вылетаем раньше, вдвоём, — бросил, не оборачиваясь. — Рэйна и Мию привезёт Роланд, он будет позже. Думаю, ему только в кайф побыть нянькой.

Я встала. Колени подгибались, мышцы горели, каждый шаг давался через силу — но я шла. Потому что пути назад больше не было. Был только вперёд. В Сианон. В новую главу нашей странной, жестокой, невозможной истории. И впервые за долгое время внутри пульсировала не просто тревога и не просто возбуждение, а жизнь — настоящая, тёмная, полная, готовая хлынуть через край.

Диамант

1

Я распахнул дверь самолёта и сделал приглашающий жест:

— После тебя.

Сильвана ступила на борт — и замерла. Зрачки расширились, губы приоткрылись.

Она пыталась охватить всё разом — и не могла. Не верила. Правильно. Этот салон и не был рассчитан на веру. Он был рассчитан на капитуляцию. Кресла кремовой кожи — мягкие, почти непристойно мягкие, с безупречной строчкой, похожей на хирургические швы, — приглашали утонуть. Забыться. Сдаться. Панели тёмного ореха отливали тя-

жёлым маслянистым блеском, будто дерево пропиталось чужими тайнами и не собиралось их отдавать. Свет — приглушённый, янтарный — стелился по поверхностям как дым, превращая салон в нечто среднее между будуаром и камерой. По центру — стол с глянцевой столешницей, холодный, как хирургический поднос. Рядом — бар: бутылки коллекционного алкоголя поблёскивали в полумраке гранями, как осколки чужих вечеров, которые никто не помнил до конца. Вдоль стен — встроенные шкафы с книгами. Напротив зоны отдыха — плазменная панель во всю стену, чёрное зеркало, в котором отражалось только то, что ты боишься увидеть. И кровать. Не такая, как в Рокуэлле, но достаточная. Её присутствие ощущалось даже с закрытыми глазами — как запах, как жар, как тихий, настойчивый шёпот из угла.

Впрочем, то, что предложила Сильвана — от чего у меня застучало в висках — должно произойти не здесь. Не на высоте десяти тысяч метров. Так что я заставил себя не смотреть на кровать. Не помогло. Мысли возвращались — предательские, подробные: её дыхание, ломающееся на выдохе. Дрожь бёдер. Сдавленный стон, застревающий в горле, как кость. Я играл в похожие игры раньше. А иногда это были вовсе не игры, и заканчивалось печально. Не для меня, конечно, а для тех, кто попадал в застенки Инквизиции. Но с Сильваной всё будет иначе. Она станет самой любопытной моей подследственной — не просто телом на допросном столе, не просто жертвой, которая плачет по команде. Она — та,

кто смотрит мне в глаза и не отводит взгляда, даже когда под рёбрами становится холодно от страха. Это — чуть позже.

Я закрыл дверь. Активировал герметизацию. Щелчок. Металлический, окончательный.

Мир остался снаружи. Сильвана двигалась по салону медленно, осторожно — как по чужому сну. Коснулась кончиками пальцев обивки кресла, и я увидел, как дрогнули фаланги — кожа под подушечками пальцев была слишком нежной для такой грубой роскоши. Она будто пыталась впечатать это ощущение в себя, сохранить под кожей. Провела ладонью по столешнице — холод стекла против тёплой ладони — словно проверяя, не растает ли всё это при касании. Взгляд скользил по салону настороженно, оценивающе.

— Красиво, — произнесла она наконец. — Очень… продуманно.

Плечи чуть опустились. В глазах — не просто любопытство. Голод. Желание понять, что скрывается за этой безупречностью, какая гниль прячется под лаком.

— Впечатляет, — добавила тише, почти шёпотом, и в этом шёпоте мелькнуло что-то обезоруживающе искреннее.

— Ещё бы, — я усмехнулся, и усмешка вышла тяжелее, чем хотелось: больше цинизма, чем веселья, больше клыков, чем губ. — Мой дом в небе. Мой мир. Мои правила.

Я шагнул ближе. Остановился так, чтобы она чувствовала моё тепло, но не касалась. Внутри шевельнулось тёмное, жадное удовлетворение: она поддаётся моему притяжению,

но не ломается. Пока — не ломается. А это куда вкуснее.

— Летала когда-нибудь? — я скинул плащ, швырнул на кресло.

Сильвана качнула головой:

— Мой первый полёт.

— Тогда запоминай каждое ощущение, — я улыбнулся — хищно, обнажая зубы больше, чем следовало. — Взлёт — это всегда особенное. Приземление тоже. Особенно когда знаешь, что последует после.

Мы сели у окна. Сильвана — у иллюминатора, прижалась лбом к стеклу. Холодному. Гладкому. Мелко вибрирующему от рёва турбин, который отдавался в черепных костях низким, утробным гулом. Её пальцы подрагивали на подлокотнике — волнение, предвкушение, а может, что-то третье: тело наконец разрешило себе чувствовать. Я отметил это. Она всё ещё училась доверять — не мне. Себе. Забавно. Словно невинность — вещь, которую можно вернуть, если достаточно сильно зажмуриться.

Разбег. Рёв. Толчок. Земля отпустила. Сильвана резко вдохнула — и в её распахнутых глазах отразилось всё: небо, облака, мир, который за секунду стал огромным, чужим и совершенно безразличным. Она смотрела вниз — на съёживающиеся здания, на дороги-нити, на машины-игрушки, утратившие всякий смысл с высоты. На губах появилась улыбка — лёгкая, почти детская. И в этот момент она выглядела такой чистой, что захотелось показать ей изнанку. Что красота

всегда идёт под руку с пороком. Что за каждым видом из иллюминатора — чья-то боль, чья-то гибель, чья-то сломанная хребтина.

Дверь за спиной открылась бесшумно. Стюардесса — тёмно-синий костюм, волосы в тугом пучке, лицо, отлитое в форму безупречной, стерильной вежливости. Я скользнул по ней взглядом, пытаясь вспомнить: трахал я её или нет? Вроде нет. Впрочем, я никогда не запоминал случайных лиц. Они были декорацией — красивой, функциональной, заменяемой, как мебель, которую можно переставить, сломать, выкинуть на свалку и не заметить пустоты. С коротким поклоном она поставила на стол бутылку абсента, два бокала, тарелку с оливками и сыром. Запах оливок — солёный, маслянистый — на мгновение перебил кожу и дерево, но тут же утонул в полумраке.

— Приятного полёта.

Исчезла. Бесшумно, как не было. Я мысленно отметил: познакомиться ближе. Если не забуду. Если Сильвана не сожрёт всё моё внимание до последней крошки. Затянулся. Выпустил дым — он пополз к потолку, свиваясь в ленивые кольца, будто пытался сложиться в слова, которые я не собирался произносить вслух. Сильвана посмотрела на меня, чуть приподняв бровь. В этом взгляде — вызов, тонкий, как лезвие: говоришь, твой мир? Докажи.

— В самолёте нельзя курить, — тихо заметила она.

Я пожал плечами.

— Это мой самолёт, Сильвана, — я растянул каждое слово, укладывая их на неё одно за другим. — Мои правила. Здесь я решаю, что можно. Что нельзя. Если мне хочется курить — я курю. Если захочется содрать с тебя одежду прямо здесь — я сдеру. Поняла?

Она улыбнулась — чуть смущённо, но без страха, и от этой улыбки что-то внутри меня сжалось, а потом развернулось рывком, как взведённая пружина. В этот момент я увидел её другой. Не испуганной узницей. Не покорной куклой с пыточного стола. Живой. Настоящей. Дерзкой. Той, кто готова идти со мной — в Леброн, и дальше, и туда, где нет ни карт, ни ориентиров, только тьма, ветер и запах крови. И от этой мысли шевельнулось внутри что-то — не сердце, нет. Глубже. Темнее. Голоднее.

Моя.

Я взглянул на часы.

— Полтора часа лёту.

Плеснул абсента — себе, ей. Капля упала мимо, расползлась по глянцевой столешнице тёмным пятном. Маленькая рана. Неважно.

— Выбери фильм. Только без мелодрам. Слюни, фальшивые чувства, надрывное вытьё под рояль — от этого у меня сводит челюсть.

Сильвана поднялась, подошла к панели. Провела пальцем по сенсорному экрану — боевики, триллеры, научная фантастика мелькали под подушечкой. Иногда задерживалась,

закусывала нижнюю губу, хмурила брови — и листала дальше. Я наблюдал. Каждое движение. Каждую микропаузу. Всё это — часть игры. Моей игры. И я знал, что выиграю. Всегда выигрывал. Потому что правила писал я — а потом переписывал, если мне того хотелось.

Сильвана

1

Я листала каталог. Постер за постером — пёстрая, бессмысленная рябь. Боевики — дешёвая бутафория крови. Триллеры — заезженные до скрипа. Фантастика — стерильная и холодная, никакого отношения к тому, что бурлило внутри. К той густой, тягучей смеси страха и голода, что пульсировала в венах, поднималась к горлу, оседала на языке привкусом меди. Пальцы скользили по сенсорному экрану, оставляя влажные следы. Будто я метила его собой — своей дрожью, своим жаром. Мысли возвращались к разговору. К словам, которые я сказала, глядя Диаманту в глаза. К тому, как руки тряслись, но я не отступила. Эта мысль — о собственной дерзости, почти безумной, почти самоубийственной — гнала кровь быстрее.

И вдруг — стоп. На экране постер: молодая девушка с короткой стрижкой. Нацистская фуражка, сдвинутая набок. Длинные перчатки до локтя, прижатые к обнажённой груди — не столько прикрывающие, сколько подчёркивающие наготу. «Ночной портье». Сердце споткнулось. Пропустило удар. Потом заколотилось — рвано, сбивчиво, будто пыта-

лось проломить рёбра и сбежать от этого выбора. От этой правды.

Мне было шестнадцать. Родители в отъезде. Экран старенького ноутбука в темноте спальни — единственный источник света: голубоватый, мертвенный, как свет операционной. Я смотрела урывками, перематывала вперёд, замирала на сценах, от которых внутри что-то сжималось до боли. Многое казалось непонятным. Пугающим. Почти отвратительным. Но в этих кадрах пряталось нечто — запретное, болезненно-сладкое, — от чего по позвоночнику пробегал электрический разряд, мышцы живота каменели, а кожа покрывалась мелкой колючей дрожью. Сейчас воспоминания вспыхнули разом — выжженные на сетчатке, такие чёткие, что я снова ощутила тяжёлый, затхлый воздух полутёмной комнаты на экране, запах пыли и железа.

Её пальцы — дрожащие, в чёрных перчатках — скользят по шерстяной форме. Осторожно, благоговейно, как по мощам. Каждое прикосновение — ритуал. Каждое движение — молитва и святотатство одновременно. Его взгляд — властный, почти жестокий. Но за жестокостью — тоска. Одиночество. Потребность, такая обнажённая, что от неё физически больно, будто кто-то провёл лезвием по рёбрам. Танец в полумраке — медленный, гипнотический. Тела сплетаются в ритме, которому нет названия. Они говорят кожей то, что язык произнести не может. И тот момент, когда она смотрит на него. В глазах — ужас, отвращение и желание такой си-

лы, что оно сжигает изнутри. Оставляет на коже невидимые ожоги, от которых хочется кричать. Не от боли — от того, что боль неотличима от наслаждения.

Тогда я не понимала, что меня зацепило. Теперь понимаю. Это не история о жестокости. Это история о власти и подчинении, о двух людях, спаянных прошлым намертво и продолжающих свою игру даже после того, как мир вокруг рассыпался. О том, как влечение прорастает сквозь боль — как лоза сквозь трещину в стене. О том, как в самых тёмных расщелинах души рождаются самые сильные чувства. Те, что пугают больше всего, потому что они единственные настоящие.

Дыхание участилось. Щёки горели. По спине прокатилась волна жара — и тут же сменилась дрожью, которая опустилась ниже, осела внизу живота тяжёлым, тягучим теплом, от которого свело бёдра. Этот фильм — зеркало. Отражение того, что я предложила Диаманту. Того, что уже пережила с ним, и того, что предстоит. Игра, где есть власть и есть сдача. Где страх не убивает желание — он его питает. Где боль обостряет наслаждение до звона в ушах. Где границы тают, и ты вдруг обнаруживаешь в себе силу, о которой не подозревала.

Ладони взмокли. Я сжала пальцы — но дрожь проникла глубже: в суставы, в кости. Вдохнула — воздух царапнул горло, будто даже дышать стало актом капитуляции.

«Выбрать что-то другое?»

Мысль мелькнула и сдохла. Я убила её — быстро, жёстко, без сожаления. Нет. Это именно то, что нужно.

Я выдохнула. Не поворачиваясь, произнесла тихо:

— Прости, но я всё-таки предложу мелодраму. Не совсем обычную. «Ночной портье». Ты как?

Голос чуть дрожал — но я держала его ровно, на коротком поводке, чтобы Диамант не услышал, как сердце бьётся о рёбра.

Что он ответит? Сочтёт мой выбор слишком тёмным, слишком обнажающим? Или оценит? Почувствует то же, что и я, — этот жар, эту жажду, этот голод?

Его взгляд лёг на меня — тяжёлый, осязаемый, как ладонь. Скользнул по шее, по плечам, по лопаткам — медленно, изучающе, словно он раздевал не тело, а душу. Слой за слоем. Казалось, он видел всё: воспоминания, стыд, возбуждение, ту девчонку, которой я была, — перед экраном в темноте, столкнувшуюся с чем-то запретным и не отвернувшуюся. И от этого стало ещё жарче — кровь прилила к лицу, в ушах зашумело, а в животе затрепетало что-то. Не бабочки, нет. Что-то с острыми, зазубренными крыльями: царапало изнутри, оставляло тонкие порезы, от которых хотелось не отдёрнуться, а подставиться ближе.

Секунда растянулась в вечность. Я не оборачивалась. Пальцы вцепились в край платья, вминая ткань глубокими складками, — будто я держалась за последнюю точку опоры, чтобы не сорваться: не броситься к нему, не убежать. Рядом

— тихий звук: глоток. Диамант пил абсент. Горький, полынный запах дотянулся до меня, смешался с ароматом кожи и тёплого дерева.

Пульс отдавался в висках, в кончиках пальцев, в пересохших губах, которые я непроизвольно облизнула.

«А если скажет „нет“?»

Я отогнала эту мысль как пощёчину. Выбор сделан. Я готова к любому исходу. Потому что в этот раз я не иду за ним — я предлагаю свою игру. Свою правду. Свой страх, обнажённый, как нерв. И если он отвергнет — приму удар в открытую грудь, не закрываясь. А если примет — тогда границы сотрутся окончательно. И мы окажемся там, где нет правил. Нет оправданий. Нет пощады.

Диамант

1

Я несколько минут молча смотрел на Сильвану. В голове не укладывалось. Она — с этими осторожными взглядами исподлобья, с робкими улыбками, будто сошедшая с витрины «Идеальная девочка для строгого папы», — знает о «Ночном портье»? Не просто знает — предлагает посмотреть его со мной. В груди вспыхнул первобытный азарт, перемешанный с циничным весельем.

— Не знал, что такие хорошие девочки, как ты, вообще слышали о подобных фильмах, — сказал я, и голос вышел острым, как хирургический скальпель. — Или благородный лорд Джейкоб Этвуд в юности увлекался артхаусом и забыл

спрятать коллекцию DVD?

Сильвана не повернулась. Только сжала пальцы на краю экрана.

— Ты против? — тихо спросила она.

Столько хрупкой надежды в двух словах. Мне почти стало её жаль. Почти. Но жалость размыла бы грань, на которой мы балансировали, — а эта грань была единственным, что делало происходящее настоящим. Я откинулся в кресле.

— Против? — я усмехнулся. — Ты шутишь. Я — только за. Просто не ожидал такого от столь… благонравной барышни. Так что включай. И иди сюда.

Я похлопал ладонью по сиденью рядом. Не приглашение. Приказ.

— Посмотрим, насколько глубока кроличья нора.

Она нажала «воспроизвести» и села близко. Так близко, что тепло её тела проступило сквозь тонкую ткань платья и легло на мою кожу живым жаром. Цветочный запах волос смешался с запахом кожаных сидений. Я втянул воздух. Не скрываясь. Пусть слышит. Пусть знает: каждый её вздох, каждая дрожь, каждое движение пальцев проходят сквозь меня, как ток.

На экране появились первые кадры. Тусклый свет гостиничного номера. Тени, ползущие по стенам. Шаги в коридоре — тяжёлые, мерные. Камера скользила по деталям: пепельница с окурками, стакан с мутной водой, смятая простыня с тёмными пятнами, которые могли быть чем угодно —

вином, потом, кровью. Всё говорило: здесь уже что-то произошло. Или вот-вот произойдёт. Это «вот-вот» висело натянутой струной, и я почти слышал, как оно вибрирует.

Мы смотрели молча. Краем глаза я наблюдал за Сильваной. Свет экрана превращал её лицо в фарфоровую маску — бледную, с резкими тенями в углублениях скул и глазниц, красивую и мёртвую. Пока в зрачках не вспыхивали искры — мокрые, горячие, живые. Она не просто смотрела фильм. Она примеряла. Лючию — на себя. Макса — на меня. Я видел это по тому, как сбивалось её дыхание.

Фильм я знал по кадрам — смотрел раз десять, не меньше. Но ни разу — с кем-то, кто так реагировал. Кто краснела при откровенных сценах, но не отводила взгляд. Вздрагивала от жестокости, но продолжала смотреть — упрямо, жадно, будто пыталась доказать себе, что способна выдержать больше, чем позволяет её хорошо выдрессированное тело. Это было опасно. Потому что в её реакции я видел не любопытство — я видел отклик. Тёмный, утробный, тот, что живёт ниже рёбер и не подчиняется разуму.

Макс вошёл в номер Лючии. Каждый его шаг — тяжёлый, неотвратимый. Пространство между ними сжалось. И вдруг — пощёчина. Сухой, хлёсткий звук прорезал тишину салона, как удар кнута. Сильвана вздрогнула всем телом. Не от испуга — от узнавания. От того, как точно и грубо этот удар обнажал суть их связи: боль как валюта, жестокость как язык, на котором они единственно умели говорить друг дру-

гу правду.

На экране Макс замер. Его рука дрогнула — потянулась к Лючии и тут же отдёрнулась, будто от раскалённого металла. Сильвана замерла тоже. В её глазах мелькнуло что-то — голодное, испуганное, — и она медленно повернулась ко мне.

— Как ты думаешь… — голос вышел хриплым, низким, будто слова царапали ей горло изнутри. — Что Макс на самом деле чувствовал к ней?

Это не вопрос о фильме. Это вопрос о нас. О власти и подчинении. О том, где кончается боль и начинается близость. О том, существует ли вообще эта граница — или она давно стёрта, затоптана, залита чем-то тёмным и липким.

Я повернулся к ней. Свет экрана упал на её лицо — бледное, напряжённое, с приоткрытыми влажными губами. Она стояла на краю. Ждала, что я либо протяну руку, либо толкну.

— Он боялся, — ответил я шёпотом. Насмешка в голосе — тонкая, как плёнка льда над водой. — Боялся того, что она с ним делает. Боялся, что она его вскрывает. Что под маской жестокости он — просто слабый, голодный мальчишка, который не может справиться со своим желанием.

Я выдержал паузу. Слова падали медленно, тяжело, как звенья цепи.

— Власть — это не только контроль, Сильвана. Это уязвимость. Когда ты позволяешь кому-то иметь над тобой такую силу — ты голая. Даже если пытаешься прикрыться гру-

бостью. Жестокостью. Кожей и цепями.

Ещё одна пауза.

— Но знаешь, в чём разница между Максом и мной? Макс не справился. Уничтожил и себя, и её. А я — справлюсь. И сделаю это красиво.

Тишина. В её глазах — страх и восхищение, сплавленные в нечто настолько густое и тёмное, что от него становилось физически жарко, будто кто-то поднёс пламя к коже. Отлично. Именно этого я добивался. Она не отвела взгляд. По её рукам бежали мурашки — я видел их даже в полумраке, мелкие, как рассыпанное зерно. В её глазах что-то сдвинулось — будто она услышала не ответ, а клятву, произнесённую на языке, который понимают только кровь и кожа.

«Надо бы добавить яда. Сбить с неё эту нежность. Вернуть нас туда, где нет места сентиментам — только голод, только грань».

На экране Лючия подняла руку к щеке. Медленно. Словно не верила, что боль реальна. Словно пробовала её на ощупь — можно ли удержать? Можно ли сохранить?

А я вдруг понял: то, что происходит между нами, опаснее любого фильма. Потому что это — настоящее. И я не знал, кто из нас потеряет больше. Но отступать было поздно. Да и не хотелось. В конце концов, разве не в этом суть? Играть с огнём, зная, что кожа уже горит, — и всё равно тянуть руку глубже в пламя.

Глава 7

Глава 7.
Первый Шаг Внутрь.

«Мир здесь был слишком живой. Слишком откровенный. Сюда нельзя было войти и остаться прежней».

Сильвана
1

Я смотрела в окно лимузина и не могла оторваться. Сианон, столица Леброна, проплывал мимо — живой, тёплый, залитый летним светом. После Колтрейна с его вечно хмурым небом, сыростью и улицами, пропахшими отчаянием, всё здесь казалось другим. Воздух был тёплый, но не душный. Он двигался, дышал, нёс запахи цветущих лип, скошенной травы, пионов и лаванды. Я вдохнула глубже и на секунду закрыла глаза. Будто смывала с себя слой копоти — тот, что въелся в кожу за месяцы, проведённые в промозглости и сырости.

По обе стороны дороги тянулись сады. Пионы — алые и пурпурные — клонились под тяжестью собственных бутонов. Лаванда отливала сиреневым. Дальше, на холмах, раскинулись виноградники: лозы вились ровными рядами, и в солнечном свете листья казались почти прозрачными. Высо-

кие деревья бросали на дорогу пятнистую тень. Где-то вдали журчала вода — ручей или небольшой водопад. Над цветами порхали бабочки. Одна, сапфировая, села на край окна, расправила крылья и через мгновение исчезла среди зелени.

Я украдкой взглянула на Диаманта и замерла. Он смотрел в окно, и на его лице не было привычной насмешки. Ни расчёта, ни холода. Только тихое, почти мальчишеское восхищение. Губы чуть тронула улыбка — настоящая, без иронии. У меня внутри что-то сжалось.

Он умеет видеть красоту. Значит, в нём есть что-то, кроме жестокости и власти.

— Красиво, — сказала я тише, чем собиралась. Словно боялась спугнуть это хрупкое ощущение, которое вдруг возникло между нами.

Диамант повернулся. На мгновение его взгляд стал мягче — без оценки, без игры. Просто признание. Красоты. И, может быть, меня.

— Ты ещё ничего не видела, — улыбнулся он. — Я покажу тебе всё: и столицу, и страну. Обещаю.

В груди дрогнуло. Обещает. Мне. Это слово прозвучало так весомо, что я на секунду позволила себе поверить: может, всё действительно будет иначе.

Лимузин плавно поднимался в гору. Дорога виляла между деревьями, и с каждым поворотом открывался новый вид. Внизу блестело озеро, отражая небо. Вдоль берегов белели беседки, тянулись прогулочные дорожки. Вдалеке, на фоне

голубого неба, вырисовывались горы — снежные вершины под прозрачной дымкой.

Машина преодолела последний поворот — и я перестала дышать. Белый замок. Огромный, величественный, но при этом удивительно лёгкий, словно сотканный из облаков. Светлый камень переливался на солнце. Башни и шпили устремлялись вверх. Широкие лестницы украшали статуи крылатых львов. Вокруг раскинулись сады с фонтанами: вода искрилась, рассыпалась бликами, а между дорожками росли розы — от нежно-розовых до тёмно-бордовых. Окна отражали небо и зелень, и казалось, что замок меняется вместе с погодой. У входа, на мраморной площади, ждали всадники в парадных мундирах.

Лимузин замедлил ход и остановился у подножия главной лестницы. Диамант повернулся ко мне. В его глазах было что-то новое — почти торжественное, словно он и сам на миг ощутил вес этого места.

— Вот мы и дома, — сказал он. — Это Морвен, цитадель нашего рода. Резиденция правителей Леброна. Добро пожаловать, Сильвана.

Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Внутри всё смешалось. Восхищение — потому что замок был прекрасен. Тревога — потому что я не знала, что ждёт меня за этими стенами. И предвкушение — потому что впервые за долгое время я чувствовала: я стою на пороге чего-то настоящего. Не игры. Не пытки. Не выживания. Жизни. Этот за-

мок, этот город, эта страна и Диамант рядом — всё это теперь часть моей истории. Я была готова сделать первый шаг внутрь.

2

Водитель открыл дверь. Мы с Диамантом вышли из лимузина. Яркий солнечный свет ослепил на мгновение, а в нос ударил густой пёстрый букет: розы, жасмин, лаванда — и под ними горячий камень, нагретый солнцем, и что-то пряное, незнакомое, похожее на смесь корицы с гвоздикой и восточными благовониями. Почти как одеколон Диаманта. Я глубоко вдохнула и замерла на секунду, позволяя запахам заполнить лёгкие, вытеснить из памяти морозный дух Колтрейна — его ледяную тишину и въевшуюся в кожу сырость.

Во дворе собралась целая толпа: слуги в ярких ливреях, гвардейцы в парадных мундирах с плюмажами, придворные дамы в струящихся платьях с глубокими декольте, мужчины в камзолах с расшитыми рукавами. Я окинула взглядом их наряды — все одеты куда откровеннее, чем в Колтрейне. Там даже в летнюю жару женщины носили закрытые платья с высоким воротом, а мужчины — строгие сюртуки, подчёркивающие суровость нравов. Здесь ткани лёгкие, почти невесомые, линии — плавные и свободные, цвета — сочные, будто каждый хотел крикнуть о своей жизни. От этого зрелища закружилась голова: я словно попала в иной мир, где правила совсем другие, где позволено быть ярким, смелым, живым.

Пальцы сами сжали край моего платья — простого,

скромного, совсем не подходящего к этой обстановке. В груди шевельнулось странное чувство: смесь восхищения и тревоги, острая, как укол тонкой иглы.

«Что я здесь делаю? Кто я среди этих людей?»

Вперёд вышел старик в парадной ливрее: седые волосы аккуратно зачёсаны назад, осанка прямая, несмотря на возраст. Он склонился перед Диамантом и начал торжественную речь:

— Ваше Величество, милорд Диамант, наследник рода Валентайн, повелитель южных и северных земель и хранитель традиций Леброна! Мы, верные слуги и подданные, с великой радостью встречаем вас в стенах родовой цитадели после долгого отсутствия. Да будет ваше правление благословенно, да принесёт оно процветание и славу дому Валентайн! Добро пожаловать домой, Ваше Величество!

Голос его звучал ровно, уверенно — слова лились, будто он повторял их сотни раз. Остальные склонили головы: кто-то поклонился до земли, кто-то лишь почтительно опустил подбородок. Я стояла чуть позади Диаманта и чувствовала на себе десятки взглядов — изучающих, оценивающих, любопытных, но не злобных. Внутри всё сжималось. Я ощущала себя чужой в этом ярком мире — птицей, случайно залетевшей в слишком шумный чужой сад.

Диамант жестом прервал старика — мягко, но решительно — и подошёл к нему вплотную.

— До официальной коронации пока что «Ваше Высоче-

ство», — поправил он негромко. — А ты, Брестон, постарел ещё сильнее. — В голосе прозвучала неожиданная теплота, которую редко можно было от него услышать. — Рад тебя видеть, старый плут. Как и всех вас, — добавил он, обращаясь уже ко всей толпе. — Вы свободны, увидимся вечером на приёме.

Собравшиеся понемногу расходились: первыми отступили гвардейцы, чеканя шаг, за ними — придворные, перешёптываясь и бросая на нас любопытные взгляды, следом — слуги, ловко скользя между колоннами. Вскоре остались только мы, Брестон и караульные.

Но прежде чем толпа рассеялась окончательно, к Диаманту подошёл невысокий мужчина в тёмно-синем камзоле с золотой вышивкой. Лет пятидесяти, с аккуратной седой бородкой и цепким, острым взглядом. Главный министр — я поняла это по тому, как расступились перед ним придворные.

— Ваше Высочество, — он склонился коротко, по-деловому. — Рад видеть вас в добром здравии. Прошу простить за беспокойство, но дела не ждут. Совет соберётся завтра утром. Есть несколько вопросов, требующих вашего участия: земли в восточном округе, которые оспаривает дом Керваль, и прошение гильдии виноделов о снижении пошлин.

Диамант кивнул — коротко, без раздражения.

— Завтра в девять. Подготовьте все документы. И передайте Кервалю, что если он ещё раз попробует решить во-

прос через голову короны, я лично пересмотрю его права на землю. — Голос ровный, но в нём — сталь, от которой министр чуть побледнел. — Что-то ещё?

— Лорд Докманд просил аудиенции, — министр понизил голос. — Сказал… по личному поводу.

Что-то мелькнуло в лице Диаманта — тень, быстрая, как промелькнувшая в воде рыба. Он бросил на меня короткий взгляд — я это заметила, хотя он отвернулся почти сразу.

— Позже. Сейчас не время. Передайте, что я приму его после коронации.

Министр поклонился и отступил. Но не успел он уйти, как к Диаманту подошёл ещё один — молодой мужчина в ярко-изумрудном камзоле, расшитом золотыми нитями, с ленивой улыбкой и слишком смелым взглядом. На поясе — фамильный герб: орёл, держащий в когтях молнию.

— Ваше Высочество. Позвольте засвидетельствовать почтение. Слышал, вы вернулись не один. — Его взгляд скользнул по мне — оценивающе, без стеснения, задержался чуть дольше, чем следовало. — Осмелюсь спросить — кто эта прелестная особа?

Диамант не повернулся ко мне. Но его рука — я заметила краем глаза — чуть сжалась в кулак.

— Лорд Кассиан, — голос прозвучал ровно, но в нём была та особенная, обманчивая мягкость, от которой у меня по спине пробежал холодок. — Вы, кажется, забыли, что не всё, что привозит наследник престола, подлежит публично-

му обсуждению. Леди — моя гостья. Её статус я озвучу, когда сочту нужным. И, поверьте, вам не понравится, если я решу сделать это раньше, чем вы успеете отойти на приличное расстояние.

Кассиан побледнел. Улыбка сползла с его лица, как подтаявший воск.

— Прошу прощения, Ваше Высочество. Я не хотел… — он попятился, склонился ещё раз и быстро затерялся в толпе.

Диамант повернулся ко мне.

— Сильвана, это Брестон, — кивнул он на старика. — Этот старый плут был управляющим замка ещё когда мой дед был подростком. Если тебе что-то понадобится — обращайся к нему. Он знает здесь всё и всех.

Брестон повернулся ко мне, слегка склонил голову и улыбнулся — не подобострастно, а по-доброму, по-домашнему.

— Для меня большая честь приветствовать вас в Морвене, миледи, — произнёс он, и голос его был уже не таким торжественным, как при встрече Диаманта, — тёплым, приветливым.

— А это леди Сильвана Этвуд, — продолжил Диамант, и я чуть вздрогнула, уловив иронию на слове «леди». В груди что-то ёкнуло — то ли обида, то ли тревога, острая и колючая. Но я постаралась не подать виду: выпрямила спину и кивнула Брестону, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовала себя на самом деле.

— Моя… — Диамант сделал паузу, будто взвешивая слова, и эта пауза повисла в воздухе, тяжёлая и многозначительная, — впрочем, её статус я действительно озвучу позже.

Я поймала на себе взгляд Брестона — внимательный, без осуждения, скорее изучающий, спокойный, как у человека, привыкшего ждать и понимать без лишних слов. Он слегка поклонился мне ещё раз, я ответила тем же. В этом коротком обмене поклонами я ощутила что-то вроде молчаливого соглашения: он готов помочь, готов принять меня, но будет ждать, пока ситуация прояснится. И стало чуть легче — будто я получила негласную поддержку, тонкую, но прочную нить, за которую можно держаться.

Мы втроём направились к главному входу. Высокие мраморные ступени вели к массивным дверям, украшенным резьбой: змеи, обвивающие меч, — символ рода Валентайн. По бокам тянулись живые изгороди, подстриженные в геометрические фигуры, и фонтаны, из которых струилась прозрачная вода, рассыпаясь на солнце мириадами искр. Пока мы поднимались, я украдкой оглядывалась: слуги уже суетились, готовясь к вечернему пиру, садовники поправляли клумбы, гвардейцы проверяли посты. Всё двигалось, дышало, жило — и я впервые отчётливо поняла: теперь это мой мир. Не Колтрейн с его холодом и страхом, а новый, яркий, сложный — и пока ещё пугающий своей неизвестностью. Но рядом был Диамант. Пусть в его словах порой звучала ирония, пусть его намерения оставались для меня неясны —

сейчас я чувствовала: он не собирается бросать меня на произвол судьбы. По крайней мере, пока.

Я глубоко вдохнула и расправила плечи.

«Справлюсь. Научусь жить здесь. Разберусь в правилах. Найду своё место».

И этого пока было достаточно.

Диамант

1

Я шёл по коридорам Морвена — широким, залитым солнцем, пронизанным сквозняками, которые несли запахи садов снаружи. И невольно замедлял шаг, впитывая ощущение возвращения. Грудь распирало от странного, почти забытого чувства — не триумфа власти и не удовлетворения от завершённой миссии, а чего-то куда более простого: я дома.

Воздух здесь был особенный. Пахло старым камнем, полированным деревом, воском и едва уловимо — лавандой, которую слуги раскладывали в шкафах. Этот запах действовал как ключ: мгновенно переносил в детство, когда всё казалось огромным и полным чудес. Высокие сводчатые потолки украшали фрески — сцены древних битв, аллегории времён года, звёзды и созвездия, значимые для рода Валентайн. Под ногами расстилался мозаичный пол из разноцветного мрамора: завитки, геометрические фигуры, стилизованные змеи и мечи. Каждый шаг по этим камням ощущался как прикосновение к собственной истории.

Боковым зрением я наблюдал за Сильваной. Она восхи-

щённо оглядывалась, чуть приоткрыв рот, — в глазах неподдельный восторг. Взгляд скользил по резным карнизам, задерживался на витражных окнах, в которых преломлялись солнечные лучи, бросая на пол разноцветные блики. Красные, синие, золотые пятна танцевали вокруг её ног, подчёркивая её чужеродность и одновременно вплетая в эту картину какую-то волшебную гармонию. На мгновение она замерла перед старинным гобеленом — коронация первого правителя Леброна. Я заметил, как её пальцы чуть вздрогнули, будто она хотела прикоснуться, но сдерживалась. И мне вдруг захотелось взять её за руку и сказать: «Трогай. Будь как дома. Прими этот мир».

Брестон шёл чуть впереди, привычно указывая путь. Я поймал себя на том, что сейчас совсем не думаю о власти, о делах государства, о предстоящих переговорах с Советами провинций и коронации. Впервые за долгое время я просто радовался. Радовался вернуться. В груди разливалось тепло, не имеющее ничего общего с амбициями или планами, — чистая, почти детская радость.

Перед глазами мелькали воспоминания. Вот я, лет семи, бегу по этому самому коридору, а за мной несётся воспитатель, грозя наказанием за очередной побег с уроков каллиграфии. Сердце колотится от азарта, ноги сами несут вперёд — прочь от скучных чернил и пергаментов, туда, где интересно. Вот подростком стою у окна, глядя, как во дворе гвардейцы отрабатывают приёмы фехтования, и мечтаю

стать таким же сильным и бесстрашным. Представляю, как выхожу на поле боя, как мой меч сверкает на солнце — и как отец, стоящий на балконе, кивает мне с гордостью. Вот мы с Роландом прячемся за массивной статуей льва, подслушиваем, как отец обсуждает с советниками политику на восточных границах, а потом смеёмся, воображая себя правителями целого мира. Тогда всё казалось простым: достаточно быть смелым, умным и справедливым — и мир у твоих ног. Вот впервые надеваю парадный камзол с родовыми знаками — мне одиннадцать, и я чувствую себя взрослым, почти равным отцу, хотя руки всё равно чуть дрожат от волнения. Брестон тогда поправил мне воротник и шепнул: «Ты справишься, молодой господин. Род Валентайн в надёжных руках».

Эти стены помнили меня маленьким, неуклюжим, испуганным, дерзким, разочарованным — они видели все мои метаморфозы. И теперь, когда я вернулся, словно приветствовали: шёпотом сквозняков, отблесками солнца на полированных поверхностях, знакомым скрипом половиц. Я глубоко вдохнул и на мгновение закрыл глаза, впитывая это ощущение. Дом.

Сильвана тихо ахнула, заметив огромную люстру из горного хрусталя, свисавшую с потолка в главном холле. Запрокинула голову, и по её лицу прошла целая гамма чувств: восхищение, изумление, какой-то детский восторг. В этот момент она казалась такой открытой, беззащитной — совсем

не той сдержанной, настороженной Сильваной, которую я привык видеть. Что-то внутри дрогнуло — ледяная корка на сердце дала трещину.

«Возможно, она примет Леброн, — подумал я. — Хотя это совершенно другой мир для неё».

В Колтрейне всё было строго, серо, подчинено правилам и условностям. Два года в этом ханжеском, почти лишённом чувственности мире были, откровенно говоря, одними из самых ужасных в моей жизни — даже несмотря на абсолютную власть. Там я чувствовал себя запертым в клетке, где каждое движение регламентировано, каждый взгляд выверен, каждая эмоция должна быть уместной. Здесь же — простор, роскошь, вековые традиции, переплетённые с живой, пульсирующей жизнью. Сможет ли она найти здесь своё место? Примет ли эти стены как дом?

— Здесь… невероятно красиво, — тихо произнесла Сильвана, не отрывая взгляда от люстры, игравшей бликами на стенах. Голос её дрожал от восхищения, и в этом звуке было что-то до боли трогательное.

— Это только начало, — улыбнулся я, и улыбка получилась не язвительной, не расчётливой, а искренней, почти мальчишеской. — Ты ещё не видела сады, библиотеку, башню с обсерваторией. И зимний сад, где орхидеи цветут круглый год.

Она повернулась ко мне, и на мгновение в её глазах я увидел нечто новое — не страх, не настороженность, а ис-

кренний интерес. И от этого внутри стало теплее, будто кто-то разжёг маленький костёр в самой глубине души. Может быть, этот дом действительно станет домом не только для меня.

Брестон обернулся и бросил на меня понимающий взгляд — старый слуга всегда умел читать мои мысли без слов. На его лице промелькнула едва заметная улыбка, и он чуть кивнул, будто подтверждая то, что я не решался произнести вслух.

«Да, — подумал я, чувствуя, как что-то давно забытое, почти похороненное, начинает оживать внутри. — Возможно, всё только начинается».

Сильвана

1

Пока я оглядывалась по сторонам, Диамант повернулся к Брестону. Голос прозвучал ровно, без тени колебания:

— Выдели Сильване покои в западной части замка. Подбери что-нибудь достойное.

Я сохранила невозмутимость, но внутри всё сжалось. Где-то в глубине тлела искра надежды — глупой, наивной, почти детской, — что он позволит мне остаться в его комнате. Мне хотелось быть ближе. Почувствовать, что я что-то значу. Не просто спутница, не временная фигура в его игре, а кто-то важный. Ощущать его дыхание на своей коже, слышать, как замедляется его пульс, когда он наконец расслабляется.

Но я тут же одёрнула себя. Диамант слишком ценит лич-

ное пространство — он ни за что не станет делить его с кем-то. Даже со мной. К тому же я не единственная в его жизни; он ясно дал это понять ещё в Рокуэлле. И я смирилась — насколько вообще можно смириться, когда каждая клетка тела хочет остаться рядом.

Брестон склонил голову в поклоне:

— Как прикажете, милорд. Найдём лучшие комнаты, что есть в Морвене.

Он отступил, бросил на меня короткий, почти сочувствующий взгляд и направился к выходу. В этом взгляде я уловила молчаливое утешение: «Так бывает. Привыкнешь».

От него стало ещё горше — словно по свежей царапине провели грубой тканью. Но я выпрямилась, расправила плечи и постаралась улыбнуться — пусть не губами, хотя бы глазами. Здесь так светло, так солнечно. Не время печалиться.

Диамант жестом пригласил меня следовать за ним. Мы поднялись по винтовой лестнице с резными перилами, украшенными позолотой. Ступени были устланы мягким ковром с высоким ворсом, приглушающим шаги, и от этого тишина казалась густой, почти зловещей. Воздух здесь стал другим — более тёплым, с лёгким ароматом сандала и табака. Этот запах вдруг показался мне домашним, хотя я никогда прежде не знала такого дома. Он пах властью, терпкостью, мужским присутствием — и от этого по коже бежали мурашки, то ли от холода, то ли от предвкушения.

Мы оказались в самом роскошном крыле замка. Высо-

кие потолки с лепниной, стены, обитые шёлковыми обоями с тиснением, картины в массивных рамах — сцены охоты и баталий. Каждая деталь говорила о богатстве, власти, вековых традициях, но не подавляла, а словно приглашала стать частью этого мира, раствориться в нём, потерять себя и обрести заново.

Диамант открыл дверь одной из комнат и кивком пригласил войти. Я замерла на пороге. Сразу поняла — его спальня. Обстановка напоминала комнату в Рокуэлле: зеркальные стены и потолок, отражающие каждый луч света, огромная кровать с балдахином на четырёх столбиках, массивная дубовая мебель, бархат на портьерах и покрывале, плазменная панель, стереосистема с огромными колонками. Но здесь всё выглядело иначе. Теплее. В Рокуэлле его спальня была шикарной, но холодной — витрина ювелирного магазина: всё блестит, сверкает, но не греет. А здесь — здесь было жильё, живое, дышащее, наполненное чьим-то присутствием, хотя владелец этих покоев отсутствовал больше двух лет.

Диамант подошёл к небольшому бару у стены, достал бутылку абсента и два хрустальных бокала. Закурил сигарету — дым тонкой струйкой потянулся к потолку. Один бокал он наполнил до половины и протянул мне:

— Выпьем за приезд. И за возвращение домой.

Я приняла бокал, стараясь не коснуться его пальцев, но воздух между нами был такой плотный, что, казалось, даже лёгкое движение могло вызвать разряд. Наши взгляды встре-

тились. В его глазах мелькнуло что-то, чего я не сумела распознать, — мягкое, почти уязвимое, но тут же скрытое привычной маской отстранённости.

«Он тоже не так прост, как хочет казаться, — подумала я. — У него тоже есть слабости. И, может быть, я когда-нибудь увижу их по-настоящему. Увижу, как он теряет контроль, как становится настоящим».

Мы чокнулись. Хрусталь издал чистый, мелодичный звон, отразившийся от зеркальных поверхностей и многократно усиленный ими — будто само пространство праздновало этот момент. Или предупреждало о чём-то.

— С возвращением домой, милорд, — тихо произнесла я, глядя ему прямо в глаза. И в этот раз не отвела взгляд. Пусть видит всё — и восхищение, и страх, и желание, которое я пыталась спрятать.

Он кивнул и улыбнулся. Не язвительно, не иронично — по-настоящему. От этой улыбки внутри что-то дрогнуло, будто лёд, сковывавший сердце, дал первую трещину.

— Спасибо, Сильвана.

Я сделала глоток. Абсент обжёг горло, оставив горьковато-сладкое послевкусие, смешавшееся с привкусом ожидания — терпким и острым. В комнате пахло дымом, полынью, деревом и чем-то ещё, неуловимым. Им.

Диамант сделал затяжку, выпустил дым в сторону окна, за которым уже сгущались сумерки. Фиолетовые и розовые полосы заката прорезали небо, окрашивая облака в цвета,

которых не бывает в Колтрейне. На мгновение всё замерло — время, дыхание, мысли. Только огонь в камине трепетал, отбрасывая пляшущие тени на стены, а зеркала множили их фигуры, создавая иллюзию бесконечности, будто мы не два человека, а целая галерея отражений — переплетённых, сливающихся, теряющих границы.

И в этот миг я вдруг поняла: неважно, в какой комнате я буду жить. Неважно, насколько роскошны или скромны окажутся мои покои. Важно, что я здесь — в его замке, в его мире, рядом с ним. Что он позволил мне увидеть его убежище, его дом. Это уже дар. Но ещё и ловушка. И я входила в неё с открытыми глазами.

2

Я отошла к окну, чтобы стряхнуть оцепенение. Сад внизу раскинулся неприлично, бесстыдно — после выцветшего, серого Колтрейна он казался галлюцинацией. Дорожки вились между клумбами. Пионы — алые, пурпурные, тёмно-розовые, налитые до предела, — раскрывались навстречу уходящему солнцу тяжёлыми влажными головками, и в них было что-то непристойное, что-то от плоти, выставленной напоказ. Фонтаны выбрасывали острые струи, разбивающиеся на мириады искр. Мир здесь был слишком живой. Слишком откровенный. Сюда нельзя было войти и остаться прежней.

Я вдохнула — воздух застрял в груди, колючий и густой, пропитанный запахом цветочного мёда и чего-то горького,

подгнившего, спрятанного под сладостью. Слишком много границ было перейдено за последние часы. Слишком много слов повисло в воздухе — тяжёлых, как свинцовые пломбы на запечатанных письмах.

Диамант подошёл бесшумно. Я почувствовала его раньше, чем услышала. Кожа стала слишком тонкой, будто с неё содрали верхний слой, обнажив нервы, — каждый звенел, откликаясь на его близость. Я задержала дыхание.

— Сегодня вечером будет приём по случаю моего приезда, — произнёс он. Голос — непривычно мягкий, почти ласковый. Внутри всё сжалось туже. — Коронация через неделю. Чуть позже тебя отведут в покои. Приведут в порядок. Ты должна прилично выглядеть.

Я резко повернулась. Кровь ударила в виски. Он говорил так, будто распоряжался нарядом для куклы. Не со мной — с женщиной, которая минуту назад стояла на грани между страхом и желанием. С вещью.

— Чем тебя не устраивает мой внешний вид сейчас?

Голос вышел резче, чем я хотела. Он приподнял бровь. В глазах мелькнул хищный интерес. Сердце дёрнулось. Не от страха. От понимания: я ему интересна. Как загадка. Как добыча, которая огрызается.

— Моя рабыня должна выглядеть достойно.

Два слова — «моя рабыня» — прошли насквозь, оставив после себя странный, двойной след: унижение и жар. Одновременно. Я сжала кулаки, пытаясь понять, почему не

чувствую чистого гнева. Потому что привыкла? Или — что страшнее — потому что начала хотеть этих цепей?

— Значит, ты всё-таки определился с моим статусом? — голос должен был звучать ровно. Не вышло. Горло пересохло, и последние слова сорвались хрипло, обнажённо.

— Я никогда над ним и не заморачивался.

Бросил — коротко, жёстко. И тут же смягчился, и эта смена тона была почти физической, как внезапный порыв тёплого ветра после ледяного сквозняка.

— Здесь не Колтрейн, Сильвана. Никто не станет тебя осуждать. В Леброне свободные нравы, особенно при дворе. Ты сама поймёшь, когда увидишь. — Он помолчал, затем продолжил. — Обещаю. Тебе понравится приём. И то, что будет после.

По позвоночнику скользнул озноб — сверху вниз, медленно, — а следом, как тёплая смола, разлилось предвкушение.

— Что будет после? — спросила я, хотя уже знала.

Он улыбнулся. Не насмешливо. Иначе. С обещанием чего-то, от чего внутри всё оборвалось и одновременно натянулось, как кожа на барабане. Я перестала дышать.

— Познакомишься с пыточной Морвена. Ты сама предложила мне эту игру в Рокуэлле. Помнишь? Ты будешь моей подследственной.

Воспоминание вспыхнуло — яркое, обжигающее. Дерзкий вызов. Слова, сказанные в порыве откровенности, когда язык бежал впереди разума. Теперь они обретали плоть.

Становились цепями, которые я сама на себя надела — звено за звеном, добровольно.

— Уже придумал тему для допроса? — я старалась, чтобы голос звучал легко. Игриво. Получилось — надломленно.

— С этим проблем нет.

В его глазах вспыхнуло пламя — тёмное, ровное, уверенное. Взгляд человека, который точно знает, что сделает со мной и когда.

Он шагнул ко мне. Одно движение — и расстояния не стало. Его пальцы сомкнулись на моём предплечье — жёстко, по-хозяйски — и рывком притянули к себе. Я ощутила всё разом: жар его тела сквозь тонкую ткань рубашки, твёрдость мышц под ней, запах — табак, гвоздика, корица, кожа.

Его рот накрыл мой — жёстко, жадно, безо всякого предисловия. Не поцелуй — захват.

Разум крикнул: «Остановись!» Тело ответило иначе — губы раскрылись, пальцы вцепились в его плечи, впились в мышцы, будто я тонула и он был единственным, за что можно держаться. Он углубил поцелуй — язык скользнул по моему, властно, ритмично, — и мир схлопнулся. Остались только его рот, его дыхание, его хватка. Жар затопил вены, поднялся к вискам, бросился в низ живота. Кровь стучала в ушах. Колени подогнулись. Я перестала понимать, где заканчиваюсь я и начинается он.

Он оторвался от моих губ и опустился к шее. Целовал — жёстко, влажно, прикусывая кожу, оставляя следы. Зубы.

Язык. Горячее дыхание у самого уха. Я вздрогнула — и вместо того чтобы отстраниться, прогнулась к нему, вжалась, подставляя горло. Тело требовало — ещё, сильнее, не останавливайся, — и мне было уже всё равно, как это выглядит, как это звучит, что это значит.

Стук в дверь. Диамант отстранился — резко, одним движением. Его глаза — потемневшие, с расширенными зрачками — задержались на моём лице. Я знала, что он видит: раскрасневшуюся кожу, припухшие влажные губы, грудь, вздымающуюся слишком часто.

— Войдите, — произнёс он. Голос хриплый, севший на полтона.

На пороге появился Брестон. Поклон. Невозмутимое лицо — ни тени, ни намёка. Его взгляд на мгновение встретился с моим: спокойный, понимающий, почти отеческий. И от этого стало не стыдно, а неловко. Как будто меня застали за чем-то, чего я ещё сама не успела назвать.

— Покои для леди Сильваны готовы, милорд.

Диамант кивнул. Его ладонь скользнула по моему плечу — лёгким, почти невесомым жестом. Подушечки пальцев — по ключице, по шее, по краю челюсти. Мимолётно. Но кожа под его прикосновением горела ещё долго после того, как рука убралась.

— Следуй за Брестоном. Вечером за тобой зайдёт Роланд — он через пару часов прибудет в Морвен вместе с двумя мелкими. Проведёт тебя на приём.

Я кивнула. Известие о Роланде слегка ослабило хватку внутри — как глоток прохладной воды после ожога. Бросила на Диаманта последний взгляд. Он смотрел на меня — и в этом взгляде было всё: власть. Обещание. Вызов. Намёк на нежность, спрятанную так глубоко, что можно решить — её нет. И тёмная, пугающая глубина, в которой хотелось утонуть.

Брестон сделал приглашающий жест. Я расправила плечи. Шагнула к двери. Походка ровная, уверенная — снаружи. Внутри всё дрожало. За порогом я глубоко вдохнула, и вкус его поцелуя — горький, пряный, въевшийся в губы — пошёл следом, как тень.

«Что ждёт вечером? Какую игру мы начали — без правил, кроме наших собственных? И кто из нас первым сломается?»

Назад дороги не было. Я это знала. И шла — вперёд.

3

Я шла за Брестоном, впитывая каждую деталь. Шаги звучали приглушённо — мягкий ковёр с замысловатым узором гасил звук, а высокие потолки словно поглощали эхо, превращая его в густую тишину. Вдоль стен висели гобелены с баталиями: кровавые схватки, застывшие в нитях, будто замок хранил память о каждой пролитой капле. На подоконниках стояли вазы с цветами, но их свежесть казалась почти вызывающей рядом с вековой пылью.

Мы свернули в очередной коридор — более узкий и

тихий. Здесь было меньше украшений, зато больше окон. Сквозь витражные стёкла лился рассеянный свет, окрашивая каменный пол в нежно-голубой, персиковый, лавандовый. Неровные пятна ложились на трещины в камне, и на мгновение я залюбовалась этой игрой цвета. В груди что-то дрогнуло — я ощутила не напряжение, а лёгкое, почти забытое любопытство. Хрупкое, как тонкий лёд.

Брестон замедлил шаг и чуть повернулся ко мне:

— Не волнуйтесь, миледи. Морвен примет вас, как и весь Леброн.

Я удивлённо подняла брови и остановилась. В горле пересохло.

— О чём вы? — спросила я, чувствуя, как внутри шевельнулось что-то вроде смущения. Почему он заговорил об этом? Что он заметил в моём взгляде, в том, как я вздрагивала от каждого шороха?

— Не бойтесь этого замка и его двора. И не бойтесь милорда, — сказал Брестон, и в его голосе прозвучала почти отеческая забота. — Этот мальчик… Он сложный, но не такой плохой, как иногда кажется.

На мгновение я замерла, обдумывая его слова. В памяти всплыли последние дни: жёсткость Диаманта, резкие приказы, холодный взгляд, от которого по спине бежал озноб, — и тут же другие картины: его улыбка, когда он показывал мне замок, тепло в голосе, когда он говорил о возвращении домой, поцелуй, от которого всё внутри переворачивалось.

Противоречивые чувства нахлынули волной. Где-то глубоко всё ещё жила обида за те месяцы одиночества, за то, как он просто взял и оставил меня, услав прочь, словно надоевшую вещь. Но рядом с обидой — странное, пугающее притяжение, которое я не могла ни понять, ни отрицать, как не могла бы отрицать собственное дыхание.

— Я уже поняла это, — тихо ответила я, и голос прозвучал чуть дрожаще, выдавая ту уязвимость, которую я так старалась спрятать. — И спасибо за поддержку.

Брестон улыбнулся — чуть заметно, будто остался доволен моим ответом.

— Не за что. А то, что не боитесь, — это прекрасно, — кивнул он. — Я знал милорда с самого детства. Он бывает очень разным: то озорной мальчишка, который прятался у меня за спиной, когда его искали за очередную шалость, то серьёзный юноша, часами просиживавший в библиотеке над историей рода. А теперь вот — будущий правитель. Избалованный, властный, временами жёсткий. Но не всегда жестокий.

Он бросил взгляд на ошейник у меня на шее, но ничего не сказал. В его глазах мелькнуло что-то, чего я не смогла распознать, — то ли сочувствие, то ли понимание, то ли тихая грусть человека, который видел слишком многое и уже ничему не удивлялся.

Мы остановились перед массивной дверью из тёмного дуба, украшенной тонкой резьбой — узоры сплетались в слож-

ный орнамент, напоминавший то ли корни старого дерева, то ли вены на руках старика. Брестон положил ладонь на резную ручку и обернулся.

— Давно вы знакомы с милордом?

— Около полугода, — ответила я, намеренно опуская четыре месяца, когда Диамант оставил меня одну, и все подробности нашего знакомства. Слова застряли в горле, горькие и тяжёлые, и я поспешно опустила взгляд, боясь, что Брестон прочитает в моих глазах то, что я так старательно прятала.

— У него ни одна женщина не задерживалась больше недели, — заметил Брестон, внимательно глядя на меня. — Так что делайте выводы сами. Вы с ним дольше, чем кто-либо.

Его слова прозвучали не как предупреждение, а скорее как осторожное напоминание — будто он хотел, чтобы я была готова ко всему, даже к тому, чего не смогу вынести.

Брестон открыл дверь, и я невольно ахнула. Передо мной раскинулись мои новые покои — просторные, светлые, наполненные теплом. Большие окна выходили в сад, и сквозь прозрачные шторы пробивались лучи заходящего солнца, рисуя на полу золотистые квадраты. У стены стояла кровать с резным изголовьем, покрытая мягким покрывалом. Рядом — небольшой письменный стол с чернильницей и стопкой бумаги, а напротив — камин с мраморной полкой, на которой стояли фарфоровые статуэтки и ваза со свежими пиона-

ми. Их аромат — густой, почти дурманящий — смешивался с запахом воска и дерева. В углу притаился шкаф из тёмного дуба, а рядом — мягкое кресло с пуфом, обитое бархатом. На полу лежал пушистый ковёр. Всё здесь дышало заботой, словно кто-то заранее предугадал каждую мелочь. И от этой мысли на глаза навернулись слёзы — я так давно не чувствовала, что кто-то обо мне заботится. Что кто-то видит во мне не инструмент, не средство, а человека.

— Отдыхайте, — мягко произнёс Брестон, делая шаг назад. — Если что-то нужно — обращайтесь ко мне. И ещё раз: ничего не бойтесь. Морвен не место для страхов. Здесь можно быть собой.

Он поклонился и направился к выходу. Уже на пороге остановился, будто вспомнив что-то, и добавил:

— И помните: милорд… Он просто не привык, что кто-то долго находится рядом, кроме Роланда разве что. Его воспитывали во вседозволенности, с детства готовили как правителя, учили, что весь мир у его ног. Примите это.

Дверь тихо закрылась, оставив меня одну. Я сделала несколько шагов, провела рукой по покрывалу, ощущая его мягкость, и этот простой жест вдруг показался невероятно интимным — будто я впервые позволила себе что-то для себя. Слова Брестона всё ещё звучали в ушах: «Ничего не бойтесь».

Может быть, в этот раз я действительно попробую. Попробую отпустить страхи, которые так долго сковывали ме-

ня, как ошейник на шее. Попробую поверить, что здесь, в Морвене, всё может быть иначе. Что я могу быть не просто чьей-то рабыней, не просто временной спутницей, а кем-то большим. Кем-то, кто имеет право на счастье — даже если оно будет хрупким, как стекло, и таким же опасным.

Я глубоко вдохнула и оглядела комнату новыми глазами — глазами того, кто готов начать сначала, даже не зная, куда ведёт эта дорога.

Глава 8

Глава 8
Второй Шанс

«Они кружились — по кругу, по кругу, по кругу, будто затягивали петлю на собственных шеях и наслаждались каждым витком».

Сильвана
1

Я стояла у зеркала, а вокруг хлопотали служанки: поправляли складки платья, наносили последние штрихи. Их осторожные прикосновения скользили по коже, не оставляя следа. Мысли витали где-то далеко — то возвращались к предстоящему приёму, то убегали к смутным, но светлым надеждам, которые робко прорастали во мне с самого прибытия в Леброн. Тонкие побеги, пробивающиеся сквозь трещины в камне.

Платье было удивительным: откровенное, но без тени вульгарности. Лёгкая ткань цвета тёмного янтаря струилась по фигуре, подчёркивая силуэт и не сковывая движений. Глубокий вырез на спине обрамляли изящные узоры вышивки — тонкие ветви плюща, оплетающие кожу. Бретели казались почти невесомыми, а подол, чуть приподнятый сза-

ди, приоткрывал лодыжки при каждом шаге. В воздухе витал едва уловимый запах пудры и свечного воска — холодный, почти стерильный запах подготовки к торжеству.

В дверь постучали — три коротких, почти робких удара.

— Войдите, — разрешила я, оборачиваясь.

На пороге стояли Рэйн и Мия. Глаза горели восторгом, щёки раскраснелись, будто они только что вбежали сюда после весёлой игры. Мия сжимала маленький букетик полевых цветов, Рэйн — новенькую игрушечную птицу с затейливой резьбой. Я не сдержала улыбки и шагнула вперёд, распахивая объятия. Дети бросились ко мне, и я крепко прижала их к себе, ощущая тепло маленьких тел, их прерывистое, взволнованное дыхание. От Мии пахло лавандой — должно быть, её недавно купали, — а от Рэйна — чем-то неуловимо детским, живым, словно ветер с луга.

— Простите, что не успела навестить вас в Рокуэлле, — тихо сказала я, ощутив укол вины. Погладила Мию по волосам. — Всё как-то не складывалось…

— Ничего, ничего! — перебил Рэйн, отступая на шаг. В его глазах не было ни тени обиды — только чистое, безграничное доверие. — Зато мы теперь здесь!

— В Леброне! — подхватила Мия, подпрыгивая. — Сильвана, ты не представляешь, какая здесь красота! А в Колтрейне взрослые говорили, что здесь живут не люди, а демоны. Но это же неправда!

Они заговорили одновременно, перебивая друг друга, и

голоса слились в радостный гомон, заполнивший комнату. Рэйн размахивал руками, описывая небо над Леброном — такое яркое, совсем не похожее на хмурые тучи Колтрейна. Рассказывал, как облака казались ему огромными белыми зверями, плывущими над крышами. Мия восторженно говорила о первом в их жизни полёте: как они смотрели в окно, как видели внизу поля и леса, как волновались и смеялись одновременно, чувствуя, как мир раскрывается перед ними с каждой секундой.

— А когда мы прилетели! — выпалил Рэйн. — Тут всё другое! Совсем-совсем! В Колтрейне всё серое, а здесь… здесь всё цветное, яркое!

Мия кивнула, подхватывая:

— И деревья зелёные-зелёные, и цветы такие яркие, и даже воздух пахнет по-другому! Как будто… как будто праздник.

Я слушала их, и сердце наполнялось теплом — почти до боли острым. В их словах звучало то, что я сама лишь начинала осознавать: Леброн действительно другой. Не просто страна на карте, не просто замок с высокими башнями, а место, где можно начать заново.

— Вам нравится здесь? — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе.

Дети посмотрели на меня синхронно. Глаза — у Рэйна тёмно-карие, у Мии светло-голубые — светились одинаковым восторгом, чистым и незамутнённым, как утреннее

небо.

— Очень! — воскликнули они хором.

Я опустилась на колени, чтобы быть с ними на одном уровне, и взяла их за руки. Ладони маленькие, тёплые, доверчивые. Мия тут же вложила в мою ладонь свой букетик — лепестки уже чуть увяли, но всё ещё хранили запах сада. Рэйн протянул игрушечную птицу — тонкая работа, в которую вложили терпение и заботу.

И в этот момент я вдруг отчётливо поняла: не я одна найду в Леброне новый дом. Для них эта страна может стать чем-то большим, чем просто новое место на карте. Здесь они впервые почувствуют себя по-настоящему свободными — смогут дышать полной грудью, не оглядываясь на тени прошлого. А значит, и у меня есть шанс. Маленький, едва заметный, как первый луч после долгой ночи, — но такой необходимый.

Мы стояли так несколько мгновений — трое людей, чьи судьбы только начали сплетаться в одну историю. В комнате, наполненной светом, шорохом ткани и тихими хлопотами служанок, мне вдруг стало удивительно спокойно. Все тревоги разом отступили, спрятались в тёмные углы, боясь нарушить эту хрупкую гармонию. За окном щебетали птицы, а в воздухе витал аромат цветущих кустов из сада Морвена — сладкий, густой.

Впервые за долгое время я вдохнула полной грудью — и воздух Леброна показался мне сладким, как обещание, которому хочется верить, даже если знаешь, что мир редко дер-

жит свои слова.

Диамант

1

Я трахал её сзади — жёстко, размеренно, без единого лишнего движения. Она стояла на четвереньках на краю кровати, вцепившись пальцами в покрывало, и подавалась назад, насаживаясь на меня с торопливой, почти жадной готовностью. Каждый толчок отдавался глухим шлепком кожи о кожу — сухим, механическим, как удары метронома. Её спина выгибалась, позвонки проступали под бледной кожей, и я видел, как напрягаются мышцы — она старалась, правда старалась, — подавалась назад резче, чем нужно, будто хотела доказать, что заслуживает. Заслуживает чего — я не знал. Меня это не касалось. Я не слушал её стонов — высоких, с придыханием, которые должны были звучать страстно, но звучали как заученная реплика из дешёвой пьесы. Закрыл глаза и позволил телу делать то, что оно умело, — без мыслей, без желания, на голом рефлексе.

Оргазм пришёл быстро, пустой и острый, как укол иглы. Я выдохнул сквозь зубы, вжался в неё на последнем толчке — до конца, до судороги в бёдрах, — и на секунду замер, чувствуя, как тело отпускает напряжение. Вместе с ним уходило всё, что могло бы называться удовольствием. Осталась только липкая испарина на коже, тяжесть в паху и раздражение — смутное, ноющее, как заноза под ногтем. Я отстранился резко, почти грубо — она охнула, качнулась вперёд,

ловя равновесие, — и сел на край кровати. Сперма стекала по внутренней стороне её бедра, собиралась на покрывале мутной каплей. Мне было противно смотреть. На неё. На себя.

Она обернулась через плечо — раскрасневшаяся, с улыбкой, в которой голод смешался с надеждой. Всё ещё надеялась. На что — на нежность? На объятие? На то, что я поправлю ей волосы, скажу что-нибудь тёплое?

— Одевайся.

Слово упало сухо, без интонации. Я отвернулся, потянулся к пачке на прикроватном столике, выбил сигарету и щёлкнул зажигалкой. Затянулся, глядя в зеркальный потолок. В отражении она засуетилась, собирая разбросанные вещи, натягивая платье — торопливо, неуклюже, то и дело бросая на меня быстрые взгляды. Ткань прилипла к влажной спине, и она поморщилась, одёргивая подол. Я проследил за движением её руки — и остановился взглядом на полосах. Там, где багровели следы от плети. Полосы неровные, чуть припухшие, с тёмной каймой засохшей крови по краям. Одна — через всю лопатку, тонкая, ровная, как почерк хирурга. Другая — ниже, перечёркнутая крест-накрест, с запёкшимися точками на месте рассечённой кожи. Не слишком жестоко — ровно настолько, чтобы кожа запомнила. Чтобы каждый раз, касаясь спинки стула, она вспоминала, кто здесь хозяин.

А влетела она ко мне без стука — рассчитала момент с точностью тени, притаившейся за дверью. Имя её выве-

рилось раньше, чем она переступила порог, — Лея? Лия? — растворилось в дыму, в тяжёлом мускусе её духов, в монотонном журчании голоса, от которого хотелось заткнуть уши. Теперь она суетилась у зеркала, щебетала что-то восторженное, то и дело оборачиваясь с улыбкой, которая, видимо, должна была казаться соблазнительной, но лишь обнажала отчаянный, почти животный голод — быть замеченной, быть нужной, быть хоть чем-то. Она поправила бретельку, и я увидел, как под тонкой тканью проступили бусины крови — одна, вторая, — просачиваясь сквозь платье, оставляя на шёлке тёмные точки. Она этого не замечала.

За такую наглость — ломиться ко мне, как к себе домой, — она получила сполна. Не то чтобы я старался. Просто не люблю, когда нарушают мои границы. Плеть была ближе, чем слова. И теперь, глядя на её спину, я чувствовал только одно — раздражение. Оно сидело под кожей, зудело, как комариный укус. Она уже была здесь слишком долго. Её голос, её духи, её присутствие — всё это заполняло комнату, как вода трюм, и я ощущал, что тону в чужой, никчёмной, липкой пустоте.

Болтовня всё не кончалась. Она рассказывала, как скучала, как мечтала снова увидеть меня, как «всё было так волшебно в прошлый раз, а теперь ещё лучше». Про «прошлый раз» я не помнил ничего. Видимо, переспал и тут же стёр её лицо, как ненужную запись.

— Довольно.

Я не повысил голоса. Но она замерла на полуслове — так замирает насекомое, когда чувствует вибрацию приближающейся подошвы.

— Убирайся. От твоей трескотни у меня раскалывается череп.

Она вздрогнула. На миг потерялась, но быстро взяла себя в руки. И вместо того чтобы обидеться, подошла вплотную, обхватила за шею горячими влажными пальцами и прижалась ртом к моему — жадно, мокро, слишком долго. Не поцелуй. Попытка выжечь себя в чужой памяти. Её язык скользнул по моей нижней губе, влажный и настойчивый, и я почувствовал приторную сладость помады, липкую, как патока. Я поморщился, отстранился — резко, ладонью в её плечо. Она отшатнулась.

— До новых встреч, — прошептала она с интонацией, в которой мольба и угроза сплелись в одну удавку.

Дверь закрылась. Запах её духов — мускус, пудра, что-то цветочное и гнилое одновременно — ещё висел в воздухе, оседал в горле, как пепел после пожара. Я провёл тыльной стороной ладони по губам, стирая помаду. На коже остался жирный след — розоватый, чужой. Я потушил сигарету о край пепельницы — резкий скрежет стекла по металлу — и откинулся на подушки. Зеркальный потолок показал моё отражение — пресыщенное, но не удовлетворённое. Тело осталось равнодушным. Разум — холодным. Она была трением без искры, движением без цели, пустым звуком.

Настоящее ждало вечером. После приёма я уведу Сильвану в пыточную. В голове уже разворачивались подробные сценарии: её сопротивление, упругое, почти красивое в своей тщетности; дрожь, пробегающая по бёдрам, когда кожаный ремень касается их впервые — не ударом, нет, лёгким скольжением, обещанием; её взгляд — широко распахнутые глаза, в которых страх смешивается с чем-то, что она сама боится назвать. Я почти слышал её прерывистое дыхание — рваное, влажное, горячее. Видел, как пальцы впиваются в собственные ладони, сдерживая крик, как приподнимается грудь, как позвоночник выгибается, когда боль и что-то иное — тёмное, запретное — сталкиваются внутри неё, рождая звук, который она не хочет издавать, но издаст. Обязательно издаст. И этот звук будет настоящим. Не заученным. Не купленным. Её тело не умеет лгать — оно отвечает раньше, чем разум успевает выстроить стену.

Я резко встряхнул головой. Образы цеплялись за сознание, как крючки за сырое мясо. Не сейчас. Пора готовиться к приёму. Терпение — моё главное оружие. Не самое благородное, зато самое точное.

Я поднялся. Медленно натянул рубашку, застегнул все пуговицы, кроме двух верхних, и бросил взгляд в зеркальную стену. Тёмные волосы чуть растрёпаны. Небрежность, которую можно выдать за стиль. Я поправил манжету, провёл ладонью по подбородку и улыбнулся отражению. Безупречно. Как и должно быть.

«Да, сегодня будет интересный вечер».

Где-то внутри шевельнулось предвкушение — холодное, расчётливое, но оттого лишь более острое. Лезвие, уже чувствующее тепло будущей раны. Сильвана. Она была другой. В ней не было этого липкого голода, этой жалкой потребности нравиться. В ней была сталь, прикрытая шёлком. Сталь, которая звенит, когда по ней проводишь ногтем. Сталь, которая раскаляется добела, если знать, где приложить пламя. А я знал. Ломать сталь — наслаждение. Мять глину — скука.

Сильвана

1

Я всё ещё стояла на коленях, держа за руки Рэйна и Мию, когда дверь тихо приоткрылась. В комнату вошёл Роланд — в парадном тёмно-синем бархатном костюме. Солнечные блики играли на манжетах и воротнике, выхватывая из полумрака тонкие нити узора. От него веяло спокойствием — будто он одним своим присутствием мог уравновесить любой хаос.

— Добрый день, — улыбнулся он. — Похоже, здесь без меня уже весело.

Рэйн тут же выпустил мою руку и бросился к нему:

— Роланд! Мы рассказывали Сильване про самолёт! И про деревья — они здесь такие зелёные, ярче, чем в Колтрейне, будто светятся изнутри!

Мия подхватила, чуть ли не подпрыгивая:

— И про цветы! Их тут столько, сколько у нас в Колтрейне

не бывает никогда!

Роланд засмеялся — глубоко, уютно. Присел на корточки, чтобы быть с детьми на одном уровне, и потрепал Рэйна по волосам, взъерошив тёмные кудри.

— Они тебя не утомили? — я с улыбкой посмотрела на Роланда. — Диамант, помимо должности писаря и телохранителя, свалил на тебя ещё и обязанности няньки. Тебе следует требовать повышения жалованья.

— Ничуть не утомили, — ответил он, поднимаясь и протягивая мне руку. Его ладонь легла на мою легко, но уверенно. — Наоборот, с ними я будто снова оказался в детстве. Помнишь, Мия, как мы прятались в оранжерее от Брестона?

Девочка хихикнула и кивнула, а Рэйн тут же потребовал рассказать эту историю целиком — с подробностями, «как было на самом деле». Роланд на мгновение задумался, и взгляд его стал мечтательным, далёким, будто он и впрямь переносился в те годы, где не было ни дворцовых интриг, ни тяжёлых решений.

— Знаешь, — сказал он, глядя куда-то в сторону окна, за которым раскинулся сад, — у меня вдруг появилось сильное желание остепениться, обзавестись семьёй. Теперь, когда я вернулся на родину, это кажется не такой уж несбыточной мечтой. Будто воздух здесь помогает решиться на что-то важное, сбрасывает с плеч груз лишних сомнений.

Я искренне улыбнулась. В этот момент он выглядел таким настоящим — не придворным, не исполнителем чужих при-

казов, а просто человеком, который вдруг понял, чего действительно хочет, и не побоялся об этом сказать.

— Это прекрасная идея, — сказала я. — И, глядя на то, как к тебе льнут Рэйн и Мия, могу с уверенностью сказать: из тебя выйдет прекрасный отец.

Он слегка покраснел — едва заметный румянец вспыхнул на щеках и тут же угас, словно Роланд стеснялся собственной уязвимости, — и благодарно кивнул.

— Спасибо. Приятно слышать это от тебя.

Чуть погодя он перевёл взгляд на меня:

— А тебе нравится здесь? Успела осмотреться?

Я на секунду задумалась. Перед глазами промелькнули залитые солнцем улицы Сианона, башни Морвена, сады, где цветы казались настолько живыми, будто вот-вот заговорят.

— Видела немного, — призналась я, — но дворец и природа просто потрясающие. Ещё я познакомилась с Брестоном. Он… очень внимательный и мудрый. С ним сразу становится спокойнее.

— О, Брестон — это настоящее сокровище, — усмехнулся Роланд. — Он не раз спасал меня и Диаманта от гнева короля Лагерта, когда мы что-нибудь вытворяли. Бывало, спрячемся в библиотеке, а он сделает вид, что не заметил, или придумает какую-нибудь историю, чтобы нас не наказали. Однажды мы с Диамантом устроили гонки на велосипедах по коридорам — представляешь? Брестон тогда убедил Лагерта, что это была тренировка ловкости: мол, будущий пра-

витель должен быть проворным, а верный друг — поддерживать его во всём.

Я невольно улыбнулась, представив юных Роланда и Диаманта, прячущихся от королевского гнева. В этот образ трудно было поверить, глядя на нынешнего Диаманта — холодного, расчётливого, привыкшего держать всё под контролем.

— Не сомневаюсь, тебе понравится Леброн, — добавил Роланд, глядя мне в глаза. Взгляд его был прямой, без тени лукавства. — И я искренне рад, что Диамант взял тебя с собой. Это хороший знак.

Я хотела было спросить, что он имеет в виду, но Роланд уже поднялся и хлопнул в ладоши — бодрый, резкий звук разогнал остатки задумчивости.

— Так, а теперь нам пора на приём. Рэйн, Мия — вы с нами?

Дети запрыгали от восторга и тут же схватили нас за руки — Мия вцепилась в мою ладонь, Рэйн ухватился за Роланда. Её пальцы были такие маленькие и тёплые, что сердце невольно сжалось от нежности.

Роланд протянул мне свободную руку. Пальцы его были крепкие, а пожатие — уверенное, но бережное, словно он чувствовал, как хрупок этот миг спокойствия.

— Готова? — спросил он с лёгкой улыбкой, в которой не было ни спешки, ни давления — только тихая поддержка.

Я кивнула, чувствуя, как внутри разливается непривычное, но приятное ощущение — будто я действительно начи-

наю становиться частью чего-то большего. Не просто спутницей Диаманта, не просто гостьей в чужом замке, а кем-то, кто может здесь остаться. Кто имеет право на этот свет, на эти голоса, на этот воздух, пахнущий цветами и надеждой.

Мы вышли из комнаты вчетвером — я посередине, дети по бокам. Коридор, залитый золотистым светом вечернего солнца, распахнулся перед нами. Тёплый свет лёг на каменные плиты, сглаживая их суровость, и на мгновение замок перестал казаться неприступной крепостью — он стал домом, который осторожно протягивал нам руку.

Где-то вдалеке уже слышались голоса придворных, звон бокалов, музыка — приём начинался. Но в этот миг всё это казалось далёким и неважным. Важны были только тёплые детские ладони в моих руках, улыбка Роланда и ощущение, что, возможно, Леброн и правда станет моим домом — не по воле случая и не по чужой прихоти, а по собственному выбору.

2

Мы с Роландом и детьми вошли в пиршественный зал Морвена — и у меня перехватило дыхание. Высокие сводчатые потолки терялись в полумраке. Фрески на них казались живыми: герои в сияющих доспехах сражались с чудовищами, правители протягивали друг другу руки над картой страны. Прошлое не ушло — оно притаилось и наблюдало за каждым, кто переступал порог. Между массивными колоннами, увитыми плющом и розами, мерцали факелы в кованых под-

свечниках. Пламя вздрагивало от каждого дуновения, отбрасывая дрожащие блики на мраморный пол. Воздух был напоён ароматами цветов, благовоний и пряных блюд. От этого дурманящего запаха праздника кружилась голова.

В дальнем конце зала играли музыканты. Тяжёлые, почти гипнотические ритмы барабанов переплетались с переливами флейты, скрипка выводила чувственные, волнующие мелодии, а время от времени в общую гармонию врывались резкие аккорды электрогитары — странное, но завораживающее сочетание древнего фолка и современности. Звуки окутывали, как тёплый вечерний туман, заставляли сердце биться чаще, а дыхание — замедляться. Само время здесь текло иначе.

Я оглядела гостей. Наряды дам оказались ещё более откровенными и изысканными, чем те, что я видела во дворе. Блестящие ткани облегали фигуры, кружева и шёлк переливались в свете огней, драгоценности сверкали на шеях, запястьях и в волосах. Мужчины в строгих, но элегантных костюмах перемещались между группами гостей, смеялись, обменивались шутками, поднимали бокалы. В их движениях чувствовалась непринуждённость, которой так не хватало в чопорном Колтрейне, где даже улыбка казалась рассчитанной.

Рэйн и Мия, обгоняя друг друга, бросились к огромному столу. Пирамиды фруктов — пурпурные гранаты, янтарные груши, рубиновые яблоки. Дымящиеся блюда с дичью, украшенные зеленью. Пирожные, блестящие глазурью. Серебря-

ные кувшины с разноцветными напитками. Дети замерли перед этим великолепием, раскрыв рты, и в их глазах отражались огни зала — два зачарованных путника, впервые увидевших чудо.

Не успели мы с Роландом сделать и нескольких шагов, как к нам подошли придворные — мужчины и женщины, чьи лица светились искренним дружелюбием без тени фальши.

— О, вы, должно быть, Сильвана! — воскликнула изящная брюнетка с изумрудными серьгами и веером из павлиньих перьев. Голос её звенел, как тонкие хрустальные колокольчики. — Мы так рады видеть девушку из другой страны! Вы просто обязаны рассказать, каково это — быть подругой самого Диаманта! В его глазах всегда такая глубина, вы не находите?

Блондинка в платье цвета лаванды тут же подхватила:

— Вы же родом из Колтрейна? О, это такая загадка для нас — эта серая, туманная земля! Поделитесь, там правда всё настолько… монохромно? Или это просто слухи?

Третья, постарше, с тёплой улыбкой и в платье глубокого бордового оттенка, мягко коснулась моего локтя. Пальцы прохладные, но прикосновение оказалось на удивление успокаивающим.

— Не стесняйтесь, дорогая. В Леброне мы ценим искренность и живость. Расскажите, что вас больше всего поразило в нашем дворце? Может быть, сады? Или библиотека с древними манускриптами?

Я потерялась под натиском внимания — слова рассыпались где-то на полпути к языку. Но в их взглядах не было насмешки или высокомерия, только живой интерес. Это сбивало с толку: в Колтрейне подобные встречи всегда сопровождались холодными взглядами и скрытыми оценками, где каждое слово приходилось взвешивать.

Роланд наклонился ко мне и произнёс тихо, почти на ухо:

— Не смущайся. В Леброне не придают такого значения титулам, как в Колтрейне. Здесь ценят личность, а не положение. Я искренне надеюсь, что ты найдёшь здесь друзей.

Его слова согрели изнутри. Волнение постепенно отпустило, уступая место лёгкости и любопытству. Я улыбнулась даме в бордовом и ответила:

— Больше всего меня поразила природа Леброна — такая яркая, живая. И сад замка… он словно сошёл со страниц волшебной книги. Там есть дерево с пурпурными листьями — я никогда такого не видела!

— О, вы обязательно должны посетить оранжерею на закате! — воскликнула блондинка, и глаза её загорелись. — В это время цветы пахнут особенно сильно, а свет проходит сквозь витражи так, что всё вокруг кажется золотым! Я сама каждый вечер нахожу там минутку для размышлений. Ну, или для более интересных дел, если прихожу туда не одна. — Она лукаво подмигнула, и в этом жесте было столько непринуждённой дерзости, что я невольно улыбнулась в ответ.

Постепенно я расслабилась, начала отвечать на вопросы,

задавать свои. Разговор лился легко, непринуждённо — никто не оценивал каждое слово, не искал скрытого смысла, не пытался поймать на ошибке. Я чувствовала, что могу просто быть собой. И самое удивительное — все они видели ошейник на моей шее, а значит, понимали мой статус. Но я не замечала ни одного презрительного или осуждающего взгляда. Они общались со мной как с равной. Эта простая, почти незаметная деталь значила больше любых громких слов.

Где-то вдалеке я заметила Диаманта — он стоял в окружении знатных особ, но его взгляд на мгновение скользнул в мою сторону. Что-то в его выражении заставило сердце сжаться: то ли ревность, то ли расчёт, то ли привычная отстранённость, в которой пряталась целая буря. Но тут Мия подбежала ко мне с куском фруктового пирога и воскликнула:

— Сильвана, попробуй! Он такой вкусный, с малиной и миндалём!

Я засмеялась, взяла кусочек и откусила. Сладость малины и лёгкая горчинка миндаля взорвались на языке, оставив тёплый, густой вкус. На секунду я забыла обо всём: о титулах, статусах, чужих взглядах и собственных страхах.

— Действительно вкусно, — сказала я, погладив девочку по голове.

Роланд подмигнул мне, а Рэйн уже тащил Мию к фонтану с лимонадом. Я глубоко вдохнула — цветы, музыка, свобода. Здесь можно было дышать полной грудью, смеяться вслух,

быть собой — и не бояться, что кто-то попытается это отнять.

3

Я стояла чуть в стороне, вжавшись в тень колонны, как нож в ножны. Наблюдала за Диамантом. Его красота не ласкала — вскрывала. Лезвие, отточенное до той остроты, когда уже не чувствуешь пореза, только видишь кровь. Он стоял в центре зала — высокий, хищно элегантный в чёрной рубашке, чьи серебряные вставки на манжетах и воротнике ловили свет канделябров так, будто были вшиты прямо в кожу. Длинные тёмные волосы отбрасывали медные отблески. Скулы — резкие, безжалостные, высеченные не из камня, а из привычки быть выше всех в любой комнате. Улыбка появлялась редко. Когда появлялась — это было не тепло. Это было оружие. Женщины вокруг него трепетали, тянулись, бросались в эту бездну с разбегу, надеясь, что он поймает. Он не ловил.

Они кружились — смеялись слишком звонко, касались его рукава кончиками пальцев, шептали на ухо что-то, от чего их собственные щёки розовели. Их шёпот сплетался в настойчивый гул, похожий на жужжание голодных ос над вскрытым плодом. Рыжеволосая в платье цвета спелой вишни — чертами неуловимо похожая на Ванессу — повисла на его руке, прижимаясь так откровенно, будто хотела впечатать себя в него. Блондинка с жемчужным ожерельем, лежавшим на ключицах как молочная змейка, томно вздыхала,

ловя каждое его слово.

Ревность ударила не в голову — в солнечное сплетение. Острая. Металлическая. Она обожгла грудь, впилась когтями под рёбра и потянула вниз, к чему-то тёмному и унизительному. Но я стиснула зубы. Я помнила обещание: не ныть из-за других женщин. Не устраивать сцен. Не обнажать мягкое подбрюшье на виду у стаи. Вдохнула глубже. Расправила плечи. Сосредоточилась на музыке, на ароматах пира — розы, вино, пряности. Всё это оседало горькой пылью где-то в гортани, там, где застрял невысказанный крик.

Чьи-то пальцы коснулись моей руки. Роланд. Его улыбка была ободряющей, но в ней лежала тяжесть понимания: он видел всё. Знал, что мне больно. Просто не хотел, чтобы я сломалась здесь — на мраморном полу, под хрустальным светом, на глазах у всех этих сытых красивых хищников. Без единого слова он взял меня за руку и повёл за собой. Его ладонь была сухая, уверенная. Просто человеческое тепло.

— Пойдём, — сказал он, наклонившись так близко, что я уловила запах его одеколона. — Пора представить тебя кое-кому из важных гостей. — Пауза. Лёгкая, точно рассчитанная. — И Диамант будет рад видеть тебя рядом.

Мы подошли к группе. Диамант заметил нас мгновенно — чуть приподнял бровь. Жест почти неуловимый, но я уже научилась читать его микродвижения. Вопрос. И глубже, на самом дне зрачков — что-то тёплое, мимолётное. Отблеск далёкого костра в чёрной воде.

— Сильвана. — Он чуть склонил голову. Голос — низкий, густой, обволакивающий — проник под кожу и остался там, как ожог. — Ты выглядишь… впечатляюще.

Это слово в его устах прозвучало как прикосновение — не к щеке, а к горлу.

— Спасибо, — ответила я ровно, удерживая голос, но внутри всё билось. — Приём удался на славу. Никогда не видела ничего подобного.

— Рад, что нравится. — Кивок короткий, тяжёлый, пропитанный привычной властью. — Леброн умеет удивлять.

— И люди здесь другие, — добавила я осторожно. — Более открытые, чем я ожидала.

— Да. — Усмешка. В ней скользнуло что-то хищное, сытое. — В Леброне меньше условностей, чем в Колтрейне. Плюс и минус одновременно.

— Но всё же плюс, — вставил Роланд, и голос его прозвучал твёрдо. — Иначе Сильвана не чувствовала бы себя так свободно.

Диамант перевёл на него взгляд — холодный, рентгеновский. Потом снова на меня. По коже пробежал ледяной ток, словно кто-то провёл остриём ножа от ключицы до запястья, не надавливая, но обещая.

— Согласен. Свобода — всегда плюс. Если умеешь ею пользоваться.

Я уже открыла рот, чтобы ответить, но воздух между нами рассекло чужое движение. Она появилась — нет, обруши-

лась, — как шторм в синем шёлке. Невероятно красивая девушка азиатской внешности, и слово «девушка» было слишком мягким для того, что я увидела. Волосы — чёрные, густые, заплетённые в сложную косу, прошитую серебряными нитями и мелкими сапфирами, мерцавшими, как холодные звёзды. Высокие скулы, миндалевидные глаза цвета тёмного гречишного мёда, полные губы, изогнутые в улыбке, в которой озорство и опасность были замешаны в равных долях. Платье из переливающегося синего шёлка облегало тело как вторая кожа — разрез до бедра обнажал ногу при каждом шаге, а вышитые вдоль рукавов драконы, казалось, дышали. Двигалась она плавно, текуче, по-звериному — дикая сила, не скованная ни одним правилом, не приручённая ни одним этикетом.

Она не подошла. Она бросилась. Обхватила Диаманта за шею, впечаталась в его губы — жарко, жадно, уверенно, нисколько не стесняясь, — словно весь зал существовал лишь затем, чтобы стать свидетелем. Это был не поцелуй. Метка. Заявление. Укус, замаскированный под ласку.

Он не отстранился. Его руки легли на её талию — привычно, властно, с тем уверенным нажимом, который приходит от долгого опыта обладания. Я видела, как в его глазах что-то оттаяло — нечто, что обычно лежало за ледяной маской, — и это мгновенное тепло, предназначенное не мне, обожгло сильнее любой ревности. Сильнее — потому что ревность можно задушить. А вот понимание, что ты не единственная,

кто способна его растопить, — нельзя.

— Привет, Зейнаб, — сказал Диамант, отстраняясь, но не отпуская. Его пальцы сомкнулись на её запястьях чуть крепче, чем требовал жест. — Давно не виделись.

Зейнаб засмеялась — звонко, свободно, разнузданно. Смех заполнил зал, заглушил музыку и голоса. Она скользнула взглядом по мне — быстрым, оценивающим, чуть насмешливым, но без яда. Так смотрят на соперницу, которую пока не приняли всерьёз, но уже взяли на заметку.

— Привет, изверг, — протянула она, и в голосе звенела дерзость, настоянная на чём-то интимном, на каком-то общем секрете, в который мне не было входа. — Вижу, ты не один. — Бровь поднялась — выразительно, театрально, но точно. — Кто эта очаровательная леди с невероятным цветом волос?

4

При звуке имени «Зейнаб» память вскрылась разом, как нарыв. История, рассказанная Диамантом, хлынула в сознание ледяным сквозняком, выстудила кожу, подняла волоски на руках. Мы сидели на крыше Рокуэлла, и Диамант был непривычно откровенен — почти задумчив, будто сам удивлялся тому, что позволяет словам покидать рот.

Он говорил о наложнице правителя Нэллэйда. Девушку звали Зейнаб. Правитель привёз её ко двору Леброна, как везут трофейную лошадь — показать, что сломал. Но он не просто насиловал её. Он разбирал её на части — методично,

палец за пальцем, нерв за нервом, испытывая пределы плоти и духа, наслаждаясь тем, как она сжимается под ним, как в её глазах гаснет свет. Он вбивался в неё, как вбивают гвоздь в живое дерево, и каждый раз ждал треска. Но дерево не трескалось. Она ненавидела его — открыто, бесстыдно, с такой силой, что ненависть стала для него невыносимее любой покорности. Он почти приговорил её к смерти. Не за непослушание — за то, что не смог ни потушить её глаза навсегда, ни заставить их гореть от страсти.

Диамант поспорил с правителем. Сказал, что добьётся от Зейнаб взаимности без принуждения. Если она не захочет — отступит. Правителю стало любопытно. Он согласился — как соглашаются на зрелище, не веря, что зверь подойдёт к чужой руке сам. И вскоре Зейнаб стала другой женщиной. Не счастливой — освобождённой. Они провели ночь без насилия, но это не была нежность. Это была власть — голая, раскалённая, честная. Танец на лезвии, где каждое прикосновение обжигало до кости, каждый стон был признанием, каждый укус — клятвой. Он держал её за горло — и она подставляла горло сама. Она призналась, что всегда чувствовала тягу к боли — но только к той, которую выбирала. Только с тем, кому позволяла стоять над собой. Держать поводок. Но не душить.

Правитель Нэллэйда отпустил её. Не великодушно — с досадой: его утёр нос шестнадцатилетний мальчишка, и это жгло сильнее, чем потеря наложницы. Но слово он сдержал.

Какое-то время Зейнаб была любовницей Диаманта. Потом он устал. Её ревность впивалась в него, как шип, — даже ласка становилась колючей, даже близость отдавала железным привкусом собственничества. Расстались мирно. Оба знали цену боли и не хотели её множить.

Теперь я понимала, кто передо мной. Эта женщина с диким, завораживающим взглядом. С улыбкой, в которой сила и уязвимость сплелись так туго, что разделить их мог бы только нож. Её присутствие заполняло пространство невероятной энергией — казалось, она способна разжечь огонь одним движением зрачков. От неё веяло жаром и холодом одновременно — как от раскалённого лезвия, только что вынутого из горна.

— Сильвана, — произнёс Диамант, поворачиваясь ко мне. Голос ровный. Но в нём — едва уловимое натяжение, как в тросе, который держит что-то тяжёлое над пропастью. — Позволь представить тебе Зейнаб, мою давнюю подругу. Зейнаб, это Сильвана. Она пока никого не знает при дворе, и я буду благодарен, если ты возьмёшь её под покровительство. Покажешь, как здесь всё устроено, познакомишь с нужными людьми.

Зейнаб окинула меня взглядом — не оценивающим, не враждебным. Изучающим. Острым, как хирургический инструмент. В её миндалевидных глазах мелькнуло предвкушение — или узнавание, словно она уже видела таких, как я, и знала, чем это заканчивается. Она шагнула ближе. Сердце

дёрнулось.

— С удовольствием, — улыбнулась она, протягивая руку.

Ладонь тёплая. Сухая. С едва заметными мозолями — эта женщина не боялась пачкать руки. Пальцы сильные, хватка уверенная — не жёсткая, но такая, от которой не вырвешься, если она не захочет отпустить.

— Буду рада. В Леброне много странных правил, но ещё больше — возможностей. Ты быстро освоишься, Сильвана.

Она произнесла моё имя так, словно пробовала его на вкус. И вкус ей нравился.

В этот момент Роланд наклонился к Диаманту и что-то шепнул ему на ухо. Слова тонули в музыке, но я видела, как напряглись жилы на его шее, как на долю секунды сузились зрачки. Диамант усмехнулся. Кивнул. Повернулся к нам.

— Простите, дамы, — лёгкая улыбка, но без тепла. Отточенная вежливость — маска, которую он надевал, когда нужно было скрыть нетерпение или ярость. — Должен оставить вас. Важное дело. И прошу — не слишком сплетничайте обо мне.

Он подмигнул — нарочито, почти издевательски — и направился вглубь зала, туда, где его ждали несколько мужчин в строгих костюмах. Их лица были непроницаемы. Позы расслаблены. Но в этой расслабленности чувствовалась угроза — как в тишине перед ударом хлыста. Я проводила его взглядом, ощущая странную смесь: облегчение, настороженность, пустоту. С уходом Диаманта воздух стал чуть легче — но и

чуть опаснее. Теперь я оставалась наедине с тем, чего не понимала.

Рядом стояла Зейнаб. Женщина, чья история переплелась с историей Диаманта глубже, чем я могла вообразить. Их прошлое — не глава в книге. Карта шрамов. По ней можно было прочесть, где они обжигали друг друга, где сдавались, где кончали одновременно, а где — каждый в своём одиночестве.

Музыка менялась. Скрипка выводила плавную, гипнотическую линию, а барабаны отбивали медленный ритм. Свет канделябров скользил по её платью из переливающегося шёлка, очерчивая изгиб талии, линию бёдер, тёмную ложбинку между ключицами. Сапфиры в косе мерцали, как холодные звёзды, — и в этом мерцании было что-то ритуальное, зловещее, жертвенное.

Зейнаб заметила мой взгляд. Улыбнулась — чуть шире, чуть медленнее, чем раньше.

— Не переживай, — тихо сказала она, и голос прозвучал интимно, словно мы стояли не в переполненном зале, а в тёмной спальне, где слышен только пульс. — Я знаю его дольше, чем ты можешь вообразить. Но я не буду мерить тебя его мерками. В Леброне каждый пишет свою историю. Твоя — только начинается.

Она произнесла это без снисхождения. Как факт. Как обещание. Я кивнула, пытаясь собраться. И вдруг почувствовала: возможно, здесь, в этом ярком, жестоком мире, у ме-

ня появится союзник. Неожиданный. Опасный. Но, кажется, честный. Или — по крайней мере — тот, кто не станет делать вид, что не замечает моих трещин.

— Спасибо, — ответила я искренне.

Зейнаб подмигнула и взяла меня под руку. Её пальцы сомкнулись на локте — чуть крепче, чем нужно. Как будто проверяла, не растворюсь ли я. Или — как будто уже решила, что не позволит мне исчезнуть.

— Тогда пойдём, — сказала она, и в улыбке мелькнуло хищное — не враждебное, а азартное, голодное. — Здесь подают потрясающий земляничный ликёр. Зная этого оболтуса, — она кивнула в сторону Диаманта с короткой тёплой усмешкой, в которой сквозила привычная близость, — он наверняка подсадил тебя на свой абсент. Но в Леброне есть кое-что поинтереснее. Напитки, которые сначала обжигают язык. Потом — разум. А потом… открывают двери, которые лучше бы оставались на замке.

Она облизнула нижнюю губу — быстро, машинально, но я заметила. И поймала себя на том, что тоже хочу попробовать, что за вкус она прячет за этой улыбкой.

5

Зейнаб перехватила с подноса проходившего слуги два бокала — тонкостенных, хрупких, словно выточенных из застывшего льда, — уже полных рубиновой жидкостью. Один протянула мне — кончики её пальцев мазнули по моим, тёплые, сухие.

— Земляничный ликёр, — её голос упал до полушёпота, будто она делилась тайной. — В Леброне делают лучший. Сладкий, но не приторный — с кислинкой и горьковатым травяным послевкусием, от которого немеют губы. Ягоды собирают на склонах Элариона, где они впитывают утреннюю росу и солнце. Говорят, сама земля шепчет им, когда пора созревать.

Мы чокнулись. Хрусталь тонко звякнул, и этот звук на миг вырезал из зала всё остальное: гул голосов, музыку, шарканье подошв по мрамору. Я сделала глоток. Сначала — горячая, сочная волна спелой земляники, яркая до боли, словно ягоду раздавили прямо на языке. Затем — терпкость горных трав, густая, хвойная, впитавшая холод ветров и жар полуденного камня. Сладость стекла по горлу тёплой, тягучей полосой, а следом пробежал озноб — от затылка вниз по позвоночнику. Я прикрыла глаза.

— Потрясающе, — выдохнула я. Тепло разлилось по телу, размягчая мышцы, разгоняя скованность, которая жила во мне так долго, что стала казаться частью скелета. — Никогда не пробовала ничего подобного. У нас в Колтрейне всё куда более… сдержанно. Даже радость подают холодной, будто боятся, что она обожжёт.

— О, в Леброне много таких находок, — Зейнаб подмигнула, и в зрачках её мелькнуло что-то дерзкое, почти хищное. — Есть пирог с лавандой и мёдом — странное сочетание, но стоит откусить, и ты уже требуешь ещё. А есть «за-

кат Леброна» — гранатовый сок, апельсиновый сироп, капля миндального ликёра. Подают в янтарных бокалах, и когда солнце бьёт под нужным углом, напиток светится. Как живой закат в ладони. В такие минуты кажется, что время можно удержать — сжать пальцами и не отпускать.

— Звучит волшебно, — я засмеялась, и смех вышел легче, чем я ожидала. Что-то невидимое соскользнуло с плеч — осыпалось, как сухая глина.

— А из еды — что первым делом?

— Запечённая форель с травами, — Зейнаб склонила голову, прислушиваясь к собственным воспоминаниям. — Её готовят в сезон цветения горного тимьяна. Рыба пропитывается его ароматом — густым, пряным, он оседает на языке и не отпускает. Мясо тает, распадается, ластится к нёбу. Или тартар из молодого оленя с можжевельником — дикость и утончённость: резкий, почти звериный вкус мяса и ледяная кислинка ягод. Как укус и поцелуй одновременно.

— Ты так рассказываешь, что я хочу всё и сразу, — я почувствовала, как внутри просыпается что-то давно уснувшее. Жадность. Не до еды — до ощущений, до жизни, которая не прячется в тени.

— Так и надо! — Зейнаб засмеялась, и её смех пробился сквозь шум зала, сквозь музыку и звон бокалов, как луч, прорезавший тяжёлые шторы. — В Леброне нельзя сдерживать желания. Иначе зачем вообще жить?

Она помедлила. Взгляд потемнел — словно кто-то задёр-

нул штору за её глазами.

— Кстати… Правда, что ты из самого Колтрейна?

— Из самого сердца серых туманов, — кивнула я. — Там всё монохромное. Даже цветы кажутся приглушёнными — словно их нарочно обесцветили, чтобы не нарушали тишину.

Зейнаб задумчиво крутила бокал. Рубиновая жидкость переливалась, ловила свет — крошечные искры вспыхивали и гасли в её толще, как далёкие сигнальные огни.

— Я тоже чужестранка, — произнесла она, и голос стал тише, глуше — будто она обращалась не ко мне, а к чему-то внутри. — С восточных земель. Если бы не Диамант…

Пауза. Короткая, но тяжёлая, как камень, брошенный в глубокий колодец. В её глазах проступило нечто болезненное — тень, которую не спрячешь ни улыбкой, ни блеском драгоценностей.

— …меня бы здесь не было. Скорее всего, меня вообще не было бы.

Я знала её историю. Молчала. Если захочет — расскажет сама. Вместо этого сказала:

— Похоже, Леброн умеет давать второй шанс.

— И не только второй, — Зейнаб тряхнула головой, и напряжение, повисшее между нами, истончилось, растаяло. — Иногда десятый. Двадцатый. Главное — не отшатнуться, когда он протягивает руку.

Мы засмеялись, и мне стало удивительно легко рядом с ней — с этой женщиной, которая минуту назад казалась за-

гадкой и даже угрозой. В её присутствии не нужно было подбирать слова, прятать сомнения, притворяться крепче, чем я есть.

— А ты видела оранжерею Морвена? — спросила Зейнаб, и что-то в ней переключилось — глаза ожили, тело подалóсь вперёд.

— Ещё нет. Я пока видела совсем немного. Всё кажется чужим сном, из которого боишься вывалиться раньше времени.

— Решено, — Зейнаб хлопнула в ладоши — звук сухой, резкий, и я невольно вздрогнула, улыбнувшись. — Завтра после завтрака зайду за тобой. Покажу сад, окрестности, потайные уголки, где можно спрятаться от придворных. Мой муж не в столице, так что я вся твоя. — Её губы изогнулись, и в этих словах прозвучало что-то, от чего у меня потеплели уши. — Там даже воздух другой. Густой. Пахнет влажной землёй и цветами, которые раскрываются только ночью — когда некому смотреть.

— Буду рада, — я улыбнулась. — Спасибо, Зейнаб.

В этот момент музыка изменилась. Скрипка повела тему — низко, настойчиво. Барабаны ударили следом, задавая ритм — чёткий, тягучий, проникающий под кожу, заставляющий кровь бежать быстрее. Мелодия не звучала — она трогала. Скользила по рёбрам изнутри. Зейнаб вскинула голову. Глаза вспыхнули — как угли, на которые дунули.

— Мой любимый танец! Сильвана, идём.

Она схватила меня за руку и потянула в центр зала.

— Не считай шаги. Слушай музыку. Она сама поведёт, если позволишь.

Я засмеялась и позволила. Водоворот подхватил: кружились пары, мерцали канделябры, звенел хрусталь, шелестел шёлк. Тело двигалось само — без приказа, без мысли. Впервые за долгие месяцы я почувствовала, как с меня сползает броня, которую я носила так долго, что приняла за собственную кожу. Зейнаб кружилась рядом. Платье струилось в такт, облепляя бёдра на поворотах, вспыхивая золотом в свете свечей. Её улыбка была настолько бесстыдно настоящей, что я улыбнулась шире — отдаваясь ритму, теплу, запаху земляничного ликёра на чужих губах и этому странному, живому ощущению зарождающейся близости.

Я перестала думать о тревогах. О разнице между Колтрейном и Леброном. О том, что ждёт меня завтра. В этот миг — только музыка, смех Зейнаб, жар её ладони в моей. И ощущение, острое, как первый вдох после удушья, что, возможно, всё действительно будет стоить того.

Диамант

1

Я поднёс бокал к губам. Анис ударил в ноздри — едкий, почти хирургический. «Осторожнее. Абсент развязывает не язык — он отпирает клетку, в которой спят самые голодные мысли».

Рядом вещал министр Сельвад. Лицо — печёное яблоко,

забытое на солнце: жёлтое, сморщенное, со складками у рта, придававшими ему выражение вечной кислой обиды. Пальцы дёргали край камзола — мелко, судорожно. Голос тянул про «оптимизацию посевных площадей» и «перспективы экспорта» — ровный, безводный, лишённый малейшего признака жизни. Я кивал. Вставлял «весьма впечатляюще» и «непременно стоит рассмотреть». Слова министра доносились издалека, как шум воды за каменной стеной, — что-то булькало, но смысл терялся задолго до того, как достигал сознания.

Мой взгляд скользнул в центр зала. И застыл. Там танцевали Сильвана и Зейнаб. Они двигались так, будто между ними не осталось воздуха — плавные повороты, лёгкие касания рук, взгляды, в которых тлело что-то невысказанное. Сильвана, обычно затянутая в броню сдержанности, сейчас выглядела обнажённой без единого снятого шва: движения обрели текучую, почти кошачью раскованность, улыбка стала шире, а глаза ловили блики канделябров и возвращали их — влажные, мерцающие. Зейнаб — другая. Её платье из переливчатого шёлка жило собственной жизнью: ткань то обнимала бёдра, то отступала, приоткрывая стройную ногу, — кожа под ней мерцала в полумраке, словно смазанная маслом.

Внутри сжалось — остро, низко, почти болезненно. Следом поднялась волна желания, густая и тяжёлая, как ртуть. Мысль пришла сама, хищная и конкретная: хочу обеих. Од-

новременно. Видеть, как их тела сплетаются на моих простынях. Слышать, как стон одной переходит в стон другой. Чувствовать под ладонями четыре бедра, две спины, два разных жара — сухой, сдержанный жар Сильваны и влажный, ненасытный жар Зейнаб. В Колтрейне Сильвана отрезала эту тему одним взглядом. Там ханжество пропитывало даже постельное бельё, и я отступил, не желая ломать то, что ещё не окрепло. Но здесь — Леброн. Здесь границы существовали лишь для того, чтобы их стирать.

Память подбросила вспышку: Зейнаб, моя бывшая любовница. При всей её звериной ревности — а она умела ревновать так, что воздух трещал, — мне удавалось втягивать её в эксперименты, от которых потом горели и кожа, и совесть. Она могла кричать, царапаться — её ногти оставляли на моей спине тонкие алые борозды, саднившие потом целую неделю. Но в конце она всегда подчинялась. Не потому что ломалась — потому что в этом подчинении находила собственный, жгучий вид наслаждения.

Если намекнуть ей… Может быть, Зейнаб даже возьмёт на себя Сильвану. У неё дар — проникать под чужую кожу, разжигать то, что казалось давно и безнадёжно остывшим. Я смотрел на их танец и не мог отвести глаз. Откровенные прикосновения, приглушённый смех, обмен взглядами, в которых плескалось что-то непристойное, — всё это било в кровь крепче абсента. Министр Сельвад ещё шевелил губами, но его голос тонул в шуме пульса, стучащего в висках.

Мелодия оборвалась. Пары разошлись. Но они остались — стояли близко, почти соприкасаясь плечами, о чём-то переговаривались и смеялись. Смех — звонкий, дерзкий. Я поймал себя на том, что хочу услышать его снова. Рядом. В тишине спальни, где не будет ни министров, ни интриг, ни чужих глаз — только тепло обнажённой кожи, сбившееся дыхание и шёпот, который не нужно глотать.

Пора. Я поставил бокал на столик. Хрусталь стукнулся о дерево — сухо, коротко. Расправил манжеты. Шаг. Ещё шаг. Расстояние таяло.

Я остановился за спиной Зейнаб и коснулся её плеча — пальцы задержались на тонком шёлке, ощутив под ним жар, упругость, мелкую дрожь мышцы. Наклонился к уху. Мои губы почти задели мочку.

— Забираю у тебя твою даму.

Не дожидаясь ответа, протянул руку Сильване. Её взгляд метнулся к моей ладони. Удивление — и что-то под ним, глубже: искра, намёк, тонкая грань между «нет» и «попробуй».

— Позволь на следующий танец.

Она замерла. Наши глаза встретились, и в этом коротком столкновении натянулась нить — тугая, зудящая. Потом она улыбнулась. Вложила ладонь в мою.

— С удовольствием, — произнесла она тихо. Голос опустился на полтона, стал слегка хрипловатым, будто слова пришлось протаскивать сквозь что-то тесное и горячее.

Зейнаб засмеялась, отступая. В этом смехе звенела не обида — узнавание. Она знала эту игру. Она в ней выросла.

— Смотри не загони её, изверг, — бросила вслед. Взгляд — почти заговорщический, с хищным прищуром. — Она нужна мне завтра. Для экскурсии по саду.

«По саду» прозвучало так, будто подразумевало совсем другой маршрут. Я подмигнул ей — короткий жест, в который уместились благодарность, вызов и обещание, — и повёл Сильвану в центр зала.

Музыка началась. Виолончель тянула низкую ноту, от которой вибрировал воздух и что-то глубоко в животе. Я притянул Сильвану ближе, чем позволяли приличия. Её тело на долю секунды каменело — и сдавалось, подчиняясь ритму и моим рукам. Моя ладонь легла на поясницу, туда, где под тканью угадывался изгиб позвоночника.

— Ты сегодня невыносимо красива, — шепнул я, наклоняясь так близко, что видел мельчайшее: дрожь ресниц, золотистые крапинки в глубине радужки, румянец, медленно заливающий скулы. — Этот цвет делает с тобой что-то жестокое. Подчёркивает глубину глаз, нежность кожи… Такая нежность, что страшно тронуть. И невозможно удержаться.

Мои пальцы чуть сместились по её спине — ниже, к границе дозволенного. Она не отстранилась. Её рука сжала мою ладонь крепче — и в этом сжатии было не сопротивление, а хватка.

— Спасибо, — выдохнула она. Голос дрогнул, обнажив

что-то уязвимое, и от этой уязвимости меня повело сильнее, чем от абсента. — Ты тоже выглядишь… впечатляюще. Словно Леброн наделил тебя своим светом.

Я усмехнулся. Леброн. О да. Эта страна определённо открывала горизонты. Воздух вокруг нас густел — пряный дым свечей, запах разогретого воска, горячего вина, чужих духов, чужого пота. Магия, которая превращала случайные встречи в неизбежности, а мимолётные взгляды — в обещания, которые уже не забрать. Я чувствовал её пульс через ладонь — быстрый, рваный, выдающий то, что не решался произнести рот. Краем глаза я поймал Зейнаб: она стояла у колонны с бокалом в руке, наблюдала за нами. На губах — лёгкая улыбка. В глазах — понимание. Почти одобрение. Одобрение той, кто знала цену желаниям и давно перестала притворяться, что их не существует.

В Леброне возможно всё. И сегодня границы раздвинутся так далеко, что назад дороги не будет.

Сильвана

1

Диамант притянул меня ближе. Не рывком — плавно, лениво, как хищник, которому некуда спешить. Но в этой медлительности пряталась сталь: холодная, выверенная до миллиметра. Его ладонь легла между лопаток, пальцы сомкнулись на ткани платья — чуть сильнее, чем позволяли приличия. От этого прикосновения кожу обожгло, будто к спине прижали нагретый клинок. Вторая рука сжала мою ладонь

— крепко, собственнически. Не так держат то, что берегут. Так держат то, чем владеют.

Мы начали кружиться. Шаг вперёд. Полуоборот. Наклон. И снова — по кругу, будто затягивая петлю на собственных шеях и наслаждаясь каждым витком. Его жар проникал сквозь шёлк — густой, тяжёлый, оседающий на рёбрах, на бёдрах, на каждом позвонке. Я вдыхала и захлёбывалась его запахом: гвоздика, корица, что-то дымное и горькое под ними, как угли под пеплом. Раньше этот аромат кружил голову. Теперь он вламывался внутрь, заполнял лёгкие, растворял волю.

Его глаза не отпускали. Ярко-голубые, с отблесками свечного пламени на дне зрачков, они смотрели не на платье, не на улыбку — глубже. Туда, где я прятала от себя самой вещи, которым не давала имён. Тёмные. Голодные. Стыдные. Он видел их все. И ему нравилось то, что он видел. Я отвечала тем же. Мой взгляд скользил по его лицу — по резкой линии челюсти, по губам, изогнутым в ленивой, почти жестокой полуулыбке, по венам на запястье, вздувшимся под кожей, как русла рек, несущих раскалённую кровь. Желание вспарывало низ живота — острое, почти болезненное, похожее не на жажду, а на рану, которая пульсирует и требует, чтобы к ней прикоснулись снова. Хотелось вжаться в него. Стереть границу между его телом и моим. Раствориться — в танце, в музыке, в нём, в той тьме, что сгущалась вокруг нас с каждым тактом.

Его ладонь на моей спине сместилась — выше, медленнее, пальцы прочертили линию вдоль позвоночника сквозь тонкий шёлк. Не ласка. Обещание. Я выдохнула — громче, чем следовало, и звук повис между нами, непристойный в своей откровенности. Он улыбнулся. Одним изгибом губ.

Наши тела двигались в унисон — слитно, жадно, будто знали друг друга задолго до того, как разум согласился это признать. Я ловила каждый его вздох, каждое микродвижение бёдер при повороте, каждое едва ощутимое усиление хватки — и понимала, что контроль давно утерян. Зал исчез. Гости, этикет, сама реальность — всё смылось, как акварель под дождём. Остались его рука на моей талии. Его дыхание у виска. Его запах, проросший под кожу и ставший частью моей крови.

Музыка умерла. Последние ноты истаяли, как дым от погашенной свечи, и тишина, хлынувшая на их место, оказалась оглушительной — звенящей, плотной, такой, в которой слышно всё: стук сердца, шорох ткани, чужое дыхание в сантиметре от губ. Мы замерли. Его пальцы по-прежнему вжимались в мою спину. Моя грудь вздымалась слишком часто. Где-то далеко — в другом мире, в другой жизни — звенели бокалы и переговаривались голоса, но всё это не имело значения. Мы больше не принадлежали этому залу.

Я подняла голову. Посмотрела ему в глаза. И произнесла — тихо, на грани шёпота, но это не было просьбой. Это был вызов:

— Ты обещал мне игру.

Он не удивился. Только усмехнулся — и в глубине его зрачков вспыхнул тот самый хищный огонь, от которого у меня всегда одновременно немели колени и горело между бёдер. Пламя, к которому я тянулась, зная, что оно сожжёт. Желая, чтобы сожгло.

— Помню. — Голос низкий, хриплый, бархат, пропитанный дымом. — И знаешь что? Я больше не намерен ждать.

Я вскинула брови и оглянулась — скорее по привычке, чем из подлинной тревоги. Зейнаб наблюдала за нами с улыбкой, в которой читалось не просто понимание — соучастие. Роланд разговаривал с каким-то вельможей, но его расслабленная поза выдавала: он знал. Рэйн и Мия махали руками — легко, беспечно, не подозревая о тяжести того, что натягивалось между мной и Диамантом. Но все они уже казались тенями на дне колодца — размытыми, немыми, бесконечно далёкими.

— Что подумают гости? — я произнесла это, цепляясь за слова, как утопающий за обломок доски, хотя знала: доска уже уходила под воду. — Ты не можешь просто уйти и оставить всех.

Он коротко засмеялся. Хрипло, глухо, и этот звук ударил в солнечное сплетение, растёкся волной жара от горла до кончиков пальцев.

— Я видел всех, кого хотел видеть. — Он наклонился ко мне так близко, что его дыхание коснулось моих губ, как по-

чти-поцелуй. — А сейчас я забираю то, что моё.

Его пальцы сомкнулись на моей ладони. Не больно. Неотвратимо. Так сжимают поводок. Прежде чем я успела вдохнуть, он уже повёл меня за собой — сквозь зал, сквозь чужие взгляды, сквозь всё, что ещё минуту назад казалось важным. Твёрдо. Неумолимо. Словно мир сузился до одной прямой линии между нами и тем, что ждало впереди. Невидимая нить, связывавшая нас, с каждым шагом тяжелела, превращалась в цепь — и я чувствовала, как звенья смыкаются на запястьях, и не хотела, чтобы они разомкнулись. Никогда.

Краем глаза я уловила: Зейнаб подмигнула, Роланд качнул головой с усмешкой. Но это были уже отзвуки чужой жизни — той, что осталась за порогом. Коридор проглотил нас. Шаги стучали по камню — гулко, ритмично, как второй пульс. Музыка из зала таяла за спиной, уступая тяжёлой, давящей тишине.

Он обернулся. Один взгляд. Короткий. В нём было всё: обещание, угроза, голод, тёмная обжигающая правда, от которой подкашивались колени, а внутри всё стягивалось в тугой раскалённый узел.

Что будет дальше? Но я уже не хотела знать заранее. Не хотела останавливаться. Не с ним. Не сейчас. Возможно — никогда.

Глава 9

Глава 9.
Воск И Сталь

«Если я скажу то, чего он ждёт, — я проиграю не допрос. Я проиграю себя. Стану эхом. Тенью без имени».

Сильвана
1

Диамант вёл меня за собой. Пальцы сжимали мою ладонь — не как хрупкую вещь, а как добычу, которую выпускать не намерены. Хватка зверя, обёрнутая в учтивость. Мы спускались в подвалы замка. Каменные ступени под мягким ковром гасили шаги, превращая их в глухие, почти утробные толчки.

Я не испытывала страха. Только влечение — горячее, пульсирующее в каждой клетке, липкое, как лихорадочный пот.

Лестница кончилась. Длинный коридор подземелья Морвена принял нас в себя. Воздух здесь был другой — прохладный, плотный. Он ложился на кожу влажным саваном. Пахло сырым камнем, и ещё — травами: горький шалфей, выдохшаяся лаванда, пропитанная вековой пылью. Горечь мешалась с сыростью, густела, становилась почти тошнотворно сладкой. Стены из грубо обтёсанного камня чередо-

вались с панелями тёмного дерева. Металлические вставки покрывал геометрический узор — резкие линии, похожие на следы когтей. Будто кто-то царапал металл снова и снова, пока боль не стала орнаментом. Вдоль прохода стояли старинные сундуки с коваными уголками, потемневшими до черноты, а рядом — изящные напольные светильники с матовыми абажурами. Их тусклый свет не разгонял тьму. Он выделял крохотные островки видимости — и от этого мрак вокруг казался гуще, плотнее, голоднее. Странный контраст. Грубый камень спорил с резным деревом. Сундуки, хранящие чужие секреты, стояли бок о бок со светильниками — будто кто-то пытался облагородить то, что по природе своей оставалось диким, жестоким, и потерпел изящное поражение. Всё здесь дышало запретом. Притягивало именно поэтому.

Мы остановились перед массивной железной дверью. Тяжёлый засов. Кодовый замок. Металл — холодный, потемневший, покрытый тонкой коркой ржавчины, похожей на запёкшуюся кровь. Диамант развернул меня к себе. Рывком. Коротким, точным, хозяйским. Его глаза блестели в свете лампы — огонь плясал в зрачках, и казалось, горело внутри, а не снаружи. На губах — усмешка: лёгкая, но полная скрытого вызова.

— Мы возле пыточной камеры Морвена. — Голос низкий, обволакивающий, как шёпот перед ударом. — Надеюсь, ты оценишь её по достоинству.

Пульс участился. Дыхание стало рваным — короткие,

жадные глотки воздуха.

— Если она окажется достойной — обязательно. — Я старалась, чтобы голос звучал ровно, но хрипотца просачивалась сквозь слова. — И какую тему для допроса ты придумал?

— Ты — шпионка. Поймана в моём замке при передаче секретных сведений. — Спокойный тон. Стальной. Не допускающий возражений. — Если сознаешься — это сигнал закончить. До того момента я буду делать с тобой всё, что захочу.

Его взгляд изменился — стал хищным, голодным, оценивающим, будто он уже видел меня сломленной, мокрой от пота, покорной.

— И для полного погружения в этот… скажем так, квест, — он провёл языком по нижней губе, — не должно быть никаких «ты» и «Диамант». Только «господин» и «пленница».

Я замерла. Впитывала правила новой реальности. Ощущала, как они ложатся на тело — холодными цепями, звено за звеном. Запястья. Рёбра. Горло.

— Согласна.

Он улыбнулся шире. Провёл большим пальцем по тыльной стороне моей ладони.

Прикосновение скользнуло вверх по руке, по хребту, рассыпалось мурашками, а следом прокатилась волна жара. Между ног стало горячо и тесно.

Он повернулся к двери, но прежде чем набрать код, обер-

нулся. Взгляд — тяжёлый, внимательный. Он видел всё: и мою дрожь, и мой голод, и то, как я старалась держать спину прямо.

— Сильвана. — Голос стал тише. Мягче. — Помни: что бы ни случилось за этой дверью, ты в безопасности. Я чувствую тебя. Я знаю, где твоя граница. И если ты сознаешься — я остановлюсь. Это игра. Только игра.

Я кивнула. Вдохнула глубже, чувствуя, как его слова оседают в груди теплом.

— Я помню, — сказала я тихо.

Он отвернулся. Набрал код. Сухой щелчок — резкий, как выстрел. Засов сдвинулся с протяжным скрипом — металл сопротивлялся, будто камень помнил крики тех, кто переступал этот порог, и не хотел добавлять к ним новые.

— Зайди внутрь и осмотрись.

Не просьба. Приказ. Холодная, абсолютная власть. Я вгляделась в тёмный проём. Полумрак внутри клубился — густой, вязкий, живой. Обещал тайну. Обещал боль. Обещал, что в какой-то миг одно станет неотличимо от другого.

— Почему ты не пойдёшь со мной? — голос сам собой стал тише. Стены здесь слушали. Даже шёпот казался слишком громким.

— Так будет естественнее. — Насмешливая улыбка. Обещание чего-то неотвратимого. — Я войду через несколько минут. К тому моменту ты уже должна быть в роли.

Я задержала дыхание — как перед прыжком в воду, когда

не знаешь, есть ли дно. И шагнула внутрь. Тьма приняла меня. Обступила. Коснулась кожи ледяными пальцами — шея, ключицы, обнажённые предплечья. Обняла, как любовник, которому не нужно согласие.

И на миг — на один короткий, жаркий, головокружительный миг — я перестала быть актрисой в чужой игре. Стала пленницей. Настоящей. Затерянной в лабиринте чужих желаний, где мои собственные — самые тёмные, самые стыдные — уже ждали меня, притаившись в углах.

2

Я замерла на пороге. На миг показалось, что пространство пыточной существует по иным законам: реальность искривлялась, словно отражение в треснувшем зеркале, где каждый осколок показывал свою версию кошмара. Окон не было. Ни одного. Только круглые лампы, утопленные в грубый каменный свод, — они горели безжалостно, ровно, хирургическим светом, который не прощал теней. Этот свет не освещал — он обнажал. Сдирал покровы с каждой трещины, каждого пятна, каждой царапины. Я прищурилась, давая зрачкам сузиться, и в этой беспощадной резкости комната раскрылась передо мной целиком — не зловещая, нет. Вывернутая. Мир, в котором мораль обратилась в пыль, а привычные законы истлели, не оставив даже пепла.

В центре — столб. Грубый, деревянный, намертво вмурованный в каменный пол. Его древесина почернела до цвета свернувшейся крови — от времени, от влаги, от всего, что

ей довелось впитать. Пот. Кровь. Слюна. Отчаянные выдохи, осевшие в волокнах и ставшие частью его плоти. Я шагнула ближе. По поверхности змеились борозды — глубокие, рваные, — следы ногтей, вцепившихся в дерево с такой силой, что под ними, должно быть, лопалась кожа. Хаотичные письмена. Язык, который понимали лишь те, кто уже перешагнул черту, за которой крик перестаёт быть просьбой и становится молитвой. Я провела кончиками пальцев по одной из борозд. Дерево было тёплым.

Над столбом с потолка свисали цепи — тусклые, тяжёлые, оканчивающиеся металлическими кольцами с отверстиями по краям. Гладкие, стёртые до матового блеска прикосновениями запястий. Я не сразу поняла их назначение, но когда поняла — мысль прошла по телу медленно, как ледяной палец вдоль позвоночника. Не страх. Что-то острее.

Рядом со столбом — другие приспособления. Конструкция с ремнями и зажимами, от которой пахло старой кожей и чем-то медным. Рычаги, соединённые с пластинами из воронёной стали. Стойки с крюками — одни загнутые нежно, как пальцы любовника, другие прямые и тупые, как равнодушие. Всё это было пугающе функционально. Ни одного лишнего элемента, ни одной декоративной детали. Каждый предмет — продолжение чьей-то воли, холодное воплощение желания владеть чужой болью, распоряжаться ею, как дыханием. Каждый молчал о своей цели — и этим молчанием манил приблизиться, коснуться, узнать, как звучит металл, когда

встречается с обнажённой кожей.

На стенах — плётки. Аккуратными рядами, как хирургические инструменты в операционной. Одни — тонкие, с длинными кожаными хвостами, мягкими, как шёпот на ухо в темноте. Другие — тяжёлые, плетёные, с узлами, которые обещали не ласку, а откровение. Третьи — с металлическими шипами на кончиках, маленькими и острыми, как клыки. У каждой был свой характер, своя интонация. Я провела взглядом по всей коллекции, отмечая различия в длине, толщине, фактуре, и поймала себя на том, что примеряю — не глазами, а кожей. Какая оставит тонкую красную нить? Какая — рваную борозду? Какая заставит закричать, а какая — только стиснуть зубы и выгнуться навстречу? От этих мыслей по позвоночнику прокатилась волна — ледяная и обжигающая одновременно.

Дальше — стол. Металлический. Поверхность отполирована до зеркального блеска, в котором тусклые лампы дрожали размытыми точками, похожими на зрачки, наблюдающие из глубины. На нём лежали инструменты — каждый в своём углублении, каждый вычищенный до стерильного холода, будто их готовили не для пыток, а для таинства. Клещи с рифлёными губками. Щипцы с изогнутыми, почти ласковыми концами. Зажимы — от крошечных, обещавших точечную, ювелирную боль, до массивных, предлагавших давление, от которого темнеет в глазах. Держатели, утыканные иглами: одни — тонкие, как осиные жала, другие — с зазуб-

ринами, третьи — гладкие, полированные не ради красоты, а ради хирургической точности. Рядом лежали предметы, чьё назначение ускользало от понимания: пластины с насечками, цилиндры, пружинные механизмы, винты с головками разного диаметра. Не случайный набор — арсенал. Коллекция возможностей, терпеливо ожидающих своего часа.

Я невольно вспомнила пыточную Рокуэлла. То место, где мы встретились. Где потом… проводили время. Там всё было грубее — первобытнее. Неровные каменные стены, ржавые инструменты, тяжёлый дух сырости и гнили, въевшийся в каждую пору. Средневековая жестокость без претензий на эстетику. Здесь — иное. Здесь была продуманность. Элегантность. Холодная, отточенная до бритвенной остроты. Каждый инструмент ухожен, отполирован, уложен на своё место — не из заботы, а из уважения к его предназначению. Это была не пыточная. Это была лаборатория ощущений. Храм, где поклонялись не богам, а пределам человеческой выносливости — тому рубежу, за которым тело перестаёт быть телом и становится чистым нервом, чистым криком, чистой капитуляцией.

Холод. Температура здесь была ниже, чем в остальном Морвене, — ощутимо, на несколько градусов. Прохлада проникала под одежду, облизывала кожу, покрывая её мелкой дрожью. Но не от страха. От той остроты, что приходит на самом краю — где боль и наслаждение переплетаются так тесно, что невозможно отличить одно от другого, где грань

между ними растворяется, как соль в крови. Я медленно втянула воздух через рот, чтобы распробовать его на вкус. Старое дерево. Ледяной металл. Тонкий, едва уловимый аромат масел, которыми натирали клинки и зажимы — чтобы не ржавели. Чтобы металл оставался безупречным, даже когда плоть под ним теряла целостность.

«Диаманту здесь точно скучать не придётся».

Я улыбнулась — коротко, хищно — и тут же одёрнула себя. Выпрямилась. Повернулась к двери. В груди стянулось что-то острое, сладкое, нетерпеливое.

Резкий щелчок замка. Как приговор, не подлежащий обжалованию. Звук вошёл в кости, прокатился по нервам, выбивая из тела последние остатки сомнения. В дверном проёме — силуэт. Чёткий, тёмный, будто вырезанный из ночи ножом. Диамант. Он стоял неподвижно одно мгновение — достаточно долго, чтобы я ощутила его взгляд на своей коже, а потом шагнул внутрь. Дверь за ним закрылась.

Мир за пределами этой комнаты перестал существовать. Остались только стены, инструменты, воздух, густой от ожидания, — и он. Человек, чья воля решала, где заканчивается игра и начинается истина.

3

Я смотрела на Диаманта — и не узнавала его. Всё исчезло. Лёгкость, смех, насмешливая игривость — сгорели в одном коротком вдохе. Передо мной стоял глава Инквизиции. Властный. Отстранённый. Пугающе собранный. Таким

я увидела его в первую встречу — не человек, а приговор. В его взгляде не осталось ни искры тепла. Только беспощадная, ровная решимость, от которой внутри всё сжалось, а кожа покрылась ледяной рябью.

Он прошёл мимо, намеренно задев моё плечо. Жёсткое, расчётливое касание. Мурашки побежали по коже — не от нежности. От понимания: игра обрела новые правила, и цена ошибки измеряется уже не словами, а плотью. Диамант остановился у стола с инструментами. Его длинные пальцы — бледные, с чётко очерченными костяшками — скользнули по холодному металлу: плавно, с той сосредоточенной нежностью, с какой оружейник поглаживает клинок перед тем, как проверить, насколько чисто тот рассечёт кожу. Металл тихо звякнул. Короткий, сухой звук ударил по нервам, заставив сердце споткнуться.

Не оборачиваясь, он произнёс — и каждое слово упало, как осколок льда:

— В центр комнаты. Сейчас.

Я замерла на долю мгновения. Этого хватило. Он развернулся, и голос хлестнул, рассекая воздух:

— Ты слышала приказ?

Затем небрежно опёрся бедром о край стола. Поза расслабленная, обманчиво ленивая — но в каждой линии его тела угадывалась стальная готовность сорваться, ударить, схватить. Чёрный камзол обтягивал широкие плечи, ворот расстёгнут на две пуговицы, обнажая впадину между ключица-

ми. Его взгляд больше не напоминал лёд. В нём не было ничего текучего, ничего способного растаять. Непроницаемая, тёмная гладь. Ни одного отражения. Глаза инквизитора, для которого жест, слово, молчание — инструменты, а чужая воля — материал, который можно гнуть, выворачивать, ломать.

— Сними всё, — произнёс он жёстко, почти буднично, словно речь шла о плаще, а не о последней преграде между моей кожей и его волей. — До последней нитки. Я не стану повторять.

Он подхватил со стола короткий нож с изогнутым лезвием. Сталь скользнула по свету и выплюнула на стену узкий дрожащий отблеск — тонкую полоску, похожую на свежий порез. Мне показалось, что металл дышит, что лезвие само тянется к теплу кожи. Я сглотнула. В горле встал колючий комок, и я заставила себя выровнять дыхание, хотя грудь вздымалась слишком часто, слишком откровенно — выдавая то, что я пыталась спрятать.

Глубокий вдох. Я вжилась в роль.

— Я ни в чём не виновата, — голос прозвучал с хрипотцой, которая прорезалась сама собой, непрошеная, как трещина в стекле. Слова отдались глухо, как удары в барабан. — Обвинения ошибочны. Вы совершаете ошибку, господин…

Пауза. Язык споткнулся о формальность, и я вспомнила его условие: никаких «ты», никакого «Диамант».

— …милорд Инквизитор.

В обращении прозвучал не страх. Вызов. Тонкая, хрупкая грань между покорностью и сопротивлением, по которой можно идти — но нельзя удержаться. Раздеваться я не торопилась. Вместо этого выпрямилась, расправила плечи, подняла подбородок. Пусть видит. Пусть знает, что даже под угрозой я не стану покорной тварью, которую можно раздеть одним приказом. В этом и была суть — противостояние. Борьба. Танец власти и сопротивления, где каждый шаг мог оказаться последним.

Его взгляд задержался на моём лице — оценивающий, тяжёлый, как ладонь, лёгшая на горло. Он взвешивал мою дерзость, будто кузнец, решающий, хватит ли слитка на клинок. Уголок губ дрогнул — не усмешка. Предвкушение. Запах добычи, которая ещё сопротивляется. Медленно — невыносимо медленно — он провёл подушечкой большого пальца вдоль лезвия. Не отрывая от меня взгляда. Металл отозвался тихим шёпотом, едва уловимым, как вздох.

— Мы проверим, — произнёс он ровно. Без интонаций. Эта бесстрастность пугала сильнее любого крика. — Ложь здесь не спасёт. Правда выйдет наружу — так или иначе. Её не удержать ни клятвами, ни гордостью. Ни одеждой.

Пульс участился. Кровь загустела, застучала в висках, отдалась жаром внизу живота. Игра становилась опаснее. Острее. Горячее. Но отступать было поздно. И — что пугало по-настоящему — я не хотела отступать. Внутри разгоралось что-то тёмное, голодное, бесстыдное — готовность принять

эти правила до конца, даже если они сожгут меня.

Диамант не двигался. Только смотрел, впитывая каждую деталь: мелкую дрожь в пальцах, напряжённые плечи, блеск в глазах. Его лицо оставалось каменным, но что-то в зрачках менялось — мелькало едва заметное одобрение. Признание. Так мастер смотрит на ученика, в котором распознаёт скрытый дар.

— Начинаем допрос, шпионка, — произнёс он, и от этого слова — «шпионка» — по спине пробежал холодок, а следом вспыхнула горячая волна. — Первое обвинение: передача секретных сведений врагам короны. Признаёшься?

Я выдержала его взгляд.

— Не признаю, милорд Инквизитор, — голос прозвучал твёрже, чем я ожидала, будто стены подхватили его и вернули мне, усилив. — Я верна короне. И никогда не предавала её.

Усмешка — короткая, сухая, лишённая веселья. Холоднее клинка в его руке.

— Очень хорошо.

Он сделал шаг ко мне. Я чувствовала тепло его тела — он стоял так близко, что я различала каждую тёмную крапинку в радужке, каждую едва заметную тень под скулами.

— Тогда мы найдём способ развязать тебе язык, — голос стал ниже, интимнее. — Есть много путей к истине. Некоторые из них… весьма красноречивы. Некоторые оставляют следы. А некоторые, — он наклонился ближе, — некоторые

заставляют просить.

Я не отступила. Смотрела в эти беспощадные глаза и чувствовала, как внутри поднимается что-то, что я не могла назвать словами. Не страх. Голод. Тот самый, что живёт ниже рёбер, ниже разума, ниже стыда. Я видела в нём палача. Настоящего. Того, кто не играет — или играет так, что игра становится реальностью. И это возбуждало сильнее, чем я готова была признать. Это пугало — и заводило. Отталкивало — и притягивало. Я хотела, чтобы он сломал меня. И боялась, что он сможет. И ещё больше боялась, что не станет.

— Так попробуйте, милорд, — произнесла я, и голос не дрогнул. — Развяжите мне язык. Посмотрим, кто из нас первым скажет больше, чем хотел.

Его глаза сузились.

— Хорошо, — сказал он тихо. — Посмотрим.

Он выпрямился. Отступил на шаг — и от этого расстояние между нами стало невыносимым. Воздух, лишённый его тепла, хлынул в лёгкие холодом. Он вернулся к столу, положил нож на место. Медленно. Аккуратно. Так, чтобы я видела: это не конец. Это пауза. Он даёт мне время — прочувствовать, испугаться, захотеть.

— Начнём с простого, — произнёс он, и голос снова стал ровным, деловым, почти скучающим. — Кто тебя послал?

Игра началась по-настоящему. Я стояла в центре комнаты, под хирургическим светом, в котором не было ни одной тени, куда можно спрятаться. Каждое его слово, каждый

взгляд, каждое движение — всё стало частью этого танца. Власти и подчинения. Боли и наслаждения. Где грань между ними стиралась с каждым ударом сердца, а сопротивление становилось самой сладкой формой капитуляции.

4

— Никто меня не посылал, — сказала я, и голос прозвучал твёрже, чем я ожидала. — Я не шпионка. Я здесь не по чьей-то воле. Я здесь потому, что захотела сама.

Я подняла голову, не отводя взгляда от его ярких, немигающих глаз. Внутри всё дрожало, но внешне я держалась. Пусть видит. Пусть знает: это не сломленная жертва. Это вызов.

— А если вы не верите — что ж. — Я обвела взглядом комнату: цепи, инструменты, столб с бороздами. — У вас есть способы убедиться. Только знайте: чем сильнее давите, тем меньше правды получите. Я не из тех, кто ломается от первого удара. Можете проверить.

Диамант смотрел на меня долго. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но что-то в зрачках изменилось — мелькнуло, как тень от лезвия, повёрнутого к свету. Он не ожидал этого. Или ожидал — но не так. Не с такой прямотой.

— Смело, — произнёс он наконец. Ровно. Без интонации. — Посмотрим, надолго ли тебя хватит.

Он шагнул ко мне. Каждый шаг отдавался внутри глухим ударом колокола — низким, раскатывающимся по рёбрам.

В звенящей тишине его голос прозвучал почти нежно, и

от этой нежности по коже побежал настоящий холод — до сухожилий, до самого нутра.

— Снимай всё. Или я срежу сам. Лезвие не слишком острое. Так что будет грязно. Будет рваться, цепляться, тянуть за собой кожу. Ты почувствуешь каждую неровность.

Пальцы дрожали — я не пыталась это скрыть. Дрожь была частью игры, её обязательным условием, признанием уязвимости. Платье соскользнуло с плеч, цепляясь за кожу, как за остатки воли, — царапая, не желая отпускать. Бельё упало к ногам глухим комком. Тишина, последовавшая за этим, оказалась страшнее любого приговора — легла на плечи свинцовым плащом. Я стояла перед ним обнажённая. Воздух пыточной — густой, стылый, пропитанный сыростью и запахом старого камня — обжёг кожу тысячами крошечных иголок. Холод осел в костях, сделал движения деревянными, будто суставы покрылись инеем.

Он оглядывал меня медленно. Без спешки. В его взгляде не было ни страсти, ни желания — только расчёт, холодный и беспощадный, как у мясника, прикидывающего, где сделать первый надрез. Стыд смешался с ужасом, разъедал изнутри кислотой. Я пыталась удержать взгляд где-то над его плечом, не смотреть в глаза, но тело выдавало: мурашки, рваное дыхание, кровь, пульсирующую в висках, отсчитывающую секунды до следующего приказа.

— На колени, — бросил он коротко, без эмоций.

Я едва успела шевельнуться. Он схватил за волосы у са-

мого корня и рывком опустил вниз. Боль вспыхнула ярко и грязно, взорвалась за глазами, разлилась по затылку жгучей волной. На миг ослепила. Колени ударились о камень — жёстко, до звона в ушах. Под ними лежала старая солома, сбитая в комки, перемешанная с чем-то липким и холодным. Я не хотела думать, что это. Но запах въедался: затхлость, сырость, тонкий металлический привкус — будто здесь проливали кровь и не потрудились смыть. Я знала, что это игра. Знала, что я в безопасности. Но я уже стала частью этого места. Как ржавчина становится частью металла.

Диамант не отпустил волосы. Наклонился ближе.

— Ты будешь очень красиво кричать сегодня. — Шёпот лёг на кожу, как ледяные пальцы. — Я обещаю.

Слова ударили не в слух — глубже. Туда, где страх уже не просто страх. Он смешался с чем-то тёмным, горячим, пульсирующим в паху, и это пугало сильнее боли. Страшнее всего было не то, что мне причинят боль, а то, что тело знало её заранее, отзывалось раньше прикосновения, сплетая стыд и предвкушение в один узел — который хотелось одновременно развязать и затянуть потуже.

Он отпустил меня на мгновение — ровно настолько, чтобы подойти к столу. Там лежал тонкий железный прут с мелкими зазубринами по всей длине, тускло поблёскивающими в скудном свете. Когда он вернулся, прут чуть подрагивал в его руке. Или дрожала реальность. Мир стал зыбким, ненадёжным, и единственным, что оставалось неизменным, были

холод металла и тяжесть его взгляда.

Прут скользнул по коже. Холодный. Безжалостно точный. Зазубрины цепляли плоть, оставляя тонкие красные следы — не письмена, а метки, подтверждающие: боль реальна, она здесь, её нельзя отрицать. Каждая царапина вспыхивала, растекалась под кожей огнём, и вместе с ней приходило постыдное, неизбежное — тело не просто терпело. Оно отвечало. Тяжестью внизу живота. Влажным жаром между бёдер, который пугал сильнее боли, потому что вырывался из-под воли, как зверь из клетки.

— Правило простое, — произнёс он буднично. Эта обыденность делала слова страшнее крика. — Чем дольше тянешь с правдой, тем меньше изящества. Тем грязнее результат. Тем больше шрамов — на теле и в памяти.

Он раздвинул ногой мои колени.

Резкий нажим — и металл прижался к самой чувствительной точке. Холодный. Зазубренный. Не оставляющий иллюзий. Воздух вырвался из лёгких коротким рваным выдохом — без театральности, без позы. Просто реакция тела на острую границу между «можно» и «нельзя». Боль впилась в мышцы — острая, требовательная, — и сквозь неё пробилось постыдное тепло. Горячее. Тяжёлое. Лишающее опоры. Колени подрагивали не от холода. От того, как тело предавало разум.

Металл скользнул ниже. По внутренней стороне бедра — медленно, с нажимом, — и остановился там, где кожа была

самой тонкой. Зазубрины цеплялись, тянули, оставляли за собой влажный след. Я почувствовала, как он прижал прут сильнее — ровно настолько, чтобы боль стала невыносимой и одновременно желанной. Чтобы я выгнулась — не отстраняясь, а навстречу.

— Признаёшься? — спросил он спокойно. Не ускоряясь. Не замедляясь. Просто удерживая давление, будто проверял не тело, а прочность моей лжи, искал трещины, чтобы расширить их до разлома.

— Н-нет, — выдохнула я. Звук царапнул горло, как металл царапал кожу: грубо, неизбежно. Голос прозвучал чужим, надломленным. Я сама не знала — гордость это, упрямство или просто то, что признание означало бы капитуляцию. Сдачу не только тела, но и того, что ещё оставалось моим. А ещё — конец игры. А я хотела, чтобы она продолжалась.

Его глаза потемнели от удовольствия. В них вспыхнул холодный огонь — тот, что не жжёт, а выстуживает изнутри. Он резко убрал прут. Холод металла сменился пустотой, которая на миг показалась облегчением. Лишь на миг.

В его руке оказались маленькие клещи. Металлические челюсти поблёскивали, обещая новую боль — более точную, более личную, проникающую туда, где стыд становится плотью. Они выглядели почти изящно. И от этой обманчивой красоты стало ещё страшнее — как от яда в хрустальном флаконе.

— Тогда начнём по-настоящему, — сказал он.

И в этих словах прозвучал не вопрос, не обещание. Приговор.

Диамант

1

Я подошёл к Сильване. Не как человек к человеку — как часовщик к механизму, в котором вот-вот треснет шестерёнка. В полумраке её кожа утратила цвет. Стала бледным, влажным продолжением тьмы. На плечах поблёскивали дорожки пота. Дыхание — рваное. Рёбра ходили неровно, с присвистом. Она пыталась скрыть дрожь, но тело выдавало всё: каждый спазм, каждый срыв, каждую попытку удержаться на краю.

Я не искал, где ей больнее. Я искал, где точнее. Где надавить — и сопротивление рассыплется чище. Где удержать — и воля провисит на волоске ещё секунду, пока гордость не станет слишком тяжёлой. Не красота — безупречность исполнения. Слышать, как рушится опора за опорой, как остатки достоинства теряют вес и осыпаются сухой пылью, — это не удовольствие. Это подтверждение метода. Идеальный тон клинка, коснувшегося точильного камня.

Щипцами я потянул сначала левый сосок. Потом правый. Ровно настолько, чтобы ощущение пробило стену. Сильвана выгнулась. Спина — дугой. Пальцы вцепились в воздух, в невидимую нить, которая ещё могла удержать её в реальности. Она дёрнулась не от боли — от предательства собствен-

ного тела, которое реагировало раньше, чем разум успевал выстроить защиту. Мышцы бёдер напряглись. Челюсть стиснута. Разум цеплялся за последнюю тень контроля. Соски под пальцами набухли, затвердели, собрались в тугие комочки — кожа вокруг них пошла мелкой рябью, собралась морщинками, и от каждого движения воздуха она вздрагивала.

— Ты слишком быстро ломаешься от удовольствия, шпионка, — сказал я. Буднично. Как отмечают, что в комнате холодно. — Значит, пытать тебя будем именно тем, от чего ты течёшь сильнее всего.

Пощёчина словом. В её глазах вспыхнул стыд — острый, разъедающий, — и тут же сменился диким, упрямым блеском. Она ещё сопротивлялась. Тело — давно нет. Между бёдер было мокро, и она это знала, и ненавидела себя за это знание. В этом противоречии была вся прелесть: наблюдать, как человек борется с собственной природой, стоя на скользком камне, под которым — пустота.

Я рывком поднял её за волосы. Поставил на ноги. Колени подогнулись. Дрожь прошла по всему телу — натянутая струна, один щелчок до разрыва. Она едва стояла, и эта слабость была бы почти трогательной, если бы во мне осталось что-то, способное отзываться на чужую боль. Запах страха мешался с запахом возбуждения — терпким, густым, почти маслянистым.

Кресло стояло у стены. Деревянное, с широкими подлокотниками и грубыми кожаными ремнями, потемневшее от

времени и впитавшихся чужих криков. Ремни пахли пылью и чем-то затхлым, давно забытым, но не исчезнувшим — памятью тех, чья воля тоже когда-то казалась нерушимой. Я усадил Сильвану. Широко развёл ей ноги. Пристегнул бёдра. Щиколотки. Запястья. Каждый щелчок пряжки прозвучал в тишине как приговор. Теперь она была раскрыта полностью: распята в кресле, выставлена напоказ, и в этой абсолютной уязвимости была своя безжалостная геометрия.

Мой взгляд опустился ниже. Её половые губы были красные, набухшие, блестящие от влаги. Плоть пульсировала мелко и часто — непроизвольно, бесстыдно, выдавая то, что рот отказывался произносить. Я видел, как кожа под ремнём взмокла, как она лоснится в свете ламп. Не боль. Не возбуждение. Капитуляция. Написанная на теле, в каждом миллиметре, в каждой капле. Я видел, как стыд жёг её изнутри, как он сплавлялся с тем постыдным удовольствием, которое она не могла подавить, — вода сквозь треснувшую плотину.

Со стола я взял две тонкие серебряные цепочки с зажимами на концах. Металл — ледяной. Приятно холодил пальцы. Серебро тускло блестело в неровном свете, обещая не размашистую боль удара, а другую — тонкую, точечную, въедающуюся под кожу, туда, где стыд становится плотью, а желание — повинностью. Я наклонился. Намеренно медленно. Не ради театра — чтобы она успела осознать: момент неизбежен, от него не уйти, не спрятаться. Её грудь ходила короткими толчками. Зрачки расширились, поглощая свет. В них

— страх. И ещё кое-что. Не предвкушение. Тёмное, упрямое любопытство: как далеко можно зайти, пока от тебя не останется только реакция нервных окончаний, пока сама идея выбора не растворится в боли и влаге.

Зажим сомкнулся на левом соске. Сухой щелчок — как треск сломанной ветки. Серебро стиснуло плоть, впилось зубцами в самые чувствительные точки, и сосок — уже набухший, тугой — сжался под металлом, побелел по краю, налился кровью в центре. Сильвана дёрнулась всем телом, ремни натянулись, скрипнули. Кожа вокруг зажима собралась в мелкие складки, покраснела, пошла мурашками — и я видел, как по груди прошла волна: сначала от соска к ключице, потом обратно, вниз, к животу. Мышцы пресса сжались, потянули кожу, и живот втянулся резко, судорожно. Волна дрожи прокатилась до кончиков пальцев на ногах — я видел, как они поджались, как напряглись сухожилия на подъёме стопы. Боль — резкая, точечная, невозможная для игнорирования — впилась в нервы. Губы разошлись. Крик застрял в горле и вышел сдавленным стоном, в котором перемешались унижение и облегчение, — стон человека, который наконец перестал притворяться.

Я выпрямился. Позволил себе усмешку. Не от радости. От холодного удовлетворения мастера, подобравшего ключ к замку, казавшемуся несокрушимым. Второй зажим сомкнулся на правом соске — симметрично, точно. Тело Сильваны дёрнулось. Из горла вырвался короткий, хриплый звук

— не крик, но что-то близкое. Я потянул за цепочку. Серебро звякнуло. Сосок вытянулся под зажимом — кожа натянулась, побелела, пошла тонкими трещинками у самых зубцов, и я знал, что если потянуть ещё чуть сильнее, она лопнет, выступит кровь — одна капля, вторая, — и это будет уже другая боль, острая, режущая.

Сейчас её боль была тупой, тянущей. Она растекалась по груди, спускалась ниже, к животу, к бёдрам. Тело отвечало. Я видел это: как напряглись мышцы, как сжались кулаки, как влага между бёдер стала ещё заметнее, ещё обильнее, как она блестела, стекая по промежности, собираясь на дереве под ней.

— Ты знаешь, что самое забавное? — сказал я, не отпуская цепочку. — Ты можешь врать сколько угодно. Но тело уже сказало всё за тебя. Оно не умеет лгать. Оно не умеет притворяться. Оно просто реагирует — честно, бесстыдно, откровенно.

Я потянул сильнее. Цепочка натянулась до предела. Зажимы впились в плоть — зубцы вошли глубже, кожа натянулась вокруг них, побелела до пергаментной тонкости, и я видел, как под ней проступили тонкие синие жилки. Соски вытянулись, стали длинными, красными, блестящими. Сильвана выгнулась — насколько позволяли ремни, — и стон, сорвавшийся с её губ, был уже не сдавленным. Он был глубоким, гортанным, почти животным. Её спина оторвалась от спинки кресла, лопатки свело, шея напряглась. В этом стоне не было

боли. Или была — но такая, что слилась с удовольствием в одно неразделимое целое.

Я отпустил цепочку. Серебро звякнуло, повисло. Сильвана обмякла, тяжело дыша. Пот стекал по её телу — по вискам, по шее, по груди, между ключицами, в ложбинку, к животу. Я смотрел, как он блестит на коже, как впитывается в дерево кресла. Грудь ходила ходуном, соски под зажимами пульсировали в такт сердцу — я видел, как они вздрагивают при каждом вздохе.

Игра только начиналась. Чем дольше она будет цепляться за свою ложь — тем чище прозвучит признание. Тем точнее будет звук, когда последняя стена рухнет.

А пока я мог позволить себе смаковать каждый миг, вдыхая густой, спёртый воздух комнаты, пропитанный потом, металлом и тем запретным, тёмным желанием, которое превращало допрос в искусство — безупречную композицию из боли, стыда и правды.

Сильвана

1

Лёгкая острая боль от первого зажима не утихла — перетекла в пульсирующее тепло, властное, собственническое. Не растеклась, не растворилась. Захватила. Вытеснила из головы всё, кроме одного: под кожей разгорался тяжёлый, тягучий жар.

Время перестало быть линейным. Секунды набухли, тяжелели, растягивались в бесконечность. Воздух истончился

— каждый вдох приходилось вырывать из тишины комнаты, тянуть в себя, как последнюю каплю из пересохшего колодца.

Второй зажим щёлкнул на правом соске. Коротко. Сухо. Без театральности — как точка в незаконченном приговоре. Боль вспыхнула и тут же потекла вниз жидким жаром, скручивая внутренности в пьянящий, болезненный клубок. Я застонала громче, выгибаясь в ремнях. Дерево скрипнуло — жалобно, надтреснуто, будто само кресло сочувствовало. Или насмехалось. Кожа на запястьях горела от натяжения, и эта резкая, почти бытовая боль удерживала меня на границе — не давала провалиться окончательно, служила тонкой нитью к реальности, которая таяла с каждым ударом сердца.

— Хорошо… — выдохнула я.

Слово прозвучало не как согласие. Как первый шаг в пропасть. В груди на долю секунды кольнул стыд. Острый. Ледяной. Но его тут же накрыло тёмной волной наслаждения — плотной, тяжёлой. Стыдиться уже было некого. Та Сильвана, что хотела выиграть в этой безумной игре, исчезла где-то между первым и вторым зажимом. Растворилась в нарастающем жаре. Возвращаться к ней не хотелось.

Диамант поднял третью цепочку. Зажим крупнее. Тяжелее. При одном взгляде на него внутри всё сжалось — боль или удовольствие, разницы уже не было. Они слились в одно. Он неторопливо раздвинул пальцами мои половые губы, обнажая набухший, пульсирующий клитор. Движение не было

грубым — пугающе точным, как жест хирурга, который не сомневается ни в чём. Тишина. Только моё рваное дыхание и тяжёлый, густой стук сердца в ушах — громче любого звука.

Щёлк. Зажим сомкнулся на клиторе — и меня накрыло. Крик вырвался сам, без воли, без попытки сдержать: дикий, обнажающий, выворачивающий наизнанку. Металлические зубцы впились в самую чувствительную плоть, и боль сплавилась с удовольствием в одну жгучую массу, которой невозможно сопротивляться. Она просто была — как воздух, как холод ремней, как этот неподвижный, бесстрастный взгляд Диаманта, прожигающий насквозь. Тело дёрнулось в ремнях. Мышцы сжались — и тут же сдались, уступая ощущению, позволяя ему пройти насквозь, раствориться в каждой клетке.

Диамант наблюдал. Без спешки. Без лишних движений. Фиксировал каждую реакцию, каждую дрожь, как человек, проверяющий точность механизма, — прислушиваясь к каждому его скрипу. В его глазах не было эмоций. Только расчёт — сухой, точный. И от этой отстранённости становилось страшнее, чем от любой ярости. Она лишала происходящее всякого смысла, кроме одного: он владел каждым моим вдохом, каждым спазмом, каждым стоном. Он не дал мне времени прийти в себя.

Взял толстую свечу из тёмного воска. Чиркнул зажигалкой. Пламя вспыхнуло рывками, отбрасывая по стенам дёрганые тени — будто сами стены пытались вырваться из этой

комнаты. В неровном свете лицо Диаманта было не бесстрастным — пустым. Маска, за которой не угадать ни мысли, ни намерения, ни даже намёка на человечность. Воск начал плавиться. Тонкая нить дыма поднялась к потолку — сладковатый, душный запах, в котором чудилась гарь.

Диамант наклонил свечу. Первые капли упали на соски — горячие, тяжёлые. Они стекли по коже узкими струйками, оставляя вспышку жжения, тут же сменившуюся тягучим, глубоким теплом, которое тянулось по телу, как расплавленный шёлк. Холодный металл зажимов и жидкий огонь воска создали контраст, который не разорвал сознание, а сделал его предельно острым. Я чувствовала каждую миллисекунду. Каждый миллиметр кожи. Каждую границу между болью и удовольствием. В этой чёткости не осталось места ни для мыслей, ни для лжи. Стоны вырывались из горла сами — всё более отчаянные, всё более откровенные. Это пугало. Но приносило странное, горькое облегчение — будто я наконец перестала притворяться, что могу держаться. Что во мне ещё осталось что-то, что стоит защищать.

Диамант чуть склонил голову. В его взгляде мелькнула тень иронии — холодной, отточенной, как лезвие.

— Ну что, шпионка, — произнёс он спокойно, почти лениво. — Готова признаться? Или тебе нужно ещё немного… вдохновения?

Я качнула головой. Не из стойкости. Просто не хотела, чтобы это прекращалось. Признание ощущалось не как

сдача позиции — как предательство самого этого чувства. Острого. Тёмного. Заставляющего сердце биться так, будто от этого зависит жизнь. Одно слово — и всё исчезнет. Я снова стану прежней Сильваной: той, что прячет взгляд и сжимает кулаки, пытаясь удержать себя в узде. А сейчас я эту узду сбросила. Позволила ей упасть на пол, где она стала бесполезной, забытой вещью.

— Нет, — выдохнула я. Голос сорвался на хрип. — Ещё.

Он не ответил. Только наклонил свечу чуть ниже. Капли воска упали на живот — на напряжённые мышцы, которые судорожно сжались под горячей струёй. Я выгнулась, насколько позволяли ремни, и стон вырвался из горла — глубокий, гортанный, почти животный.

Капли воска упали на внутреннюю сторону бёдер. А потом — прямо на раскрытое, влажное, пульсирующее влагалище. Горячий воск залил клитор под зажимом, стек по набухшим губам, обжигая нежнейшую кожу. Контраст — жгучий холод металла и жидкий огонь воска — разорвал меня на части и собрал заново. В кого-то нового. В кого-то, кого я не узнавала, — сотканную из боли, желания и пугающей ясности. Каждая капля оставляла мгновенное жжение, тут же сменявшееся тягучим, почти болезненным удовольствием, и переходы были настолько резкими, что сознание цеплялось за реальность, как за нить, готовую вот-вот порваться. Крик вырвался не от боли — от силы ощущения, которое накрывало целиком.

Оргазм пришёл тяжёлой волной. Мышцы судорожно сжались — в поисках опоры, которой не существовало. Которая была иллюзией с самого начала. И в этом отсутствии опоры было своё освобождение: не нужно ни за что держаться. Нет прошлого, долга, вины. Ничего, кроме тела, боли и удовольствия, сплетённых в тугой узел.

Волна прокатилась по позвоночнику — от затылка до кончиков пальцев на ногах. Тело выгнулось, натянуло ремни до скрипа, и стон — долгий, протяжный — заполнил комнату. Он отразился от каменных стен, от металлических инструментов, от застывшей фигуры Диаманта. Меня трясло. Мышцы сокращались, отпускали, снова сокращались. Я чувствовала, как влага стекает по бёдрам, как воск застывает на коже, как зажимы продолжают пульсировать в такт сердцу.

Когда я открыла глаза, Диамант смотрел на меня. Всё так же. Без эмоций. Но что-то в его взгляде изменилось. Что-то, что он сам, возможно, не хотел показывать. Я не стала гадать. Просто лежала в кресле — раздавленная, опустошённая, но не сломанная. Позволяя узлу боли и удовольствия быть. Не пытаясь его распутать.

— Признания не будет, — произнесла я тихо. Голос сорвался, но слова прозвучали твёрдо. — Ни сейчас. Ни потом. Можешь продолжать.

Он не ответил. Только задул свечу. Дым поднялся к потолку и растворился в полумраке.

Диамант

1

Я смотрел на Сильвану. Её тело выгибалось дугой. Жилы проступали под тонкой кожей шеи, натянутые до предела. Дыхание давно сорвалось в рваные хрипы, потеряв ритм и расчёт — осталась только физиология, обнажённая до кости.

Контраст бил наотмашь. Я помнил её в пиршественной зале — каждый поворот выверен под десятки придворных взглядов, каждый жест просчитан, как ход в шахматной партии. Сейчас от той Сильваны не осталось ничего. Ни грации. Ни игры. Только судорога. Только тело, переставшее слушаться разума. И это завораживало — не как порок, не как зрелище, а как демонстрация хрупкости: слои самоконтроля оседали пылью, обнажая простые, безусловные импульсы, которые всегда жили под ними.

Дрожь становилась реже. Дыхание выравнивалось. Но в этой кажущейся тишине таилась опасность — переходный момент, когда человек пытается собрать себя из осколков.

Я шагнул ближе. Не ради эффекта. Чтобы зафиксировать реакции: как сужаются зрачки, как холодный пот выступает на висках, как по лицу пробегает короткое, почти детское замешательство. Она пыталась осознать, что только что потеряла контроль. Что пол ушёл из-под ног, а она не заметила падения. В глазах ещё жила надежда — не на достоинство, нет. На иллюзию. На тонкую плёнку веры в то, что она ещё способна сопротивляться. Именно эту плёнку я собирался проткнуть.

— Ну что, шпионка, — произнёс я ровно, без иронии, без желания ранить — просто констатация, сухая, как протокол. — Первичная реакция сошла. Говори прямо: ты собирала сведения для моих врагов?

Пауза. Я позволил ей повиснуть.

— В твоём танце было слишком много внимания к вещам, которые не должны были тебя интересовать. Ты замечала то, мимо чего проходили другие. Это не талант. Это выучка.

Она качнула головой — и в этом жесте было столько автоматизма, что он казался рефлексом, попыткой удержать привычный контур личности, уже трещавшей по швам.

— Я не шпионка, — прошептала она.

Голос — надломленный, будто каждое слово сдирало горло изнутри. Но в нём ещё звенела упрямая нотка. Не убеждение — инерция. Остаточное сопротивление, которое я собирался стереть до нуля.

— Разминка закончена.

В голосе ни гнева, ни страсти. Сухой переход от одной фазы к другой.

— Дальше реакции перестанут быть автономными. Ты больше не будешь действовать по инерции — ты будешь выдавать информацию в ответ на стимулы. И точность ответов будет расти по мере того, как порог сопротивления падает. Я уберу из тебя всё, что стоит между мной и прямым сигналом. Гордость. Стыд. Страх. Саму идею выбора. Останется только реакция — чистая, безусловная, как у механизма.

Резким движением я отстегнул ремни. Дерево скрипнуло — жалобно, надтреснуто, будто само кресло знало, что сейчас произойдёт. На коже Сильваны проступили алые полосы и белые вмятины от пряжек — чёткие границы, где кончалась её воля и начинался мой контроль.

Без паузы я перевернул её и поставил на четвереньки. Холодный камень ударил по ладоням. Она вцепилась пальцами в стыки плит, пытаясь найти трещину, за которую можно было бы ухватиться. Камень шершавый, злой, впивался в кожу мелкими осколками, и этот дискомфорт работал точнее любого слова — напоминание, где она находится и кто здесь решает.

Я прижал её лицо к соломе. Запах ударил в ноздри — пыль, затхлость, старая кровь, впитавшаяся в эти стены, как чернила в пергамент. Жёсткие стебли впились в щёку, и она замерла, словно впервые по-настоящему поняла, где оказалась. Не в бальном зале. Не под взглядами придворных. Здесь. В темноте. В холоде. В месте, где красота не имеет веса, а воля — цены.

Я приподнял её зад и развёл ягодицы — широко, грубо, без церемоний. Не ради унижения. Чтобы отнять последнее: иллюзию контроля, возможность стратегии, попытку сохранить хоть какой-то образ. В этой позе ничего не оставалось — ни маски, ни щита. Только тело, обнажённое не кожей, а уязвимостью. Объект. Материал. Открытая рана, ждущая прикосновения.

Я взял со стола плеть. Короткую, с тяжёлыми кожаными хвостами. Кожа рукояти чуть шероховатая, пропитавшаяся запахами чужого пота и чужого страха. Я провёл по ней большим пальцем, проверяя хват, и задержал взгляд на Сильване. Дрожащие плечи. Напряжённые мышцы спины — канаты под тонкой кожей. Рёбра ходили ходуном: она пыталась выровнять дыхание, будто контроль над вдохом ещё что-то решал. Будто, удержав ритм, можно было удержать себя.

Слабый сквозняк шевелил солому — и даже этот шорох казался оглушительным. По её спине пробежала мелкая дрожь. Тело пыталось сжаться, уйти в себя, спрятаться от неизбежного — и это было красноречивее любого крика. Откровеннее любого признания.

— Готовься.

Одно слово. Тихое. В тишине, заполненной только её прерывистым дыханием, оно упало тяжелее приговора.

Сильвана

1

Первый удар пришёлся точно по клитору, и мир сжался до точки, где сошлись жжение и что-то другое. Тёмное. Тягучее. То, от чего внутри всё поджималось и одновременно раскрывалось. Вспышка растеклась по нервам и обернулась предательским удовольствием — густым, горячим, от которого хотелось сжать зубы до хруста. Я сама вела себя к краю. Сама толкала — к пропасти, от которой нельзя отвести взгляд.

Стон вырвался раньше, чем я успела стиснуть губы. Тело выгнулось дугой — без приказа, без согласия, — и в этом изгибе не осталось ни расчёта, ни гордости, ни той Сильваны, что просчитывала шаги и держала дистанцию. Только реакция — голая, непристойная, как обнажённая плоть под хирургическим светом. Я слышала этот звук и не узнавала его. Он принадлежал кому-то, кто рассыпался на осколки с каждым новым ударом, — кому-то, кого я ещё пять минут назад отказалась бы признать собой.

— Нравится, шлюха?

Голос — ровный. Без нажима. Без страсти. Без ненависти. Именно эта ровность пугала сильнее крика: уверенность, отточенная до стерильности, не нуждающаяся ни в подтверждении, ни в ответе. От неё внутри всё проваливалось, будто пол уходил из-под ног.

Второй удар — сильнее. Резче. Кончик плети врезался во влажную, набухшую плоть, и стон вырвался снова — хриплый, надломленный. Плеть опускалась снова и снова — по половым губам, по клитору, по нежной коже внутренней стороны бёдер, где кожа тоньше пергамента. Каждый удар отдавался внутри острой, звенящей дрожью, и тело откликалось — мокрое, податливое, жадное. Будто искало в этой боли опору — единственную нить, ещё связывающую меня с чем-то реальным. Стенки влагалища сжимались судорожно, ритмично, вокруг пустоты — и эта пустота была невыносимее боли. Я цеплялась за иллюзию контроля, а она крошилась в

пальцах, как сухая глина.

Плеть упала на каменный пол. Глухой, будничный стук — будто жестокость здесь была рутиной, не заслуживающей даже интонации. Секунда тишины. Ложная. Ядовитая.

Три пальца вошли разом — резко, без предупреждения, — раздвигая, растягивая, вторгаясь туда, где ещё теплилась тень приватности. Я услышала, как мокро, непристойно хлюпнула плоть, принимая их. Четвёртый — следом. Ощущение стало плотнее, острее, вытесняя мысли, стирая их, как мел с мокрой доски. Пятый палец заставил завыть — не от боли, а от того, как безжалостно исчезала дистанция. Последние стены рухнули. Не осталось ни укромного уголка, ни тени, куда спрятаться — даже от себя.

Его кулак внутри меня. Целиком. Мышцы горели сладкой, тягучей болью, и каждый толчок его руки делал меня мокрее — обильнее, бесстыднее. Смазка стекала по бёдрам, каждая капля — приговор. Каждая — доказательство: той Сильваны, что пришла сюда с планом и гордостью, больше нет. От неё остались обрывки — тонкие, как паутина, готовые рассыпаться от дыхания.

Он медленно двигал рукой. Продавливая, растягивая, заполняя собой всё пространство внутри. Я чувствовала каждую костяшку, каждую складку его кулака, каждую вену на запястье, которое входило в меня всё глубже. Тело подавалось навстречу — не по приказу, а по инстинкту, — и я ненавидела себя за это. Ненавидела и хотела ещё. Ещё. Глубже.

Сильнее. До конца. До того места, где не останется ни имени, ни прошлого, ни этой упрямой мысли, что ещё цепляется за остатки меня.

Но мысль оставалась. Где-то внутри, за волной ощущений, за стыдом, за мокрым, хлюпающим звуком его руки во мне, — одна фраза. Маленькая. Упрямая. Твёрдая, как камешек на дне реки, который вода не может обточить.

«Я не шпионка».

Не правда и не ложь. Игра. Последнее, что ещё принадлежало мне. Единственное слово, которое нельзя вырвать — ни болью, ни стыдом, ни рукой, вбитой по запястье в самую сердцевину моего тела. Если я скажу то, чего он ждёт, — я проиграю не допрос. Я проиграю себя. Стану эхом. Тенью без имени.

Запах пота, железа, моей собственной смазки — тяжёлый, животный — оседал на языке, забивался в ноздри. Тело больше не слушалось. Но оставалось моим. Последней территорией. И в нём — среди стонов, среди боли, среди ощущений, которые накатывали и отступали, как прибой, бьющийся о скалы, — я держала эту фразу.

«Я не шпионка».

Не заклинание. Не молитва. Факт. Маленький, упрямый — единственное, что ещё не сломано.

Диамант

1

Не вынимая пальцев из её набухшей, пульсирующей кис-

ки — горячей, как нутро жаровни, — я расстегнул молнию и приставил головку члена к тугому кольцу ануса. Она вздрогнула: не от боли ещё — от обещания боли. Одним ударом — коротким, точным — я вошёл до упора. Мышцы сопротивлялись секунду, может, две — и сдались, смыкаясь вокруг меня раскалённым жгутом, тесным до звона в висках. Из горла Сильваны вырвался звук — не стон, не слово, не имя. Чистый, звериный, лишённый языка. Боль, перемолотая в необходимость.

Я трахал грубо. Глубоко. Без паузы, без нежности, без единого слова, которое можно было бы принять за ласку. Каждый толчок — на всю длину, так что бёдра врезались в ягодицы с мокрым, тяжёлым звуком, а каменные плиты под нами отдавались гулом. Пальцы левой руки продолжали работать внутри её киски — растягивали, давили на переднюю стенку, вжимались до костяшек, — и тонкая перегородка между двумя каналами превращала её тело в инструмент, настроенный на одну частоту: полное заполнение. Ни миллиметра пустоты. Ни щели, куда могла бы забиться воля. Её смазка стекала по моему запястью — густая, тёплая, с тяжёлым, железистым запахом, в котором не оставалось стыда, только капитуляция. Стоны сплавлялись в одну рваную, непрерывную ноту — прерывистый крик без гордости, без расчёта, без имени. Голая физиология, обнажённая до нерва.

Мне стало мало. Я хотел видеть лицо. Видеть, как трескается маска. Как гаснет последнее. Рывком я перевернул её на

спину. Каменный пол ударил между лопаток — она ойкнула, но не успела вдохнуть: я уже закинул её ноги себе на плечи. Мышцы бёдер подрагивали мелкой дрожью, кожа блестела от пота — скользкая, холодная на ощупь, покрытая бисером, который тут же высыхал от жара моих ладоней. Одним мощным движением я вошёл в её истекающее влагалище. После анала теснота стала удушающей — стенки обхватили член так, будто тело пыталось не впустить и не отпустить одновременно. Жар проник глубже плоти, глубже мышц — в кость, в хребет, в ту часть сознания, которая ещё помнила, зачем всё это.

Не сбавляя ритма — жёсткого, глубокого, вколачивающего — я нащупал рядом плеть. Кожаные хвосты рассекли воздух с коротким свистом и обрушились на её грудь. Первый удар лёг поперёк соска — набухшего, тёмного, налитого кровью. Красная полоса проступила мгновенно, как надпись на коже, — чернильная, яркая, горячая. Я хлестал без пощады. Левая грудь, правая, снова левая — рисунок из рубцов разрастался, как корни, как трещины в сухой земле. Каждый удар прошивал её насквозь: тело дёргалось, стенки сжимались судорогой, и боль сплеталась с удовольствием в один узел — тугой, мокрый, неразделимый. Он рос. Он не давал дышать.

Её глаза начали стекленеть. Зрачки расширялись. Дыхание ломалось — короткие, рваные всхлипы, похожие на рыдания без слёз. И тогда оргазм ударил. Не накатил — ударил.

Сильвана выгнулась дугой, позвоночник оторвался от камня, влагалище сжалось мощными ритмичными спазмами, и она закричала. Громко. Протяжно. Абсолютно. Крик, в котором не было слов, не было мысли — только тело, выброшенное за край, только глотка, разорванная звуком, который целился в стены, в потолок, в самую ночь. Её лицо — искажённое, потерянное, залитое потом и слезами, которых она не замечала, — сломало меня. Последняя опора, за которую я держался, треснула и рассыпалась.

Я излился глубоко, с низким, утробным рыком — не человеческим, не вполне звериным, — заполняя её горячими, тяжёлыми толчками, каждый из которых отдавался в позвоночнике. Волна прошла снизу вверх — выжгла нервы, стёрла границу между моей плотью и её, между болью и наслаждением, между тем, кто берёт, и тем, кто отдаёт.

Потом — тишина. Липкая, плотная, пропитанная запахом соли, железа, спермы и чего-то ещё. Чего-то тёмного и окончательного, как земля, брошенная на крышку гроба.

Мы застыли — мокрые, дрожащие, опустошённые. Дышали тяжело, в унисон, и ни один из нас не двигался, потому что двигаться — значит вернуться. А возвращаться некуда. Её ноги всё ещё лежали на моих плечах. Я чувствовал, как по её бёдрам стекает моя сперма, смешиваясь с её влагой, как застывает на коже пот, как медленно выравнивается дыхание. Каменный пол под нами был холодным. Воздух — спёртым. Где-то в углу догорала свеча, и её свет дрожал на сте-

нах, как последний вздох.

Я не сказал ни слова. Она — тоже. Слова были бы ложью. Или правдой. А правда сейчас была не нужна. Нужна была только эта тишина — тяжёлая, плотная, окончательная, как всё, что происходит между двумя людьми, которые перестали притворяться.

2

Спустя пару минут я пришёл в себя. И посмотрел на Сильвану — пристально, жадно, так, как смотрят на вещь, которую только что сломали и хотят понять, насколько глубоко прошла трещина. Той колючей воли, что ещё недавно бросала мне вызов, царапала, как лезвие по стеклу, — не осталось. Ни следа. Ни тени. Она пребывала в том зыбком, опасном состоянии, которое знающие люди называют сабспейсом, — на самой кромке, где реальность теряет очертания, боль и покой сплавляются в одну тягучую массу, и человек перестаёт быть собой, становится чистым веществом — мягким, податливым, ещё горячим от переплавки.

Дыхание выровнялось, но покоем в нём не пахло. Только усталость, въевшаяся до костей. Между вдохами повисали короткие паузы — будто тело на долю секунды забывало ритм и возвращало его по инерции. Зрачки поглотили радужку почти целиком. Глаза превратились в два тёмных провала, в которых не осталось ни вызова, ни страха — ничего, что можно было бы назвать чувством. Прежняя гордая осанка, собранность хищницы — всё рассыпалось, оставив после

себя эту пугающую, неживую мягкость, будто из тела вынули позвоночник. Тонкий слой холодного пота покрывал кожу, смешиваясь с остаточным теплом, и от этого контраста плоть казалась хрупкой до неприличия — будто любое касание могло её расколоть. Следы ремней. Тонкие полосы от ударов. Лёгкие покраснения, переходящие в тёмно-розовые мазки на рёбрах, бёдрах, внутренней стороне предплечий — каждая отметина фиксировала отдельный шаг вниз, отдельную главу её поражения. Я не стал их пересчитывать. История и так читалась слишком ясно — проступала на теле, как текст на промокшей бумаге, которую уже не высушить.

Она не осознавала происходящего. Это было очевидно. Реальность для неё загустела, стала непрозрачной: звуки доходили с опозданием, мысли рассыпались, не успев оформиться. В таком состоянии не бывает ни уловок, ни защиты.

Продолжать сейчас — не игра. Жестокость. Не скажу, что жестокость мне претит. Но не та, что бьёт в пустоту. Не та, что обрушивается на тело, которое уже не чувствует, и разум, который уже не сопротивляется. Это не удовольствие. Это работа мясника.

Холодный расчёт, который всегда направлял мои руки, на миг дрогнул. Я поймал себя на мысли — неприятной, как заноза под ногтем, — что не хочу видеть её такой. Не потому, что она стала слабее. Потому что эта слабость лишала происходящее смысла. Победа, купленная ценой чужого безумия, — не победа. Пустая форма. Я привык ценить не покор-

ность — осознанное признание поражения. Мне нужен был её взгляд, в котором ещё тлеет упрямство. Её голос, в котором звенит надломленный, но не сломленный вызов. Без этого всё превращалось в эхо — гулкое, пустое, бессмысленное, как крик в заброшенном зале, который некому услышать.

Игра окончена. На сегодня.

Я поднял её — осторожно, без спешки. Она была совсем лёгкой: так бывает, когда из тела уходит всё напряжение и остаётся только усталость. Голова склонилась к моему плечу без сопротивления. Влажные пряди коснулись шеи прохладным шёлком, и на миг — один короткий, непрошеный миг — я увидел в ней не противника, не женщину, пытавшуюся меня переиграть, а просто человеческое существо, чьи силы иссякли. Она не сопротивлялась. Не пыталась выпрямиться. Не искала в себе остатки гордости. Лишь ресницы дрогнули — едва заметно, как крылья мотылька, попавшего в паутину, — будто она пыталась зацепиться за реальность. Но тут же опустились. Сдались. Без слов.

Я нёс её через тёмные коридоры. Мимо закрытых дверей. Мимо теней, которые тянулись по стенам — длинные, липкие, настойчивые, как чужие взгляды, от которых не отмахнёшься. Холодный камень под босыми ступнями вонзался в кожу колючим ознобом. Тишина стояла такая плотная, что каждый шаг отдавался гулким ударом, и эхо бежало впереди, предупреждая пустые комнаты о приближении. Время застыло. Ни прошлого. Ни будущего. Только этот тяжёлый,

неподвижный миг, растянутый до бесконечности.

Спальня встретила полумраком — не мягким, не милосердным, а просто другим. Он не смягчал, а перекраивал пространство под себя, менял его правила. Здесь не было ремней. Не было инструментов. Не было следов чужих испытаний. Тяжёлые бархатные шторы поглощали свет без остатка, словно пили его. Широкое ложе под тёмным покрывалом. Тишина иного свойства — не давящая, а замкнутая, удерживающая каждый звук внутри себя, как сосуд держит воду. Воздух теплее, чем в коридорах, и пахнет воском, старым деревом и тонким, сухим оттенком сандала — сдержанный запах, под стать комнате, созданной стирать острые углы.

Ногой я распахнул дверь в ванную. Массивная джакузи — тёмный камень, гидромассаж, широкие округлые формы, — похожая на ритуальную чашу для омовения. Включил воду. Она ударилась о дно с глухим, влажным звуком, взметнулась брызгами, и пар тут же поплыл по воздуху, размывая контуры, превращая комнату в зыбкое, белёсое пространство без границ.

Я уложил Сильвану в воду. Подсунул под голову мягкую подушку. Её тело скользнуло вниз — безвольно, послушно, — и вода приняла его, сомкнулась вокруг, как тёплые ладони. Сам сбросил одежду и скользнул рядом. Вода обняла тело — тяжёлая, горячая, — и от этого объятия по коже прошла короткая дрожь, похожая на вздох. Пар осел на лице мельчайшими каплями. Её плечо коснулось моего под водой

— невесомо, почти случайно, — и в этом прикосновении не было ни вызова, ни покорности. Просто два тела рядом. Просто тепло.

Я знал, что сабспейс длится не больше двадцати минут, у кого-то меньше, у кого-то дольше. У меня было достаточно женщин, доходивших до этого предела, и я видел, как меняется их взгляд, когда реальность возвращается по частям — сначала звуки, потом свет, потом осознание, накатывающее тошнотворной волной. Но сейчас мне было интересно другое. Что она скажет, когда придёт в себя. Какими будут первые слова. Какой будет первая эмоция — стыд, злость, благодарность, ненависть. И от этой мысли внутри шевельнулось нечто, чему я не сразу нашёл название. Не желание. Не голод. Нетерпение. Чистое, острое, почти детское нетерпение — как перед вскрытием запечатанного письма, содержание которого может всё изменить.

Глава 10

Глава 10.
Нежность И Сталь

«Ты будешь знать. Будешь видеть. Будешь частью — а не призраком за стеной, который придумывает ужасы страшнее любой реальности».

Сильвана
1

Я вынырнула — не из сна. Из бездны. Из того места в себе, где нет ни формы, ни имени, ни единого слова, способного зацепиться за реальность. Пустота не отпускала. Тянула назад, вязкая, голодная. Но тело уже чувствовало другое — тёплую воду, обволакивающую кожу с той пугающей нежностью, с какой обращаются с вещью, которая только что чуть не разбилась. И рядом — его тепло. Плотное, звериное, безжалостное в своей неотвратимости. Он не сомневался ни на миг, что я вернусь.

Я разлепила веки. Свет не резал — он стекал по телу бархатной тьмой, слизывая острые углы мира, делая всё мягким, податливым, почти ненастоящим. Диамант сидел рядом со мной в джакузи, опершись локтем о бортик, и смотрел на меня с этой своей полуулыбкой — ленивой, лишённой даже

тени милосердия. Ни торжества. Ни снисхождения. Только терпеливое ожидание: он знал, что мне нужно время — собрать себя из осколков, которые он же и создал.

Вода едва колыхалась. Я ловила её шёпот, как откровение. Тело ныло — каждая мышца, каждый нерв кричал о том, что жив, что боль — это тоже форма истины, может быть, самая честная. В голове было пусто и звонко: всё липкое, тяжёлое смыло, и осталось только эхо ощущений — острое, как осколок стекла под языком.

Я потянулась к нему. Не за утешением. Чтобы проверить — реален ли. Не растворится ли, если коснуться. Его плечо оказалось твёрдым. Горячим. Живым. И от этого простого контакта реальность хлестнула по лицу — жёсткая, неумолимая, настоящая.

— Это было прекрасно, — выдохнула я без тени стыда. — Ты был великолепен.

Уголки его губ дрогнули. Он притянул меня к себе — обнял так, что я чувствовала одновременно силу, способную сломать, и бережность, способную удержать сломанное. В этом сочетании было что-то чудовищное. Что-то, что могло принадлежать только ему.

— Ты тоже была ничего, — пробормотал он, и его ладонь скользнула по моему плечу вниз, задев ключицу, задержавшись на секунду у основания шеи.

В этом «ничего» звучало больше, чем в любых клятвах. Я фыркнула, уткнувшись носом ему в шею.

— «Ничего»? После всего, что ты со мной вытворил? Я заслуживаю как минимум «невероятно». И оваций стоя. С оркестром.

Он засмеялся — тихо, низко. Этот звук вошёл в меня вибрацией, прокатился по позвоночнику, отозвался в паху тупым горячим толчком. Мир сжался до его смеха, до тепла его руки, до капли воды, медленно сползающей по моей ключице.

— Овации потом. А «ничего» — это комплимент от главы Инквизиции. Цени. Я раздаю похвалу реже, чем помилования.

Я придвинулась ближе. Прижалась к нему всем телом — грудью, животом, бёдрами, — чувствуя, как его жар выжигает последние остатки холода, цеплявшиеся за кожу. Вода лениво качала нас, но внутри всё ещё гулко билось эхо пережитого — страх и восторг, спаянные в одну ядовитую, сладкую массу. И вдруг слова вырвались сами — потому что это царапало изнутри, не давало дышать:

— Скажи честно. В нашу первую встречу… ты бы действительно сделал со мной всё это? Пытки. Анал. Всё.

Он помолчал. Пальцы его медленно прочертили линию по моей ключице — от горла к плечу, от плеча к впадинке у основания шеи. Не чтобы сломать. Чтобы запомнить.

— В нашу первую встречу, — произнёс он спокойно, почти буднично, — ты была виновна лишь в том, что скрывала местонахождение отца-мятежника. Противодействие вла-

сти, но не то преступление, ради которого стоит ломать неподготовленную девчонку. Так что нет. Я бы просто трахнул тебя. Жёстко. Грубо. Так, чтобы ты запомнила телом. Как, в принципе, и сделал потом — в спальне.

Внутри вскипела старая обида — упрямая, горячая, обжигающая сильнее любой внешней боли.

— Я правда не знала, где он! — выпалила я с вызовом, будто мне было жизненно необходимо, чтобы он услышал это именно сейчас, когда между нами не осталось стен, ролей, одежды — только вода, тепло и голая правда.

Диамант чуть наклонил голову. Посмотрел так, словно видел не моё лицо — а всё, что за ним: страхи, ложь, полуправду и ту упрямую искру на самом дне, которую никто не сумел погасить.

— Я понял это почти сразу, — сказал он без тени раскаяния, и каждое слово вошло точно, как нож между рёбер. — Но это бы меня не остановило.

Я замерла. Потом вцепилась в его плечо — не от страха. От горького, тошнотворного понимания: моя невиновность для него не была бы преградой. Он хотел не справедливости. Он хотел увидеть, как человеческая воля ломается — и собирается заново. Хотел мою реакцию. Мой крик. Моё тело, выгнутое болью и сдачей.

Он притянул меня ещё ближе. В его объятиях не было обещания безопасности. Не было клятвы защитить. Только молчаливое признание: мы оба знали, на какую грань ступили.

И оба не собирались отступать.

— Не смотри на меня так, — прошептал он. — Ты думаешь, я монстр. Но я просто знаю, чего хочу. И никогда не притворяюсь, что это что-то другое.

Я подняла на него глаза. В этот момент между нами не было ни власти, ни подчинения, ни Инквизитора и шпионки. Двое людей, зашедших слишком далеко, чтобы найти дорогу назад.

— А чего ты хочешь сейчас? — спросила я, и собственный голос показался чужим — слишком тихий, слишком открытый, слишком голый.

Он улыбнулся. Иначе. Без насмешки. Большой палец скользнул по моей щеке, стирая каплю воды, задержавшуюся дольше, чем положено.

— Сейчас я хочу, чтобы ты посидела вот так. Рядом. Пока мир снова не станет похож на нормальный. А потом… потом разберёмся.

Я кивнула. Уткнулась ему в плечо. Закрыла глаза. Вода обнимала нас. Свет стекал по стенам. И на несколько мгновений весь остальной мир перестал существовать, оставив только это: тепло, дыхание и ощущение, что я жива.

Возможно, пока этого достаточно.

2

Диамант первым выбрался из джакузи. Вода стекала с него тяжёлыми ручьями, будто не хотела отпускать — цеплялась за мышцы, за каждую впадину тела, которое выгля-

дело так, словно его вырезали из чего-то более плотного, чем человеческая плоть. Капли разбивались о каменный пол, оставляя тёмные пятна. Похожие на кровь. Он протянул руку. Твёрдую. Без лишней суеты. Я вложила в неё свою ладонь — пальцы ещё подрагивали, но не от холода. Это была та дрожь, что остаётся после шторма, когда тело всё ещё помнит каждый удар волны, каждую вспышку, каждый разряд боли, перетекающей в наслаждение. Он вытянул меня из воды, не разжимая хватки ни на секунду — будто знал: стоит отпустить, и я соскользну обратно в ту зыбкую черноту, из которой только что вынырнула.

Он отошёл к резному сундуку у стены. Достал халат — тяжёлый, из грубой ткани, пропахшей воском, сухими травами и дымом, словно впитавшей в себя запах самого замка, его древних камней и старых, нерассказанных грехов. Я набросила его на плечи. Ткань царапнула кожу — жёстко, почти зло. Мне это было нужно. Боль напоминала, что я здесь. Живая. Настоящая. Не приснившаяся самой себе.

Диамант натянул узкие кожаные штаны — чёрные, тугие, с тусклыми металлическими заклёпками, поблёскивающими в свете ламп. Каждое движение — скупое, выверенное. Он не просто одевался. Он снова надевал на себя власть, как доспех: пряжка, лёгкий поворот головы, проверка — всё ли на месте. Застегнул ремень. Скользнул взглядом по комнате, убеждаясь, что ни одна деталь не выбивается из порядка. И только потом посмотрел на меня. Ни спешки. Ни суеты.

Терпеливое ожидание. Он знал — мне нужно время, чтобы собрать себя. Даже если осколки режут ладони.

Мне стало невыносимо одиноко — в двух шагах от него. Не пустота страха, нет. Звенящая усталость, когда тело помнит каждое мгновение, каждую грань удовольствия и боли, а разум ещё не успел разложить пережитое по полкам. Слова вышли тише, чем хотелось. Почти шёпотом.

— Можно я останусь здесь? На эту ночь.

Он замер. Мои слова ударились о что-то невидимое в нём и не сразу нашли путь внутрь. Тяжёлый вздох — не раздражённый, не досадливый. Так вздыхают, принимая на плечи ещё один груз, когда они и без того тянут вниз. Но лицо его чуть смягчилось, и в голосе проступило что-то почти человеческое:

— Это твоя первая ночь в Леброне. Пожалуй, можно.

Я выдохнула. Плечи опустились.

Мы вернулись в спальню. Я вошла первой — и тут же подняла голову. Зеркальный потолок. Тот же, что в Рокуэлле. Отражения раздробились, замешались тени и свет, и на мгновение показалось, что здесь не двое, а целая галерея — каждое отражение чуть более уязвимое, чуть более обнажённое, чем предыдущее. Я невольно усмехнулась.

— Знаешь, я начинаю думать, что ты всё-таки помешан на своём отражении. В Рокуэлле — зеркальный потолок. Здесь — зеркальный потолок. Может, тебе просто нравится смотреть на себя сверху?

Диамант вошёл следом и, услышав это, коротко хмыкнул. Поднял взгляд к потолку — будто впервые заметил. Или сделал вид.

— Нравится, — согласился он ровно. — Особенно когда на меня смотрят. Ты же не думала, что я позволю тебе смотреть на меня снизу вверх без возможности увидеть то же самое?

Он бросил это так буднично, что я не сразу поняла — это шутка. Или не шутка. Он подошёл к кровати — она оказалась предательски мягкой, и контраст с тем, что было до, ударил по нервам, как переход от ледяного ветра к тёплому дому, который вдруг показался ловушкой.

Я упала на спину. Над головой — зеркала. В них — моё отражение: растрёпанные волосы, тёмные круги под глазами и новый, острый блеск внутри — маленький упрямый огонь, не собирающийся гаснуть.

«Сильвана. Ты всё ещё ты. И ты всё ещё можешь улыбаться».

— Знаешь, — я повернулась к нему, упёрлась локтем в подушку, — ты так и не добился от меня признания в шпионаже. Ни слова. Ни намёка. Ты проиграл.

Уголок его губ дёрнулся — то ли улыбка, то ли усмешка, которую он сам не до конца признавал. Он откинулся на спину, скрестил руки за головой, посмотрел на меня с этим своим ленивым, острым вниманием, от которого по коже побежали мурашки.

— Не добился, — спокойно признал он. — Но это ничего не значит. В следующий раз мы начнём ровно оттуда, где остановились. И я получу своё.

Смех вырвался нервный, звенящий — но с настоящей искрой, упрямым «я всё ещё могу». Я потянулась и дёрнула его за прядь тёмных волос. Не сильно. По-детски. Чтобы сбить эту его невозмутимость, чтобы увидеть хоть тень удивления в холодных глазах.

— Не дождёшься. Я упрямая.

Он приподнялся на локте. Навис — не давя. Дразня. Как кот, который знает, что мышь ещё не устала бегать. В его глазах плясали тени, и власть в них ощущалась физически — давление воздуха перед грозой, от которого сжимаются лёгкие и сердце начинает стучать быстрее, отзываясь на близость чего-то, от чего надо бежать, но ноги не слушаются.

— Вряд ли ты будешь столь смелой, когда познакомишься с «Колыбелью Иуды».

Название упало как удар — низкий, глухой, отозвавшийся под рёбрами. Уютный полумрак комнаты съёжился, стал тесным, колючим. Наполнился невидимыми шипами.

— Что это?

Мой голос уже не был уверенным. Диамант сел, опёрся на колено. Заговорил спокойно. Буднично.

— Пыточный инструмент. Для тех, кто забывает, с кем имеет дело. Представь узкое, острое основание — клин из металла, отполированного до зеркального блеска. Его уста-

навливают под углом так, чтобы весь вес тела приходился на самую чувствительную точку. Между ног. Или сзади. Жёсткие ремни фиксируют бёдра и талию — ни шанса сдвинуться. Иногда по бокам добавляют шипы. Неглубокие, но достаточные, чтобы каждый вдох напоминал, где ты находишься. Любое движение усиливает давление. Это не про быструю боль. Это про терпение. Про то, как долго ты сможешь держаться, прежде чем начнёшь говорить.

Ни пафоса. Ни театральных интонаций. Он не пытался напугать. Он описывал реальность, в которой жил, — будничнo и точно, как описывают маршрут. Я видела, как он мысленно раскладывал картину по деталям, будто вспоминал не инструмент, а старого знакомого, с которым у него свои, тёмные, сложные отношения.

— И это… для таких, как я? — прошептала я.

Холод пробежал по позвоночнику. А следом — что-то горячее, тёмное, пугающе притягательное. Пламя, к которому хочется поднести руку, чтобы проверить — насколько глубоко обожжёт.

— Для тех, кто осмеливается дёргать за волосы правителя двух королевств и главу Инквизиции. — Он склонил голову, оценивая мою реакцию, и в этом жесте было столько спокойной, абсолютной уверенности, что у меня перехватило дыхание. — Хочешь попробовать? Ничего серьёзного я не допущу. Но будет больно. Хотя… — пауза, короткая, тяжёлая, — я знал женщин, которые кончали на этой штуке.

Перед глазами мелькнуло: острые грани, холодный металл, жёсткие ремни, собственное тело — зафиксированное, раскрытое, беспомощное, — и боль, сплетённая с удовольствием в один тугой, безжалостный узел. Кошмар, который хочется досмотреть до конца, даже зная, что потом не забудешь ни одной детали. Я вздрогнула. Но не отвернулась. Не закрыла глаза. Сжала пальцами край подушки так, что ткань врезалась в кожу.

— Да. Хочу. Но… чёрт, ты умеешь испортить момент.

Усмешка. Он лёг рядом, притянул меня к себе — не грубо, но так, что сопротивляться было бессмысленно. Прилив не останавливают голыми руками.

— Я умею делать моменты настоящими. Ты просто ещё не привыкла.

Я прижалась к нему. Слушала, как стучит его сердце — ровно, уверенно, как стучит что-то, что не знает сомнений. Мир вокруг был тёмный, острый, опасный. Но здесь, в этой спальне, под зеркальным потолком, в котором множились наши переплетённые тени, я чувствовала странное спокойствие. На краю сознания шевелилась мысль: я хочу знать, насколько далеко мы зайдём, прежде чем один из нас скажет «хватит». Но в ту ночь я не хотела произносить это слово. Я хотела лежать рядом. Чувствовать его тепло. Слышать этот стук. И верить — хоть на несколько часов, — что мир перестанет быть враждебным. Что утро не наступит. Что ночь будет длиться ровно столько, сколько нужно, чтобы забыть

всё, кроме тепла, дыхания и тяжести его руки на моём бедре.

Диамант

1

Я всё ещё сжимал её — жёстко, собственнически, так, чтобы тело поняло раньше разума: вырваться не выйдет. Да и незачем. Она сдалась. Не покорилась — хуже. Та пружинистая настороженность, что держала её натянутой, как тетива, стёрлась. Растворилась. Сильвана уткнулась мне в плечо и впервые позволила себе не быть бронёй. Признание слабости. А слабость я любил почти так же, как власть над ней. Может, больше.

Тишина в комнате висела густая, тёплая, липкая. Она не давала дышать свободно, требовала ритма — иначе начинала скрестись по краям сознания. Я дёрнул руку, вдавил палец в сенсор у изголовья. Комната взорвалась звуком. Низким. Тягучим. Знакомым до судороги. На плазменной панели вспыхнул клип — Marilyn Manson, «Tainted Love». Кадры плыли, дробились в бликах стекла и металла, искажались, будто отражали не картинку, а саму суть того, что было между нами: горькую, ядовитую, невыносимо притягательную.

Сильвана шевельнулась. Приоткрыла глаза, скользнула взглядом по экрану — проверяя, не растворится ли реальность в секунду. Потом снова уткнулась мне в плечо. Крепко. Отчаянно. Её дыхание выравнивалось, становилось глубоким, без той рваной спешки, что терзала её недавно. Я слушал этот ритм, как слушают пульс поверженного врага. Он

говорил: она здесь. Тёплая. Живая. Моя.

— Завтра с утра я обещала Зейнаб пойти в оранжерею, — пробормотала она сонно, почти невнятно.

Слова про завтра. Про обычный день. Про прогулки и разговоры ни о чём. Обезоруживающая простота — и от контраста с тем, что недавно происходило между нами, стало почти больно. Внутри шевельнулся острый, звериный импульс. Я спрятал его за ровным тоном.

— Хорошо. Передам страже — пусть Зейнаб зайдёт за тобой сюда.

Она улыбнулась. Не смутилась — успокоилась, будто в том, что кто-то придёт и заберёт её из этой комнаты утром, была своя странная надёжность. В этом тоже была её сила — находить опору в местах, где другие видели только обломки. Но я знал: настоящая опора — не в чужих обещаниях. Она здесь. Под моей рукой.

И мысль вспыхнула снова. Та самая — резкая, бесцеремонная, грубая в своей откровенности. Впервые она скользнула ещё на приёме, когда Зейнаб стояла рядом с Сильваной и их плечи почти соприкасались. Когда я наблюдал за их танцем. Теперь она вернулась — жёсткая, оформленная, с пугающей ясностью деталей.

Я. Сильвана. Зейнаб.

Не нежность. Не игра. Столкновение тел и желаний, где никто не притворяется. Я видел это: Сильвана между нами — на коленях, выгнутая, мокрая, — одновременно в центре

и на грани. Зейнаб за её спиной, мягкие руки на чужих бёдрах, губы у основания шеи. Я — напротив, держу Сильвану за подбородок, заставляю смотреть. Их голоса, сплетённые в рваном ритме. Их взгляды — сталкивающиеся и расходящиеся. Мои пальцы на одной, мой член — в другой, и обе не способны ни спрятаться, ни остаться прежними. Картинка складывалась деталь за деталью. Внутри всё чуть дрожало — не от волнения. От предвкушения, холодного и точного, как лезвие.

Вслух я произнёс другое. Будто невзначай.

— Тебе Зейнаб понравилась?

Сильвана зевнула, потянулась, не отрывая головы от моего плеча.

— Она интересная. Кажется, мы нашли общий язык.

Внутри у меня всё встало на место — тихий щелчок, как при вхождении последнего элемента в замок. Узор сложился. Я кивнул, будто соглашаясь с чем-то незначительным, а мысленно уже строил следующий ход. Завтра я поговорю с Зейнаб. Намекну. А лучше скажу прямо. У меня есть способы говорить так, что отказ звучит как оскорбление, а согласие становится неизбежным. А Зейнаб умеет убеждать по-своему — мягко, настойчиво, с той женской уверенностью, что проникает под кожу. Она сумеет склонить Сильвану, не сломав, а предложив ей самой сделать этот шаг. Будто это будет её собственный выбор. Почти.

Я провёл ладонью по волосам Сильваны — медленно, от

виска к затылку. Под пальцами дрожала тонкая, упрямая жизнь. Кожа вздрагивала от одного моего прикосновения. Я улыбнулся. Всё складывалось — не как приказ, не как неизбежность. Как узор, который я наконец видел целиком.

На панели клип сменился чем-то более тягучим, и комната стала мягче. Тише. Но тишина больше не давила — она обрела ритм. Сильвана уже почти спала. Дыхание глубокое, ровное. Ни страха. Ни напряжения. Только усталость — честная, заслуженная, выжженная до дна.

Я смотрел на неё. В эту ночь мне не хотелось ничего решать. Хотелось лежать вот так, чувствовать её тепло и знать: пока она здесь, мир держится. С этой мыслью я и заснул — с ощущением, что завтрашний день будет не продолжением сегодняшнего, а его неизбежным развитием. Ни одна из них не уйдёт, не узнав, каково это — стоять на грани, где страх и желание сливаются в одно. Где нет ни «до», ни «после». Только момент — острый и настоящий, как лезвие, как свет, как тишина, наконец обретшая свой ритм.

2

Я проснулся от осторожного стука — будто кто-то боялся спугнуть тишину. В щель просунулась голова Зейнаб. Глаза блестели, поймав отсвет лампы. На губах — лукавая полуулыбка, знакомая до судороги в пальцах. Старая игра. Времена, когда мы не прятали желания за масками.

Сильвана рядом крепко спала. Дыхание ровное, глубокое, без малейшей тревоги — будто мир мог рассыпаться в прах,

а она не открыла бы глаз. В этом спокойствии таилась почти оскорбительная доверчивость. Она доверяла мне. Пусть неосознанно. Пусть только на эти часы. И от этого внутри всё сжималось — не от нежности. От власти, густой и тяжёлой, как расплавленный свинец.

Я поднялся, стараясь не потревожить её, и кивнул Зейнаб, прижав палец к губам. Она скользнула взглядом по моему обнажённому телу. Медленно. Сверху вниз. Без стыда, без подобострастия — только чистый, неприкрытый женский интерес. Я умел ценить такой взгляд. Он признавал не просто плоть — а власть, которая в ней жила. Я не смутился. Давно привык: тело и власть во мне неразделимы, и это то, мимо чего не проходит никто. Спокойно натянул штаны. Застегнул пряжку с привычной точностью. Не просто одежда. Часть роли. Часть образа, который заставлял других склоняться или бросать вызов. Металл щёлкнул — холодный и резкий.

Мы вышли в смежные покои. Просторные, с высокими окнами, сквозь которые пробивались косые лучи солнца. Пылинки кружились в них, как крошечные секреты, цепляющиеся за свет. Тяжёлые бархатные портьеры приглушали сияние, но не гасили — оно ложилось на мебель, на ковры, на наши лица, выдавая каждую тень. Мы упали в глубокие кресла. Кожа скрипнула, приняла нас, как старая знакомая, знавшая все наши слабости и постыдные желания.

— Видимо, ты совсем затрахал Сильвану, изверг, —

негромко заметила Зейнаб, кивнув в сторону спальни. — Уже почти полдень, а она не шевелится.

Я засмеялся — не громко, но искренне. В её словах не было осуждения. Привычная дерзость. Та самая искра, которая когда-то и притянула меня к ней.

— У неё был насыщенный вечер, — ответил я, доставая сигарету и щёлкая зажигалкой. Запах табака смешался с жасмином, который всегда тянется за Зейнаб, — горечь и сладость, яд и лекарство в одном вдохе.

— Как дела с супругом?

— Всё в порядке, — коротко. Чуть приподнятая бровь, будто она сама удивлялась, как просто это прозвучало. Ни горечи. Ни напряжения. Спокойная констатация. Почти безразличие.

Я поднялся. Обошёл её кресло. Встал позади. Склоняясь, почти коснулся губами волос, вдыхая жасмин и что-то терпкое, присущее только ей. Этот запах возвращал к временам, когда желания казались чище. Но теперь в чистоте сквозила ржавчина — и она нравилась мне куда больше.

— Не хочешь вспомнить прошлое? — шёпот. Не предложение — воспоминание, которое можно оживить, как старую рану, которую приятно бередить.

Она чуть повернула голову, глядя снизу вверх. В её взгляде — понимание. Она знала: за этим вопросом стоит больше, чем ностальгия.

— Я хочу, чтобы мы были втроём, — сказал я прямо. Без

намёков. Без обёрток. Слова — как камни, брошенные на стол. — Ты. Сильвана. Я.

Зейнаб вздохнула. Покачала головой.

— Я замужем, Диамант.

— Мужу знать об этом не обязательно.

Ни цинизм. Констатация. В моём мире власть давала не только привилегии, но и право на тайны, и я давно научился пользоваться этим правом — быстро, без лишних слов. Я сел на подлокотник её кресла. Наклонился ближе. Так, чтобы видеть каждую тень на её лице, каждую дрожь, выдающую борьбу между «хочу» и «нельзя».

— Сильвана слишком долго жила в клетке собственных запретов, — продолжил я. Голос — ровный, прозрачный, холодный. — Но она к тебе потянулась. Вы нашли общий язык. Это упрощает дело. Мне нужно, чтобы ты помогла ей сделать шаг, который она сама себе не позволит. Чтобы она думала — это её выбор.

Зейнаб вздохнула глубже, будто выдыхая из себя остатки сомнений. В глазах мелькнуло что-то новое. Не согласие. Не отказ. Любопытство, смешанное с предвкушением.

— Ты никогда не изменишься, — усмешка, в которой не было осуждения. Усталое признание моей природы. — И однажды ты за это поплатишься.

Но в голосе уже не было твёрдого «нет». Там мелькало другое — принятие неизбежного, переплетённое с собственным желанием, которое она прятала за иронией.

— Твоё предложение… искушает, — призналась она, чуть склонив голову. — Я поговорю с Сильваной. Если она не против — может быть, сегодня вечером мы поужинаем втроём. У меня свободный вечер. И, может быть… финал ужина станет интересным.

Я улыбнулся. Внутри разлилось знакомое тепло — не от страсти. От ощущения, что узор, который я чертил с приёма, обретает очертания. Сплетается из взглядов, вздохов, полуслов.

— Ты чудо, — произнёс я и, не удержавшись, положил руки ей на плечи. Размял — не грубо, но уверенно, напоминая, кто задаёт ритм. Под пальцами — напряжённая, упрямая сила. Та самая, что делает её не просто красивой, а опасной. Почти равной мне.

Зейнаб отклонила голову, подставляя шею. На мгновение повисла та тишина, что бывает перед чем-то важным. Ни слов. Ни обещаний. Только понимание, что мы оба знаем, куда идём. Мои пальцы скользнули ниже — по ключицам, к вырезу платья. Не дальше. Ровно настолько, чтобы по коже пробежала дрожь, чтобы она вспомнила, как это было. Как будет.

Стук в дверь — твёрдый, настойчивый. Реальность напомнила, что у неё тоже есть права. Что даже у порока есть расписание. Я не убрал рук.

— Войдите.

На пороге — Брестон. Прямой, собранный, с выправкой

человека, привыкшего исполнять приказы, а не обсуждать их. Его взгляд скользнул по Зейнаб и тут же вернулся ко мне — будто её присутствие было лишь деталью обстановки.

— Милорд. Через неделю коронация. Нужны распоряжения по протоколу, охране, списку гостей. Время не ждёт. К тому же вы пропустили совет, назначенный на девять утра.

Я на секунду прикрыл глаза. Попытался удержать в себе тот тягучий момент, что был между мной и Зейнаб. Потом улыбнулся ей — без сожаления — и поднялся.

— Скучные государственные дела, — пробормотал я. Не насмешка. Привычное раздражение человека, вынужденного делить себя между властью и тем, что горит внутри.

— Сейчас оденусь. Десять минут.

И, уже выходя, бросил через плечо, глядя на Зейнаб:

— С нетерпением жду вечера.

Дверь закрылась. За спиной — мягкий полумрак, запах жасмина и ощущение, что день, несмотря на протоколы и списки, обещает быть куда интереснее. В голове уже складывались сухие, чёткие фразы распоряжений. Но на краю сознания пульсировало другое — как этот вечер может изменить всё. Или, по крайней мере, сделать ночь очень приятной.

Сильвана

1

Мы с Зейнаб бродили по оранжерее Морвена, и с каждым шагом мир отступал — интриги, приказы, клятвы растворя-

лись за толстыми стеклянными стенами. Здесь время текло иначе. Медленнее. Гуще. Сладкий дурман фиалок сплетался с пряной горечью розмарина, медовым шлейфом жасмина и чем-то первобытным — то ли запахом влажной земли, то ли самой жизнью, пробивающейся сквозь камень. Над клумбами лениво вились пчёлы. Бабочки перепархивали с цветка на цветок — без страха, без спешки, будто здесь не существовало ни власти, ни долга, ни грядущей коронации. Солнце пробивалось сквозь стеклянные своды, ложилось на лепестки золотыми каплями, рассыпалось бликами по мраморным дорожкам — словно пыталось позолотить даже тень.

Я вдыхала этот воздух и чувствовала, как понемногу уходит напряжение, въевшееся в кожу, в нервы, в сам ритм дыхания. Мы шли не торопясь. Останавливались у красивых кустов, трогали пальцами бархатистые лепестки — и в этом касании было что-то почти запретное, будто мы крали у мира крошечные мгновения покоя. Один из павлинов важно шествовал мимо — будто сам здесь главный садовник, проверяет порядок в своём зелёном царстве. Зейнаб заметила, что он очень похож на Диаманта. Мы засмеялись. Но даже в этом смехе сквозила усталость — от вечного ожидания удара, от привычки держать спину прямой даже во сне.

Потом мы сели на деревянную скамейку под раскидистым лавром. Пахло старой древесиной и смолой — запах, который возвращал к чему-то простому, настоящему, существовавшему до титулов и ошейников. Слуга бесшумно поставил

на столик резную бутылку мятного ликёра, два хрустальных бокала и так же тихо исчез, будто боялся спугнуть тишину, ставшую вдруг драгоценной. Зейнаб плеснула ликёр. Протянула бокал. Мы чокнулись без пафоса, без громких слов — просто как две женщины, которым захотелось немного тепла перед погружением в тёмную воду.

— За то, чтобы хоть сегодня ничего не решалось, — улыбнулась Зейнаб, прищурившись.

Я засмеялась. В этих словах было столько правды, что она обжигала. Мы пили маленькими глотками. Мятная прохлада растекалась по горлу, смешиваясь с теплом, которое медленно возвращалось в тело. Болтали о пустяках: о дворцовых часах, которые будто нарочно шли медленнее, растягивая каждый миг в вечность; о садовнике, который явно был влюблён в свои розы и разговаривал с ними, как с живыми; о том, что в Леброне даже воздух пахнет властью — и это не всегда плохо, иногда это просто запах силы, которая держит стены. Мы смеялись. Без злобы. Без напряжения. Только облегчение — будто обе наконец позволили себе быть просто женщинами, а не пешками в чьей-то игре.

Потом я подняла голову и посмотрела сквозь стеклянные стены во двор. Там суетились слуги: тянули верёвки, развешивали знамёна, расставляли факелы, проверяли ровность трибун для почётных гостей. Подготовка к чему-то огромному, неизбежному — событию, которое изменит порядок вещей, как гроза меняет русло реки.

— Это всё к коронации Диаманта, — тихо сказала Зейнаб, проследив за моим взглядом.

Спокойно. Без пафоса. Но от самого имени внутри что-то дрогнуло — струна, которую тронули слишком резко. Вибрация прошла по всему телу, до кончиков пальцев. Я невольно поднесла руку к шее. Теребила ошейник. Не потому, что он давил — он давно стал частью меня, как шрам, который уже не болит, но всегда напоминает о себе. Холодная кожа касалась пальцев. В этом касании — вся моя история: решения, поражения, странная горькая свобода, купленная ценой чужой боли.

Зейнаб заметила. Наклонила голову, разглядывая меня с той особой внимательностью, которая не ранит, а даёт почувствовать, что тебя видят целиком — без прикрас, без осуждения. Даже то, что ты сама стараешься не замечать.

— Красивый подарок, — сказала она спокойно. Без насмешки. Без жалости. Просто факт — будто говорила о броши, а не о символе подчинения, ставшем второй кожей.

— Да, — прошептала я.

Слова вдруг стали тяжёлыми, застряли в горле, царапая изнутри. Зейнаб молчала. Дала тишине сделать то, что не могут слова. Потом спросила — так же спокойно, будто речь шла о чём-то обыденном:

— Если не секрет… как ты познакомилась с ним?

Я замерла. Внутри всё сжалось, как всегда при этом вопросе. Обычно я отшучивалась, уводила разговор. Но сей-

час, в тёплом воздухе оранжереи, среди запахов цветов и мятного ликёра, слова вдруг захотели вырваться наружу — перестать быть тайной, которую носишь, как груз. Какое-то время я молчала, глядя на суетящихся во дворе слуг. А потом поняла — мне хочется рассказать. Не всё. Не до конца. Но хоть часть. Кому-то, кто не станет осуждать, кто просто выслушает и не будет делать из этого ни драмы, ни легенды.

И я начала.

О том, что в Колтрейне была дочерью предводителя мятежников. О том, как Диамант захватил меня, когда искал моего отца. О том, как при первой встрече плюнула ему в лицо, а он отправил меня на дыбу — и я запомнила не боль. Его взгляд. Холодный. Внимательный. Он изучал каждый мой спазм, каждое движение, каждую слезу, будто составлял карту моих пределов. Тело выворачивалось на верёвках, суставы горели белым огнём, а он стоял и смотрел — как учёный смотрит на препарат. Без злости. Без удовольствия. С чистым, ледяным интересом.

О том, как во вторую встречу он взял меня. Грубо. Не считаясь с сопротивлением. Вжал в кровать, приковал наручниками, раздвинул ноги коленом, вошёл одним рваным движением — и мир сузился до одной точки боли, слепящей, белой, невыносимой. Но именно там, на дне этой боли, я впервые почувствовала странное, пугающее освобождение — будто, лишившись невинности, лишилась и права притворяться, что могу быть кем-то другим.

О том, как постепенно научилась различать оттенки его жестокости. Как по одному движению пальцев угадывала, что будет дальше. Как полюбила наслаждение и боль, которые он давал, — нераздельные, сплавленные, перетекающие одно в другое, пока граница не стёрлась совсем. О том, как полюбила его самого — так сильно, что добровольно променяла на него отца и жениха. Не выбор. Признание поражения, которое я приняла как победу.

О том, как столь же добровольно приняла клеймо и ошейник, став его рабыней. Раскалённый металл впечатался в кожу — я закричала, но не отдёрнулась. Он держал меня за подбородок, заставлял смотреть ему в глаза, пока запах горелой плоти заполнял пыточную. И в этом подчинении я нашла свободу, которой не знала раньше, — горькую, звериную, настоящую.

О том, как четыре месяца назад он вышвырнул меня из Рокуэлла. Потому что я имела неосторожность сознаться в своих чувствах. Эта откровенность стала страшнее любой пытки — потому что пытку можно перетерпеть, а отвержение выжигает изнутри, не оставляя даже шрама, за который можно зацепиться.

О том, как потом он спас меня от Теда и привёз в Леброн — будто хотел доказать, что только он имеет право решать, когда и как я умру. Когда и как я буду жить.

2

Я подняла голову — неуверенно, будто ждала увидеть в

глазах Зейнаб знакомый холод. Тот, каким меня столько раз награждали чужие люди, не знавшие ни меня, ни моей правды. Сердце билось в горле. Тяжело. Неровно. Будто хотело вырваться и крикнуть: не суди, ты не была там, не чувствовала, как боль становится языком, на котором говоришь с миром.

Но вместо отчуждения я увидела восторг. Живой. Почти жадный. Будто Зейнаб смотрела не на мою боль, а на полотно, сотканное из огня и теней, — легенду, которую хочется пересказывать шёпотом, чтобы не спугнуть магию.

— Твоя история с Диамантом достойна романа, — произнесла она, чуть наклонив голову. Не любопытство сплетницы. Искреннее восхищение. — Честное слово. В ней столько огня, столько противоречий — ни один сочинитель не придумает лучше.

Я сглотнула. Пальцы потянулись к шее: привычный, почти бессознательный жест. Прикосновение к ошейнику вернуло опору. Напомнило, где кончается моя воля и начинается его власть.

Зейнаб проследила за движением, но не заострила внимание. Вместо этого заговорила твёрдо, будто рубила невидимые цепи, которые я сама на себя надела:

— Ты не должна себя осуждать. Ни в чём. — Она смотрела мне прямо в глаза. Без жалости. С той редкой, пугающей прямотой, которая бывает только у людей, познавших собственную тьму и не сбежавших от неё. — Ты не «непра-

вильная». Не странная. Ты такая, какая есть. Как и я. Мне тоже нравится находить удовольствие в боли. Это не делает нас чудовищами. Это делает нас живыми.

Слова упали в тишину между нами, как камни в воду. Круги пошли по всему телу, снимая напряжение, которое я даже не замечала — въевшееся в мышцы, в дыхание, ставшее второй кожей.

— Знаешь, — добавила Зейнаб тише, но не менее уверенно, — изверг… — она хихикнула, и в этом смешке сквозила странная, почти интимная близость, будто мы делили не только боль, но и право называть вещи своими именами. — Я так иногда называю Диаманта. Он вроде и не злится. Так вот… при всех своих недостатках он не стал бы брать тебя силой. Не потому, что он моралист. Скорее уж антиморалист. Просто ему это не нужно. Ему нужна твоя воля. Даже если ты отдаёшь её по кусочкам. Даже если каждый раз стискиваешь зубы до хруста. Ему важно, чтобы ты сама сделала этот шаг. Пусть и дрожа. Пусть и с мокрыми от слёз щеками.

Я кивнула. Внутри что-то тихо встало на место — будто чья-то уверенная рука распутала узел, который я безуспешно дёргала месяцами.

— Да, — прошептала я. Впервые не как оправдание. Как правду. Горькую, как полынь. — Я хотела его с первого взгляда. Просто боялась. Боялась самой себя. Того, как сильно он на меня действовал. Я ощутила это мгновенно — как только его увидела. Страх и желание сплелись так тесно, что

я не могла отличить одно от другого. Не могу до сих пор.

Зейнаб улыбнулась — не широко. Так, будто мы обе наконец сбросили тяжёлые маски и остались просто двумя женщинами, которым не нужно прятать шрамы под шёлком и титулами.

— Я понимаю, — сказала она мягко. — И не осуждаю. Потому что я такая же.

Она помолчала, глядя куда-то сквозь стеклянные стены — будто видела не суетящихся слуг, а другую картину, выцветшую от времени, но не стёршуюся из памяти. Солнечный луч скользнул по её лицу, высветил тонкую сеть морщинок у глаз — не от возраста, а от пережитого.

— Я впервые увидела его, когда ему было шестнадцать, — произнесла она, и голос стал тоньше, будто возвращался в то время. — Совсем юный. Но такой… поразительный. Самое красивое существо, что я видела на свете. Тело ещё юношеское — узкие бёдра, гладкая кожа. Но помимо внешности… в нём уже жила эта сила. Не показная. Не кричащая. Спокойная, как лезвие, которое не нужно размахивать, чтобы все его боялись. Когда он посмотрел на меня, у меня пересохло во рту. Мне было двадцать один. Я была рабыней. И я хотела этого юношу так, что у меня тряслись руки.

Я слушала, хотя знала эту историю от самого Диаманта. Но из уст Зейнаб она звучала иначе — не как рассказ победителя, а как исповедь той, кто тоже когда-то стояла на краю и сделала шаг в неизвестность.

— Я была рабыней, — повторила она, и в голосе проскользнула старая, упрямая горечь, которую не стирает время — она просто становится частью голоса, придаёт ему глубину. — Но не так, как ты. Не добровольно. Меня продали правителю Нэллэйда. Он держал меня как зверя в клетке. Насиловал. Каждую ночь. Грязными руками, провонявшими вином и потом. Вдавливал лицом в подушку, чтобы не слышать моего плача. Так что, поверь, — она посмотрела мне в глаза, — я знаю, что такое настоящее насилие. Я знаю его запах, его звук, его вкус. Знаю, как тело перестаёт быть твоим.

Каждое слово падало тяжело. Я слушала, не отводя взгляда, потому что отвести его сейчас было бы предательством.

— Старик считал, что может делать со мной всё, что захочет. Я ненавидела его. Его прикосновения. Его запах. Его власть надо мной. Каждый день — клетка. Каждая ночь — испытание, которое я не выбирала. — Она сделала паузу. Отпила ликёр. — А потом пришёл Диамант. И он взял меня. Не чтобы унизить. Не чтобы сломать. Он раздел меня медленно, как разворачивают что-то хрупкое. Потом ударил — открытой ладонью, по бедру, — и от этого удара по телу прошла волна, которую я не ожидала. Не боль. Жар. Он дал мне боль, наслаждение и свободу — в одном движении, нераздельно. С ним я впервые кончила. С ним я впервые почувствовала, что моё тело — моё. Что я могу дышать.

Она замолчала. Смотрела в свой бокал, будто видела там что-то, чего не видела я. И потом добавила — тихо, почти

неслышно:

— Знаешь, что было самое странное? Первые несколько вечеров он со мной просто разговаривал. Не трогал. Не заставлял. Просто сидел рядом и говорил. Обо всём. О звёздах — он тогда хотел быть астрономом, представляешь? О книгах. О том, что ненавидит отца. О том, что боится стать таким, как он. Он говорил, а я слушала. И сама не заметила, как открылась. Как начала отвечать. Как рассказала ему то, чего не рассказывала никому — ни до, ни после. О том, как меня продали. О том, как я мечтала убежать. О том, что иногда хотела умереть, но что-то держало. Он не утешал. Не жалел. Просто слушал. И в какой-то момент я поняла, что не боюсь его. Впервые за долгие годы — не боюсь мужчину. А потом… — она усмехнулась, — потом он перестал просто разговаривать. И я была благодарна ему за это больше, чем за все слова на свете.

Я смотрела на неё. Внутри что-то дрожало — тихо, глубоко. Диамант говорил со мной. Ночами. На крыше. Рассказывал о вороне Моргане, о библиотеке, о фильмах, которые любил. Сидел рядом и просто говорил. Тогда я не понимала, что это значит. Теперь — начинала понимать.

— Он спас тебя, — тихо сказала я. Не вопрос. Констатация.

— Да, — кивнула она. — В своём стиле. Без фанфар и клятв. Просто забрал то, что считал своим, и тем самым вырвал меня из клетки. Знаешь, я не жалею. Ни о боли. Ни

о том, какой ценой пришла свобода. Моё тело было полем битвы, и он выиграл его — но впервые я не чувствовала себя проигравшей.

Мы молчали. Не было ни неловкости, ни необходимости объяснять. Обе знали: мир не делится на чёрное и белое. Свобода приходит странными путями. Любовь и боль иногда идут рука об руку — не разрушая, а выковывая. Солнечный свет ложился на резную бутылку, играл в гранях хрусталя, рассыпался искрами — будто превращал обыденность в ритуал.

Зейнаб потянулась, плеснула ликёр в мой бокал, потом в свой. Движения неторопливые, почти литургические. Налить. Предложить. Разделить. Маленькая клятва: мы здесь, мы рядом, мы не одни.

— Давай не будем сегодня ни рабынями, ни госпожами, ни заложницами, — она улыбнулась чуть криво, но искренне. В этой улыбке было столько силы, что она казалась щитом, выкованным из боли и пепла. — Давай будем просто двумя женщинами, которые знают, чего хотят. И не стыдятся этого.

Я засмеялась. Тихо, но свободно — без тяжести, которая столько месяцев тянула вниз, цеплялась за плечи, мешала поднять голову. Смех вышел хриплым, непривычным, будто я давно не позволяла ему вырваться. Но настоящим.

— Давай, — я подняла бокал. Хрусталь звякнул о хрусталь — тонко, как обещание: не забыть себя. Не предать

свою правду. Не стыдиться ни желаний, ни шрамов.

Глоток. Мятная прохлада по горлу, и следом — тепло, медленное, глубокое, прогоняющее холод, въевшийся в кости. Рядом жужжала пчела, лениво кружа над лавандой. Далеко во дворе кто-то громко отдавал приказы. Контраст — интимная тишина оранжереи и грохот большого мира за стеклом — вдруг показался правильным. Две стороны одной монеты. Нежность и сталь. Покой и буря. Как мы сами.

— Знаешь, — тихо сказала Зейнаб, глядя на меня прищурившись, будто пытаясь разглядеть что-то, спрятанное глубже глаз, — ты сильнее, чем думаешь. Не потому, что подчинилась Диаманту. А потому, что сумела найти в этом свой путь. Принять то, кто ты есть, когда весь мир говорит, что ты должна быть другой, — это требует больше мужества, чем любой мятеж.

Я хотела возразить. Сказать, что никакая я не сильная, что просто плыла по течению, цепляясь за то, что давало хоть немного тепла. Но слова застряли в горле. В её взгляде не было лести. Признание. Она видела меня. Настоящую. Со всей грязью, со всей похотью, со всем стыдом, который я ношу как второй ошейник — невидимый, но теснее первого. И этого оказалось достаточно.

— Спасибо, — прошептала я. Простое слово — самое тяжёлое и самое ценное из всех, что я произносила.

— Не за что, — так же тихо ответила Зейнаб. — Иногда нам просто нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты не одна. И ты не

плохая». Остальное — тело помнит само. Как помнить. Как хотеть. Как дышать после того, как тебя научили задыхаться.

Я закрыла глаза. Солнце лилось сквозь стекло, красное под веками, тёплое на коже. Рядом дышала женщина, чьё тело тоже помнило — как боль становится языком, как шрамы становятся картой, как подчинение становится единственной свободой, которую не могут отнять. Впереди — коронация. Ошейники. Короны. Тёмная вода, в которую рано или поздно придётся нырнуть. Но сейчас — несколько минут покоя. Настоящего. Украденного. Ради которого стоит дышать.

3

Я смотрела на Зейнаб, ловя в её лице каждую тень, каждую морщинку — будто в этих чертах прятался ответ на вопрос, который я не решалась задать. В оранжерее стояла особая тишина — та, что бывает только среди растений, где мир сужается до одного укрытого пространства. Сквозь стеклянные своды лился рассеянный свет, дробился в гранях бокалов, рассыпался золотом по тёмной древесине. Пахло влажной землёй, пряной зеленью и чем-то неуловимым — самой жизнью, пробивающейся сквозь страх.

И вдруг — не в силах больше удерживать жгучий ком — я выпалила. Слова полетели вперёд, опережая страх, врезаясь в воздух:

— Самое сложное — подавить ревность. Я обещала Диаманту не высказывать претензий насчёт других женщин. Держать всё в себе. Не устраивать сцен. Но внутри всё вопит.

Каждый раз, когда я думаю о том, что он может быть с кем-то ещё, — чужие пальцы, влажные, на его коже, чужие губы на его члене, чужой стон в его ухе, — меня разрывает изнутри. Физически. Как будто кто-то медленно вспарывает живот.

Голос дрогнул. Я опустила взгляд. Пальцы скользнули по ошейнику — ледяной, резкий, отрезвляющий. Привычная опора. Напоминание: я здесь. Дышу. Принадлежу ему — но хотя бы в это мгновение принадлежу и себе.

— Я понимаю, что при его красоте, при его аппетитах он не сможет оставаться со мной одной, — продолжила я тише, почти шёпотом, будто боялась, что слова, произнесённые вслух, сделают боль осязаемой. Придадут ей плоть. Вес. Лезвие у горла. — Умом я это принимаю. Но не сердцем.

Зейнаб молчала. Склонила голову, будто взвешивала каждое моё слово, примеряла его к своим старым шрамам. Потом медленно кивнула. В её глазах мелькнуло что-то — та самая боль, которую я пыталась спрятать так глубоко, чтобы даже сама не натыкалась на неё по ночам.

— Знаешь, мы с Диамантом прекратили быть любовниками именно из-за этого, — сказала она спокойно, без надрыва. В простоте было больше правды, чем в любых клятвах. — Я тоже не смогла. Думала, что справлюсь. Что сумею смотреть сквозь пальцы — ну, просто его натура, просто часть его голода, можно же отделить страсть от привязанности, можно приручить боль, как дикого зверя. Не вышло. Я просыпалась среди ночи с его запахом на коже и думала: сейчас он пахнет

кем-то другой. Сейчас его руки сжимают чужие бёдра. Сейчас кто-то другая кусает губу, чтобы не кричать от того, что он с ней делает. И меня выворачивало — не от отвращения. От желания. В какой-то момент я поняла: либо сойду с ума, либо разорву всё до основания. Выбрала второе.

Она наклонилась и лёгким, почти материнским движением отвела локон с моего лица. От прикосновения по коже пробежало тепло. На мгновение стало легче — будто кто-то погладил по голове ребёнка, которому страшно. Но я давно не ребёнок. И жестокость давно перестала быть чем-то внешним.

— Не бойся показывать эту боль, — тихо сказала Зейнаб. — Она настоящая. А всё настоящее имеет право быть. Даже уродливое. Даже то, от чего хочется содрать с себя кожу.

Я сжала пальцы в кулаки. В груди теснилось столько противоречий, что казалось, они вот-вот разорвут рёбра.

— Сегодня утром, когда ты ещё спала, я говорила с Диамантом, — неожиданно сказала Зейнаб. Прямо в глаза. Без утайки, но и без жестокости — будто выкладывала карты на стол и позволяла мне самой решить, брать ли их. — Он просил меня поговорить с тобой. О сексе втроём.

Слова ударили как пощёчина. Я застыла. Внутри вскипело всё разом: ревность, обида, стыд, злость — на него, на неё, на себя за то, что сижу здесь и слушаю, за то, что моё тело отозвалось на одно лишь упоминание его имени.

Тишина звенела натянутой струной. Даже жужжание пче-

лы прозвучало как далёкий насмешливый шёпот.

— Я не смогу, — голос вышел глухим, как из колодца. — Просто не смогу. Пусть будет что угодно. Но не это.

Зейнаб не стала спорить. Не давила. Просто заговорила — ровно, уверенно, с той убедительностью, которая рождается только из пережитого:

— Тебя никто не станет принуждать. Ни я, ни тем более он. Если твой ответ «нет» — он останется «нет». Но подумай: для тебя это могло бы стать выходом. Не потому, что ты должна его делить. А потому, что ревность перестанет грызть тебя в темноте, когда ты одна, когда лежишь и представляешь чужие руки на его теле, чужой рот на его члене, чужие стоны в его ухе. Ты будешь знать. Будешь видеть. Будешь частью — а не призраком за стеной, который придумывает ужасы страшнее любой реальности.

Она взяла мой бокал — мой, не свой, — и плеснула в него ликёра. Медленно. Словно давала мне время.

— Я не претендую на него, — продолжила она. — Я привязана к Диаманту. Благодарна — пусть даже он спасал меня, чтобы потешить собственное эго. Но я люблю своего мужа. Моё место рядом с ним. То, что было между мной и Диамантом, осталось в прошлом. Я не хочу его возвращать. Я хочу, чтобы ты не мучилась так, как мучилась я. Если ты согласишься — я буду рядом. Не как соперница. Как проводник. Как та, кто знает его тело и его правила. Я не позволю ему пойти дальше, чем ты готова. И не позволю тебе остать-

ся одной в этом.

Она пододвинула бокал ко мне. Настойчиво. Не как приказ. Как предложение выпить — не ликёр, а саму правду.

4

— Подумай, что страшнее, — сказала она тихо. — То, что будет в реальности, если ты согласишься, — или то, что ты придумываешь сама каждый раз, когда его нет рядом.

Я искала подвох. Жестокость, которая всегда прячется в мягких интонациях, в заботливых жестах, в красивых словах. Не находила. Только усталость. Только понимание, выстраданное годами, — шрамы, которые не видны, но чувствуются в каждом движении.

— Что ты предлагаешь? — спросила я наконец. Тишина стала слишком тяжёлой. Давила на грудь, на виски, на горло.

— Давай просто поужинаем сегодня втроём в покоях Диаманта, — ответила она спокойно. — Без ожиданий. Без обязательств. Посидим, поговорим, посмотрим, как ты себя чувствуешь. Дальше решать тебе. Не ему. Не мне. Тебе.

Я закрыла глаза. Мысли разлетались испуганными птицами — ударялись о невидимые стены, падали, взмывали, падали снова. Отказаться. Сбежать. Спрятаться. Сделать вид, что ничего не было, что эти слова не вонзились в меня, как иглы, что от них не стало жарко внизу живота, что я не представила — на долю секунды, против воли — его руки на нас обеих, его голос, приказывающий, его взгляд, от которого хочется и раздвинуть колени, и зажмуриться навсегда.

Но рядом сидела Зейнаб. Женщина, которая не осудила. Которая поделилась болью и теперь протягивала руку там, где я ожидала удара. И я понимала: если есть хоть малейший шанс справиться с ревностью — он лежит в этой откровенности. В этом ужине. В возможности посмотреть правде в лицо, пусть даже уродливой. Даже такой, от которой хочется содрать с себя кожу.

Пальцы снова скользнули по ошейнику. Цепь, которая удерживает на краю. Глубокий вдох. Воздух наконец прошёл в грудь.

— Хорошо. Давай попробуем.

Зейнаб улыбнулась — не широко. Так, будто видела, чего стоил мне этот кивок. Не торжество. Тихое облегчение — как у того, кто долго держал тяжёлую ношу и наконец опустил.

— Спасибо, — сказала она. И в этом слове было столько тепла, что оно на мгновение согрело даже те уголки, которые я считала навсегда промёрзшими.

Мы посидели ещё немного. Тишина менялась. Становилась легче — как передышка перед чем-то важным. Пчела вернулась к лаванде. Зейнаб крутила в пальцах пустой бокал, и в стекле дробились зелёные отблески. Где-то за стенами снова загремели голоса, но здесь они теряли силу, оседали на листьях и гасли. Нежность и сталь. Покой и буря. Два языка, на которых говорит одна и та же жизнь.